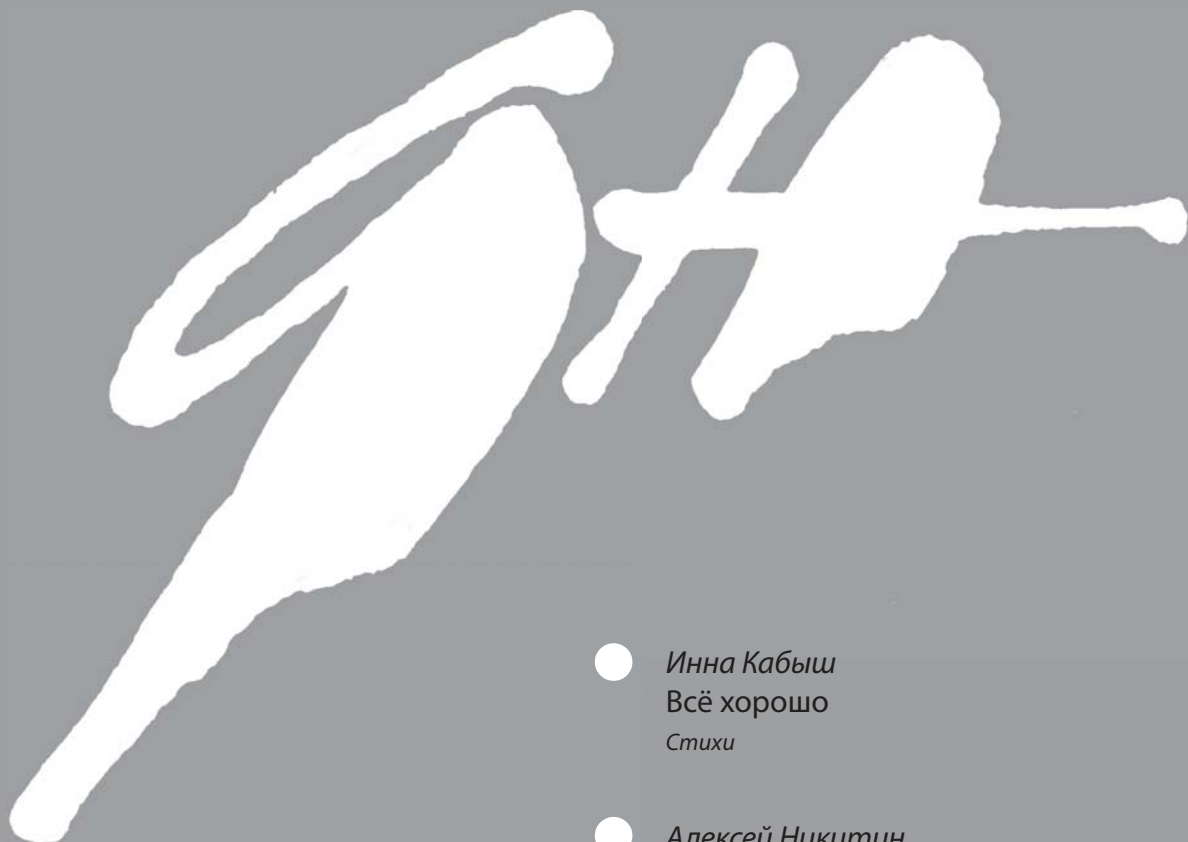


ДРУЖБА НАРОДОВ



ДРУЖБА НАРОДОВ 1/2016



1'2016

- *Инна Кабыш*
Всё хорошо
Стихи
- *Алексей Никитин*
Шкиль-моздиль
Роман
- *Андрей Русаков*
Ответственность культуры
и культурное многообразие
- Скажи мне «Здравствуй!»
Дружба на вырост
- Литературные итоги 2015 года
Заочный круглый стол

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzhiba/
LIVEJOURNAL: http://druzba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.rpf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

***Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.***

***Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.***

***При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.***

Сдано в набор 20.11.2015.
Подписано в печать 25.12.2015.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 8881. Цена свободная.

Дружба народов 1'2016

Редакционная коллегия

Александр
ЭБАНОИДЗЕ

Лев
АННИНСКИЙ

Леонид
БАХНОВ

Ирина
ДОРОНИНА

Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Сергей
НАДЕЕВ

Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Ольга
БАЛЛА

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Алла
ГЕРБЕР

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Александр
КЛЯЧИН

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

Проза и поэзия

Геннадий РУСАКОВ. И лёгок вес начавшегося века. Стихи	3
Алексей НИКИТИН. Шкиль-моздиль. Роман	8
Инна КАБЫШ. Всё хорошо. Стихи	87
Юрий ОСИПОВ. Краткий курс мальтийской жизни с красивой женщиной (или Большая Белая Акула Как Повод Для Гордости)	91
Александр ОРЛОВ. И мир блажен. Стихи	119
Вадим МЕСЯЦ. История моего спиннинга. Рассказы	122
Наталья ПОЛЯКОВА. Жизни целое число. Стихи	141
Сергей ДМИТРЕНКО. Старушки и старички. Рассказ	144
Аркадий СМОЛИН. Рассказы	157

Нация и мир

Андрей РУСАКОВ. Ответственность культуры и культурное многообразие	170
--	-----

Публицистика

Андрей СТОЛЯРОВ. Ярче тысячи солнц	208
О красоте. Два письма на одну тему	228

Дружба на вырост

ПРЕЗЕНТАЦИЯ	
Скажи мне «Здравствуй!»	235
Алексей ОЛЕЙНИКОВ: «Мигранты — это не обуза, это на самом деле подарок»	238

Критика

Комбинации форм и смыслов в мире хаоса и неврастении. Литературные итоги 2015 года	240
---	-----

Эхо

Счастье нечаянно жить... Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	253
--	-----

Summary	256
---------------	-----

Геннадий Русаков

И лёгок вес начавшегося века

* * *

Я жизнь несу, как воробья в картузе.
Смотри, Творец: легко и на весу,
не чувствуя труда в посильном грузе.
Уже который год Тебе несу...
То вспыхнет день, то свалятся потёмки.
И возраст погрозился кулаком,
прочтя стихотворенье внука Тёмки,
с которым он пока что не знаком.
А у меня в картузе шевеленье
и трепыханье детского тепла.
Уже растёт другое поколение,
иного оперенья и крыла.
Блаженный пух, младенческое веко.
Так тих закат и царственна река!
И лёгок вес начавшегося века,
в котором всё как будто на пока...

* * *

Песком забвения заносит годы.
И поверху ложатся тростники.
Как отступают медленные воды!
Как в старости дуреют старики!
Восьмой десяток — дальше будет хуже.
Чего-чего, а уж пора бы знать...
Не зря же был я временем контужен
и силился столетие догнать.
Какая это долгая наука —
стареть, всё дальше в детство уходя!
И по удару, по смещенью звука
судить о протяжённости дождя,
о долготе в его координатах,
о днях с провинциальной тоской,
о детстве в государственных пенатах...
Но всё равно с протянутой рукой.

* * *

Ах, бог ты мой, какое, право, дело
и нам до неба, и ему до нас?
Другим — душа, а мне довольно тела.
Я перебыюсь — оно мне в самый раз.
Пусть земля останется опорой,
не гаснет день и не смердит вода,
дежурный ангел прилетит на «скорой»
и всё вокруг поправит, как всегда.
Кому-то надо помогать нам с этим —
с упрямством жизни, с бестолочью дел...
И с мелочно-бессмысленным столетьем,
которое, похоже, наш удел.
Пусть будет всё, как было при татарах.
При жмуди. При варягах. При царях.
Чтоб то же тело — из ещё не старых...
И свет в глаза. И мускулов напряг.

* * *

Я от счастья заболею,
буду спать и видеть сны:
кудреватую аллею
за окошком у весны,
и травы разнообразной
оступающийся рост —
просто первой, просто праздной,
непригодной на компост.
Жизнь вполне переносима
при разборе на развес:
грамм по двести, тётя Сима,
и с халвой, а лучше без!
Лучше просто в чистом виде,
лучше там, где отчий дом.
Я на время не в обиде,
но живётся в нём с трудом.

* * *

Мы на собраниях пели гимны,
вставая с места всякий раз.
И этот мир странноприимный
был чётко выстроен для нас.
В нём повторялись сочетанья
высоких дат или теней.
А если женщина, то Таня.
(И остальное всё при ней.)

Какие были годовщины!
Какая роскошь похорон,
когда державные мужчины
несли естественный урон!
Как жизнь была необычайна
и одаряла каждый раз
то колбасою (чаще — чайной).
То польской краскою для глаз!

* * *

Мне нынче жизнь особенно близка,
хотя она с порезами и швами.
Зато уже из одного куска
и говорит понятными словами.
Я долго был счастливый человек.
Потом дурил, творил, дошёл до точки...
Теперь пора в уход или побег —
исчерпаны последние отерочки.
У стариков свой собственный лимит
на то, что нужно и чего не надо.
Уже гремит Астапово, гремит —
мой полустанок за провалом сада.
Да будет всё по замыслам Твоим!
А я ни в чём не обделён судьбою.
...Жить одному страшнее, чем двоим.
Но проще, чем забытому Тобою.

* * *

Жизнь, чего тебе, опомнись, дура?
День такой, что всё вокруг блестит.
Даже вся его архитектура,
даже мелких надписей петит.
Ну, а мы с тобою разве хуже?
Я с утра побрит и франтоват,
а местами даже наутюжен...
Шик и блеск на двести двадцать ватт!
Вон и день начищен лучшим мелом,
и сверкает медью золотой —
как моряк, во всём парадно белом,
виноградным соком налитой...
Только что мне делать с Божьим миром,
с этим крупным, что глядит в упор —
со своим трезвоном и растыром,
с крошечными дырочками пор?..

* * *

Не старость, нет — ещё не те года.
Ещё дорога пляшет под ногою,
душа упряма, строчка молода.
Ещё не старость, но уже другое:
уже тесненье воздуха у плеч,
пока не тяжесть, но уже подсказка...
И долгое желание прилечь —
как женская мучительная ласка.
А мир идёт себе на новый круг,
и мимо, прочь, нечёткой полосой...
Да бредни это, Боже, про старух,
грозящих к нам наведаться с косою!
Но, может, есть прозрение конца,
и я успею перед смертным вздохом
увидеть всплеск родимого лица —
и всё тебе, Творец, припомнить чохом!

* * *

Куда идти? Где солнце светит?
Кому заглядывать в окно,
когда в округе правит ветер
и всё давно предрешено:
век со вторым тысячелетьем,
дожди и войны, стыд побед,
которых не оставишь детям?..
А ничего другого нет.
И долог путь до новой дали.
Сверчки о воздух лапы трут.
И каждый стих исповедален.
Хотя стихи и так помрут...
Но длятся странные погоды.
Гудит альтовая струна.
И расстоянием на годы
лежит огромная страна.

* * *

Пойду перечитаю Кабыш Инну —
там зрелость мысли и мужанье слов.
Мне этого хотя бы половину —
и я бы стал работать без узлов.
С годами видишь горестней и проще,
как тратится исходный капитал...
И то, как снова обнищали рощи.
И то, кем ты хотел бы, да не стал.

Не получилось. Не хватило злости,
горячности, дышалки, простоты...
Хребет не вынес — проседали кости.
...Опять сады отчаянно пусты.
Опять им спуск до самой нижней выси.
В них третий год такая нагота,
что не хватает мне ни слов, ни чисел,
чтоб обиходить стыдные места...

* * *

Нынче солнце в тумане
и бледно рассеянный свет,
словно смотришь из дома
сквозь плохо промытые окна.
Ничего в этой осени, право, особого нет —
разве только потёмки и драные в небе волокна?
Депрессивные дни, воробьиные стаи с утра,
слабый промельк спешащего прочь самолёта.
Всё отдал бы, ей-богу,
за прежнюю жёсткость пера —
чтобы сразу ложилась в строку
рецептурная квота.
Чтоб естественность речи вела за собою слова,
не деля их на ранги и не обижая отбором.
Как от плотности слога болит по ночам голова,
из-за давности лет неизбежно забитая сором!
Нынче солнце в тумане и бледно рассеянный свет,
повторенье зачина для полной фигуры охвата.
И вот этот форсажный, не сразу редющий след
то ли чьей-то судьбы,
то ли просто небесная вата.

Алексей Никитин

Шкиль-Моздиль

Роман

Кичеево

1

Перед постом патрульной службы Уманец притормозил и повернул на Гостомель.

Лес, высокий и спокойный, стоял по обе стороны дороги, шум машин, проносившихся по шоссе, не нарушал его тишину. Густой, серо-коричневый подлесок увязал в снежных завалах, а над его кронами тощими беличьими хвостами, внизу буро-коричневыми, выше — нежно-палевыми, поднимались стволы сосен. Свет ясного февральского полдня пробивал заросли насквозь. Искрясь, он отражался от оледеневшей кромки сугробов, и зимой между деревьями было светлее, чем летним солнечным днем. В глубине Уманцу мерещились птицы и звери такие же небывалые, каким казался сам лес. Снежные медведи, пушистые и невесомые, одним прыжком взмывали над заносами, чтобы тихо скользить по волнам света между воздушными потоками, а тяжелые ледяные снегири, отлитые мастерами Скандинавии из замороженного сока клюквы и рябины, сидели на ветвях бузины и боярышника и трубили в звонкие зимние трубы. И еще какие-то дивные, лесные, не известные старожилам, не изученные наукой, невозможные сказочные существа сновали от ствола к стволу и скрывались в кустарниках, поднимая облака снежной пыли. Лес казался вечным и неизменным, хотя менялся каждый день.

Водители пролетающих машин не желали терять в дороге важные минуты, а старые сосны росли там же, где и сто лет назад, и триста, и всегда...

На самом деле, леса давно не было: только полоса деревьев шириной метров двести отделяла от дороги дома новых коттеджных поселков. Лесополоса гасила шум грузовых фур и защищала местных жителей от свинца, сажи и оксида серы, которыми так богаты выхлопы автомобилей. Только ради этих полезных

Алексей Никитин родился в 1967 году. Окончил физический факультет Киевского государственного университета. Автор романов «Истеми», «Маджонг», Victory Park и др. Лауреат премий им.Вл.Короленко и Русской премии. Роман «Истеми» переведен на английский и итальянский языки. В «ДН» в 2003 году опубликовал повесть «Окно на базар».

Живет в Киеве.

функций ее и сохранили, позволив занимать ценные пригородные гектары, рыночная стоимость которых уверенно и стабильно росла с каждым кварталом очередного финансового года.

Уманец помнил времена, когда в этих местах запросто можно было собрать полную сумку грибов — моховиков, маслят, груздей и белых, а согретые солнцем поляны пахли сосновой смолой, земляникой и перепревшей хвоей. Запах светлых, смешанных лесов украинской лесостепи был запахом его детства. За последние годы многое изменилось, и леса, окружавшие Киев на протяжении всей его истории, стали только зелеными пятнами на отслуживших картах да вот такими полосами деревьев вдоль дорог.

2

Утром его разбудило сообщение от Незгоды: «Название картины: *Переход Суворова на летнее время*. Как тебе?»

«Мощно», — ответил Уманец и попытался опять уснуть, но в щель, образовавшуюся между сном и явью, не давая сомкнуть края, холодным лезвием вклинился телефонный звонок.

— Нет, ты скажи — я ведь крут? — услышал он довольный голос Незгоды.

— Ты крут невероятно.

— Вот! А между тем, третью неделю живу в дурке. Вокруг лес, а где не лес, там — поле. Здесь сумасшедшие сойки долбят сосны и, прикидываясь дятлами, разносят их в щепки. Безжалостные, вредоносные птицы.

— Боюсь, ты преувеличиваешь, — вздохнул Уманец, просыпаясь окончательно.

— Не веришь, — догадался Незгода. — Нет бы приехать и увидеть все собственным орлиным глазом. Заодно и старого друга навестил бы, а?

— Сегодня? в субботу?

— А что, религия не велит? Можно подумать, в остальные дни недели ты водишь комбайн по широким проспектам нашей родины. К тому же ты пропустил мой день рождения. Нарочно. Я вообще сюда, можно сказать, из-за тебя попал.

— Правда что ли? — удивился Уманец.

— Правда. Приезжай — расскажу. Жду в любое время.

— А где ты сейчас?

— В Кичеево. Это по Варшавке, за Ворзелем.

— Хорошо, — Уманец подумал, что суббота годится для поездки к Незгоде даже больше, чем какой-нибудь другой день. — Я могу быть у тебя через три часа.

— Отлично! Приезжай. Тут мы с тобой и поговорим.

В последней фразе как будто проскользнула угроза, но Уманец знал, что это ему померещилось.

Два часа спустя он миновал городскую черту. Теперь где-то среди поселков, разбросанных между Варшавским шоссе и Ковельской веткой Юго-Западной железной дороги, предстояло отыскать областную психушку, в которой занял оборону Юрко Незгода, бывший поэт и бывший редактор самого хулиганского киевского глянца.

3

В последний раз Уманец проезжал здесь несколько лет назад. С тех пор местность вдоль шоссе изменилась сильно, хотя и вполне предсказуемо. Дорога, как грибок, поросла заправками, небольшими отелями и ресторанчиками с названиями, призывающими остановиться немедленно и жрать, жрать как можно больше, не откладывая это приятное и важное дело. Грядущее смутно и неопределенно, поэтому жрать нужно при всякой возможности, сейчас, сегодня; отложить дела, забыть о них и садиться за стол. Нельзя тянуть, нельзя откладывать, и тогда будущность наверняка повернется к вам своей самой привлекательной спиной.

Рестораны пробивались сквозь сугробы за каждым поворотом дороги, они стояли стена к стене, забор к забору, и хотя различались в деталях, все же были удивительно похожи, аккуратно воспроизводя на крышах трогательные готические башенки, крытые синей металлочерепицей; замысловатые бетонные завитушки на ампирных фасадах; вывески над входом, даже днем отливающие неоном.

Тут все казалось новым, все было другим, но удивительным образом сохранилось главное: выехав из Киева, Уманец привычно почувствовал, как проваливается в дремучее прошлое. Вывески придорожных ресторанов и огромные рекламные щиты отгородили от него прежнюю жизнь этих мест, отодвинули ее в тень моллов, грубо оттерли, заслонили, но она никуда не исчезла. Прошлое по-прежнему оставалось рядом, гремело сбруей давних походов, проступало в названиях сел, в пейзажах и ландшафтах, очертаниями старых хат по склонам пологих холмов, мягко сбегало к берегам рек. Оно хранилось в языке, прочно коренилось в крови, и Уманец опять, в который уже раз, подумал, что международная автомагистраль со всей ее инфраструктурой проложена не через леса и деревушки, а напрямик сквозь время.

Если ехать из Киева по Варшавке, то первый заметный город — Коростень, наследник древлянского Икоростеня, тысячу лет назад сожженного мстительной княгиней Ольгой; чуть к юго-востоку от него — Малин, город Мала, отца Малуши, деда князя Владимира. Так что дорога, по которой ехал Уманец, появилась тут не вчера и не случайно. И в том, что Незгodu занесло именно в эти места, где границы времени размыты, а настоящее наложилось на прошлое, не заслоняя его, но оттеняя, можно было разглядеть и предопределенность, и недобрую иронию. Что угодно, только не случайность.

4

Серая двухэтажная больница была похожа на школу в маленьком депрессивном городке. Так у нас строили в конце семидесятых: бетонные панели с осыпавшейся облицовочной плиткой, широкие окна, местами забитые фанерой, плоская крыша, которую каждое лето щедро заливают битумом, но она неизменно протекает, едваждавшись осенних дождей.

Рядом с лечебным корпусом редкими осколками стекла сверкала разрушенная теплица, за ней торчала труба котельной, дальше угадывались невысокие склады и гараж.

Участок для больницы был выбран на краю леса, подальше от дороги. Сразу

за забором начинались поля, как и все вокруг, заваленные снегом. Тоска и уныние владели этими местами безраздельно.

Уманец оставил машину на стоянке, миновал пустую будку вахтера и примостившуюся возле нее небольшую пристройку с надписью *Магазинчи* во всю ширину деревянной двери. Несколько человек молча сидели в узком загоне между задней стеной пристройки и забором. Подойдя к крыльцу больницы, Уманец достал телефон.

— Стою у входа в приемное отделение, — доложил он.

— Приехал прямо сюда? — удивился Незгода.

— Разве не для этого ты звонил мне утром?

— М-мм... Ну поднимайся, раз уже здесь. По лестнице, на второй этаж.

— А что там?

— А там я.

Коридоры первого этажа пахли тушеной капустой и хлоркой, второго — только хлоркой. Запах лежал плотными слоями, и Уманец шел сквозь него тяжело и медленно, как сквозь невидимый туман. Таблички на грязно-белых, разошедшихся дверях сообщали непонятное: *Отделение коморбидной патологии; Отделение эндогенных психических расстройств; Отделение гериатрической психиатрии*. В стены, выкрашенные до середины синей масляной краской, были намертво вмурованы горшки с филодендронами. Длинные изжелта-зеленые стебли тянулись по веревкам вдоль всего коридора, поднимаясь над дверями и провисая в промежутках между ними.

На этаже было тихо и безлюдно. За окнами стояли все те же заснеженные деревья. Столб черного дыма поднимался над трубой котельной и уходил в безупречно голубое, насквозь замороженное небо. Уманец подумал, что тридцать лет назад, когда больницу только построили, здесь все было в точности таким же: и этот лес, и этот дым. Прошлое опять затягивало его. Уманец остановился посреди коридора, не зная, куда идти, где искать Незгodu, не понимая уже совсем ничего, но тут в кармане куртки завибрировал телефон.

— Поднялся?

— Да. Где тебя искать?

— Угадай, — пробурчал Юрко и отключил связь. Несколько секунд спустя одна из дверей открылась, и Незгода вышел в коридор. — Коля, ты не вовремя приехал. Сейчас обход, мне нужно поговорить с врачом.

Он был одет во что-то серое, одинаково похожее на уютную домашнюю пижаму и на разношенный тренировочный костюм с ярким пятном на животе. На ногах болтались коричневые меховые тапки невообразимо большого размера. Пятно оказалось пучеглазым Гомером Симпсоном, в точности таким, каким рисовали его в девяностых: желтокожим, толстобрюхим, с тремя длинными волосинами на лысом черепе. Незгода всегда с трепетом относился к придурковатому инспектору по ядерной безопасности из американского мультика и говорил: «Гомер Симпсон — это я». Здесь, в больничном коридоре, слабое внешнее сходство живого Юрка и нарисованного Гомера неожиданно усилилось: лицо у Незгоды от больничной жизни пожелтело, а волосы, хоть и не такие редкие, торчали нелепо и беспорядочно.

— Обход? Ты раньше не мог мне об этом сказать?

Спрашивать было бесполезно. Уманец знал Незгodu больше двадцати лет, и тот всегда назначал несколько встреч одновременно. Это было дьявольски

неудобно, это бесило всех, и никто не понимал, почему он так делает, но долгие годы Юрко упрямо следовал своей привычке.

— Подожди меня. Посиди вот тут, на диванчике, — Незгода завел Уманца в отделение и сам осторожно присел на разваливающуюся тахту цвета гниющих водорослей. — Сейчас придет врач, я поговорю с ней и минут через пятнадцать освобожусь.

— То есть врача еще нет, и ты не знаешь, когда она будет, — Уманец попытался перевести обещание Незгоды на язык фактов, но на этот раз ошибся.

— Уже знаю. Слышишь? Врач идет.

Они замолчали. В тишине пустого коридора отчетливо и ясно раздались быстрые, твердые шаги.

— Шаги командора по коридору областной больницы, — Незгода поднялся с тахты. — Хорошее название для твоей картины.

«Плохое», — подумал Уманец.

Это была давняя их выдумка, скорее игра, чем что-то серьезное. Незгода придумывал названия для полотен Уманца. Он сочинял их не глядя, не желая видеть изображение, ведь в тугих переплетениях потоков краски, в сочетаниях пятен не было дурной, вяжущей определенности, только настроение, воля, динамика и сложный ритм. В экспрессионистских работах Уманца присутствовала лишь чистая, ничем не замутненная абстракция.

Прежде, во времена, теперь казавшиеся доисторическими, Незгода был поэтом. Он писал яркие и мускулистые стихи. И сам он был таким же мускулистым и цепким, с голодным взглядом опасного хищника семейства медвежьих. Потом он возглавил глянец, но еще долго мыслил не как редактор, а как поэт и показал себя настоящим мастером заголовка. Вот и в названиях картин, придуманных Незгодой, чуть слышно, едва различимо звучали его интонации прежних лет. Давно все развеялось: журнал закрыт, Незгода не пишет стихов, но Уманец остается художником, а его картинам по-прежнему зачем-то нужны названия.

Врач шла стремительно, и ее поступь слышались все отчетливей. Сперва Уманец представил ее строгой старухой с часами-кулоном на золотой цепочке, грозой ленивых медсестер, сухой, как прошлогодняя ржаная корка. Но звонкий паркет коридора слишком молодо и радостно отзывался на каждый ее шаг.

«Это не шаги командора, — еще раз подумал Уманец. — Каменного гостя, гранитной глыбы с постамента над могилой, хранящей останки истлевшего покойника... Конечно, нет. Так движется судьба, уверенно и неудержимо, пронзая тишину острыми, тонкими каблуками. Она молодая и сильная. Судьба всегда сильная и молодая».

Теперь он ждал появления стройной, юной красавицы на шпильках, высотой с Шанхайскую башню в накрахмаленном и идеально выглаженном медицинском халате, твердом, как наст на сугробах в зимнем лесу. И конечно ошибся. Уманец ошибся почти во всем: красавица оказалась не юной, да, пожалуй, и красавицей она не была. Разглядеть лицо женщины, скрытое за большими очками, под шапочкой, надвинутой глубоко на лоб, ему не удалось, но в ее взгляде мощно пульсировали власть и сила, и спрятать их было невозможно. Зато белый халат был в точности таким, каким Уманец его представлял, — жестким, негнувшимся и безупречным, словно сваренным из листов нержавеющей стали на секретном военном заводе.

— Здравствуйте, белая королева! — дурашливо ухмыляясь, Незгода шагнул навстречу врачу. Гомер Симпсон на его реглане приветливо сморщил физиономию. — Ко мне приехал гость, художник Коля Уманец. Он нам не мешает.

— Гости приезжают в приемные часы, Незгода! — ответила доктор, и взгляд ее, не задерживаясь на Уманце, скользнул сквозь него вглубь отделения. — А тех, кто появляется во время обхода, у нас называют нарушителями режима.

— Он безвредный нарушитель, — Юрко и Гомер Симпсон вступились за Уманца. — Он подождет меня на диванчике.

— Да уж, конечно. Разгуливать по отделению я ему не позволю. — Врач прошла мимо, и паркет опять зазвенел под ее высокими каблуками. Незгода поплелся следом.

— Вот вы спрашивали о моем окружении, — теперь его голос доносился из глубины отделения. — Можете познакомиться. Если захотите...

— Я и прежде догадывалась, что рядом с вами люди, ведущие беспорядочный образ жизни. А вы подпадаете под их влияние. У вас слабая сопротивляемость внешним воздействиям, больной.

— Да, я впечатлительный, — согласился Незгода. — Что же делать?! Вот такой я человек!

Они зашли в какой-то кабинет, и хотя дверь осталась открытой, продолжения разговора Уманец уже не слышал. Ему стало душно, он больше не мог сидеть на тахте, ожидая Незгodu и терпеть запах хлорки. Уманец вышел в коридор. Закрывая дверь, он заметил на ней табличку: *Отделение пограничной психической патологии и психосоматических расстройств.*

5

Воробьи, коты и пациенты Кичеевской больницы собирались на пяточке между забором больницы и тыльной стеной *Магазинчи*. Птицы мостились на голых ветвях рябины, яростно скандалили и срывались мгновенно, едва заметив россыпь хлебных крошек, огрызок пончика или окурок. Серые коты дремали на деревянных лавках, поджав хвосты и лапы, притирались боками к больным, собравшимся выпить кофе и спокойно покурить без надзора врачей и медсестер. Здесь любили котов и кормили их печеньем.

В *Магазинчи* торговали дешевой бакалеей, хлебом, минеральной водой и бананами. В торце тесного узкого помещения, пропахшего прогорклым салом, рядом с кофеваркой стояло длинное неглубокое металлическое корыто, над которым поднимался тяжелый жирный пар. Это варились сосиски.

Уманец заказал кофе. Пока продавщица возилась с аппаратом, он еще раз обвел ленивым взглядом полки и вдруг заметил, что кофе здесь выставлен довольно редкого сорта — индийский растворимый, в невысоких коричневых банках. Такой у нас продавался повсюду в конце восьмидесятых, в последние советские годы. С тех пор Уманец его не видел, но неприятный кислый привкус запомнил крепко. Он поднес к губам стаканчик с горячим напитком, приготовленным продавщицей. За двадцать прошедших лет вкус индийского кофе не изменился.

Уманец вышел на улицу, и коты на скамейках подняли головы, ожидая печенья. Не на кофе же они рассчитывали, в самом деле.

— Колька! — с крыльца больницы помахал ему рукой Незгода и тяжело

потрусил по дорожке. На костюме с Гомером Симпсоном он набросил теплую зимнюю куртку натовского образца. На ногах у Юрка сверкали высокие алые башмаки. Когда-то давно Уманец на нем такие уже видел. — Подожди меня. Я тоже что-нибудь выпью.

— Ты освободился? Я думал, что мне ждать не меньше часа.

— Да ерунда! Я же сказал, что разберусь с ней быстро. В конце недели уже выпишываюсь. Это все моя осенняя депрессия. Сейчас я тебе расскажу по порядку, — пообещал Незгода и зашел в *Магазинчи*.

Депрессии начали мучить Незгodu пять лет назад. Они накатывали неожиданно, подмывая психику Юрка, подменяя его личность. Вместо рационального, жесткого редактора, привычно прикрывавшего резкость грубоватой иронией, вдруг появлялся виноватый человек с тихим голосом. Он робко ловил взгляд собеседника, жалобно заглядывал в глаза и пытался за что-нибудь извиниться.

Кроме чувства вселенской вины в дни депрессии Незгodu одолевало желание немедленно покончить с жизнью. Его мозг работал только над тем, как и где поскорее справиться с этой задачей и в то же время сохранить решение в тайне от хозяина. Иногда Незгода обнаруживал себя несущимся по шоссе с запредельной скоростью, иногда стоящим на лестничной площадке восемнадцатого этажа соседнего дома с мыслью, что последний стремительный полет — это счастье и освобождение.

Потом таблетки делали свое химическое дело, депрессия отступала, но обязательно возвращалась. Сперва она повторялась раз в год, со временем это стало случаться чаще.

— Готов ли ты слушать меня, хотя бы вполовину так же, как я готов говорить? — спросил Незгода, выходя из *Магазинчи*. В одной руке он держал стаканчик с кофе, в другой — тарелку с тремя сосисками. — Я поем, ты не против?

Коты учуяли явление сосисок и тихо окружили Незгodu.

— Начинай, — вздохнул Уманец. — Даром я, что ли, приехал в эти дикие места?

— Коты здесь — свирепые зверюги, — поежился Незгода. — За прокисшую сосиску любого порвут.

Коты лежали тихо, жались друг к другу боками и сочувствовали судьбам сосисок. Ничего свирепого не было в их заинтересованных взглядах, и Уманец подумал, что корни осенней депрессии выкорчеваны из психики Незгоды не до конца.

— Котов я беру на себя, — пообещал он. — Говори.

Незгода быстро проглотил сосиски и закурил. Коты заскучали, прикрыли глаза и задремали, опустив серые морды. Мир и благорастворение воздушных наступили у задней стены *Магазинчи*.

— Меня отпустило после Нового года, — сказал Юрко, стараясь не смотреть на котов. — Сначала пропали мысли о суициде, потом исчезло чувство вины. Но ремиссия вещь такая же загадочная, как и депрессия. Еще не известно, что хуже...

— Ты о чем? — удивился Уманец.

— Сразу после болезни я становлюсь агрессивным.

— Ты и так не подарок.

— Я знаю. Но в начале ремиссии — особенно. А если, например, пива

выпью или, скажем, — водки, то обязательно кому-нибудь набью морду. Мне вдруг открывается, сколько мудаков с небитыми мордами гуляют рядом с нами. Ты даже не представляешь! А как я могу смотреть на это спокойно? Надо что-то делать, хотя бы из чувства справедливости.

— Конечно, — согласился Уманец. Он не забыл знаменитый бой Незгоды в ресторане «Сапоги всмятку». Прошло лет десять, но ту яркую, мгновенную схватку наверняка даже теперь помнят официанты ресторана и полтора десятка журналистов, оказавшихся рядом.

Отмечали запуск нового глянца, Юрко был назначен главным редактором. Тираж первого номера журнала привезли в ресторан прямо из типографии. Незгода делал его четыре недели в одиночку, на старом, разваливающемся «Макинтоше», потому что редакцию еще не набрали и технику купить не успели. Зато рекламный отдел сформировали быстро, и рекламщики, едва повесив на стенах календари с портретами котов разных мастей, тут же начали заботиться о заполнении журнальных полос рекламными макетами и заказными статьями. По большей части именно статьями, ведь рекламу в новое издание давать, как правило, не спешат, а заказные статьи публикуют на привлекательных условиях: «вы сейчас напечатайте вот это, а мы когда-нибудь потом, может быть, подумаем о бюджете для вас». Незгода знал эту технологию хорошо и потому рекламщиков, подбивавших к нему клинья, привычно выставлял за дверь, напутствуя добрыми словами о том, что бесплатно никого кормить говном не будет и сам его есть не станет. В том смысле, что деньги за джинсу нужно брать наперед и делиться ими с редакцией, даже если редакция представлена одним только главредом. А без этого его журналистская совесть глянцевыми принципами не поступится ни за что. Рекламщикам оставалось только согласиться с волевой позицией Незгоды, и потому уходили они недовольные, но вразумленные. Не согласился только Вадик, фамилию которого до знакомства Незгода не знал, а после, хоть и пытался несколько раз запомнить, но тут же забывал. Получив первый отлуп, Вадик явился к Незгоде еще раз с тем же материалом, а потом начал названивать ему трижды в день, утром, в обед и вечером, интересуясь, когда все же выйдет нужная статья. Уже горели сроки, дедлайн надвигался неумолимо, Незгода ночевал в редакции и пытался водопроводной водой, а звонки Вадика повторялись с аккуратностью немецких артобстрелов. Юрко попросил друзей с прежней работы Вадика узнать, чем вызвана настойчивость рекламщика, и ему объяснили, что тот по каким-то давним своим делам остался должен одной компании денег. Теперь же он решил, что может вернуть долг, впрыснув рекламную отраву под тонкую кожу еще не рожденного издания.

Разобравшись в деталях, Юрко торжественно пообещал, что Вадика с его джинсой не подпустит к журналу, даже если он решит расплатиться якутскими алмазами. Но рекламщик никаких алмазов не предложил и продолжал звонить, мешая работать. Поэтому на торжественной пьянке в «Сапогах», когда армянский коньяк, расширив сосуды, раздвинул и границы дозволенного, Юрко отправил Вадика в нокдаун немедленно, как только опознал среди жующих его жадную физиономию. Все случилось так быстро, что Незгода сам едва ли успел уловить и увязать причинно-следственные связи. Его правая привычно совершила акт возмездия, и Юрку оставалось отстраненно наблюдать, как после удара тело Вадика легко скользило по стеклянной поверхности столика, отданного почетным гостям. Оно двигалось, постепенно замедляясь, сметая на пол бутылки

с коньяком, минеральную воду, тарелки с зеленью и шашлыками. Когда Вадик грохнулся на стол, непрожеванный бутерброд вылетел у него изо рта и попал в тарелку офис-менеджера Юли. Стало тихо. Гости разглядывали поверженного рекламщика, развалившегося на столе, и молчали.

— Какая гадость, — громко сказала офис-менеджер Юля, имея в виду и безобразную сцену в целом и чужой недожеванный бутерброд, упавший поверх ее собственного, уже надкушенного с деликатностью, на которую способны только офис-менеджеры.

Еще много недель спустя, встречая Вадика в коридорах издательства, те, кто помнил сцену в «Сапогах», слышали брезгливое «какая гадость», произнесенное дрожащим Юлиным голосом. Такое долго не забывают.

— Значит, ты начал выздоравливать и сразу с кем-то сцепился?.. — Уманец выбросил стаканчик из-под кофе в мусорник.

— Не сразу. Началось с того, что Дина уехала на день к родителям. Я собирался забрать машину из ремонта, у меня весь день был расписан. Но машину не закончили, и вот я остался один в городе. Без жены, без срочных дел, но с деньгами.

— Опасное сочетание, — заметил Уманец.

— Редкое, — улыбнулся Незгода. — В последние годы трагически редкое. Такие случаи упускать преступно! Я должен был им воспользоваться, но еще не знал как.

— Ты всегда хорошо импровизировал.

— Конечно! Ситуация обязательно подсказывает выход. Она сама себя диктует. Когда лживый мастер СТО сказал, что машину сделают только через неделю, хотя неделю назад мне уже обещали в точности то же, я решил выпить кофе. Но первое, что попало мне на глаза в магазине, была литровая бутылка доминиканского рома. Ты не замечал, что так бывает часто: ищешь кофе, а находишь ром?.. В широком, разумеется, смысле. Итак, я увидел ром и, конечно, все понял и все вспомнил! Доминикана! Ром! Мулатки! Бешеная страсть под небом тропиков.

— Тропик Рака...

— Именно он. Я купил ром, купил пол-литра Кока-Колы и забодяжил коктейль по рецепту сестер Эндрюс. Январь, мороз, я один в городе, и у меня в сумке торпеда рома с колой. Скажи, что я должен был делать?

— Давай не будем о долге, — предложил Уманец. — Думаю, ты начал пить.

— Правильно. А потом?..

— Продолжил.

— Нет. Потом я пошел в сортир, потому что невозможно пить ром с колой и хотя бы время от времени не заходить в сортир. И вот там я встретил красавицу. Сирену. Ветку сирени. Фиалку Монмартра.

— Ты пошел в мужской туалет? — осторожно уточнил Уманец.

— Конечно!

— Тогда я тебя не очень понимаю.

— Она продавала билеты. Ну, ты помнишь, как Маяковский одной фразой обозначил проблему женщины в мужском сортире: «...шерстяные чулки, почему не шелка?..» Я ее так и спросил: где твоя шерсть, фиалка? Где твои шелка? И угостил тропическим доминиканским коктейлем. Она оценила, и это важно; отчего-то в последнее время женщины все реже меня правильно оценивают. Мы

разговорились, она пожаловалась на хозяина, рассказала о дочке, у которой собственные интересы, и в ответ угостила своим коктейлем. Это было что-то мерзкое — водка какая-то и не знаю что еще... По вкусу похоже на машинное масло, но намного хуже...

Уже в тот момент я мог разочароваться в ней, и я был близок к этому, однако атмосфера заведения располагала к более детальному знакомству.

— Атмосфера...

— Конечно! Миазмы. Тени темных страстей. Предчувствие насилия. Легкая напряженность гениталий.

— Наверное, тебе и запах хлорки нравится, — вдруг догадался Уманец.

— Не без того. В хлорке я чувствую запрет, а любой запрет меня заводит. Требует противодействия.

— Так чем же закончилась клозетная история?

— Ничем. Круг тем для бесед был оскорбительно узок, и Фиалка мне надоела. А тут, так некстати, появился хозяин туалета, и они принялись считать дневную выручку. Я оставил их, ушел молча, не прощаясь. О чем говорить с этими мелочными потомками Веспасиана? К тому же позвонил Назым, ему забросили машину одежды. Дорога сама вела меня к Назыму.

— Ботинки, — догадался Уманец. Алые кожаные берцы прочно удерживали его внимание с самого начала разговора.

— Если бы только они, — поморщился Незгода. — И эта куртка, и этот Симпсон... И ботинки, а как же?.. Когда у меня при себе деньги, а в сумке запасы рома, я не могу пройти мимо красных, почти не ношенных берцев, моего размера, за которые просят всего сто гривен. Я, конечно, торговался, требовал — и получил! — оптовую скидку. Правда, для этого пришлось еще кое что прикупить... Но это не важно! Главное — результат.

У Назыма я провел... Не помню точно сколько... Мы пили ром с колой, он угощал самсой, но когда стемнело Назым мне надоел, и я ушел домой пешком.

— Таксисты не хотели тебя брать?

— Это я не хотел с ними ехать. Понимаешь, когда любимая машина в руках вымогателей из СТО, а ром с колой решительно корректируют метаболизм во всем организме, приходит понимание, что я не заслуживаю счастья передвигаться на четырех колесах. И я как честный человек в рамках концепции лишил себя такого права! Я пошел пешком... К тому же, Назым выпил почти весь ром. А может, это сделал я, не знаю, не помню, не могу сейчас сказать. Было очевидно, что ночь впереди длинная, а ром может закончиться очень скоро, поэтому я покончил с ним тремя решительными глотками и взял еще два пива. Две тяжелые двухлитровые торпеды аккуратно легли в сумку, заполнили ее, не оставив свободного места. Знаешь, на что они были похожи? На дирижабли! Как только я это понял, тут же решил, что должен немедленно услышать Led Zeppelin. Я ведь практически ровесник этого альбома! А ты замечал, что музыку, написанную в год его рождения, человек слушает всю жизнь? Он с ней связан! Мы все с ней связаны. Меня прямо трясло, так я хотел услышать Led Zeppelin, и даже пиво не гасило эмоции, наоборот. Но первое, что я сделал, когда пришел домой, — сжег усилитель. Новый! Ламповый! Усилитель! Вертушку подключил не к тому разъему и сжег его с треском, как березовое полено... Тогда мне было пофиг, ты меня понимаешь, а на следующий день жаба придавила. Неслабая такая жаба. И сейчас давит, но ребята говорят, что все еще можно починить...

Одним словом, косяк цеппелинов пролетел стороной. Но тогда я на эти пустяки внимания не обращал. Сгорел, значит, сгорел, судьба, значит, такая! А пиво, между тем, шло отлично, уверенно шло, без рывков, без натужных сотрясений. Однако вечер решительно переходил в ночь, и я начал скучать в одиночестве. Пришлось вызвать проститутку. Порылся в интернете, поднял старые адреса и примерно через полчаса она приехала... Ну такая крепкая. Крепкая, высокая. Тут четвертый размер, и там природа не обидела... Все, как я люблю, одним словом. Правда, к моменту ее появления я мог уже только спать и она меня своим приездом разбудила. Это было немного бестактно, но я ее простил. Спать я мог отлично, а все остальное получалось плохо. Хотя девушка, как я сейчас понимаю, оказалась старательная. Каждый раз, когда я засыпал, она обижалась и зачем-то меня будила. Зачем она это делала, что ей от меня было нужно, я до сих пор не понимаю. Наконец она мне надоела, и около четырех часов утра мы расстались. Без грубости, без нарушения договорных обязательств, но я ее выставил и наконец уснул... А в семь утра в квартиру вошла Дина. Я как встал с постели голый и нетрезвый, так и простоял... целую минуту. Но проснуться не смог. Она что-то говорила, а я ничего не понимал. Только помню, что на телефоне обнаружил десяток ее звонков без ответа.

— Наверное, она нашла в доме немало интересного...

— Не знаю. Тогда она мне ничего не сказала, а потом мы почти не разговаривали. Хотя, когда я задумываюсь, что там могло найтись, то мне хочется быстро пробежать метров триста по глубокому снегу. Чтобы думать о чем-то другом.

— Могу представить...

— Это еще не конец. Дина вернулась не просто так. Тогда был мой день рождения. Я тебя тоже звал, ты помнишь?

— Я болел.

— Это ты так говоришь. На самом деле...

— Болел.

— Ладно, не будем. Если бы ты приехал, может все и обошлось бы. Но вечером заявила теща со своим Гургеном. Хотел бы я знать, где она берет этих гургунов? Приехал Динкин брат Миша, мы немного выпили, и я начал объяснять им, что в этой стране делать больше нечего, что пора валить отсюда. Например, в Польшу. Предусмотрительные люди, такие как я, уже давно запаслись Картой поляка. Надо действовать! Динкин брат вежливо, но с такой специальной подковырочкой взялся рассуждать в ответ, что жизнь нужно налаживать здесь, что в Польше нас тоже не ждут. А я же этого не люблю! Я человек прямой. Я ему сразу сказал, что не ждут там поцов и жлобов вроде него, а нас всюду ждут. Не знаю, на что Миша обиделся, на жлоба или на поца. Я же ничего не выдумал, и то, и другое — чистая правда, но Миша забрал жену и уехал. Тут и Динка себя показала, вылила всю водку в раковину кухонной мойки. Чем, скажи мне, виновата водка? Если она разозлилась на то, что увидела утром, так я пил ром, а потом пиво, как ты помнишь. Водку зачем выливать?! Я этого не люблю...

На следующий день они с тещей выдвинули мне ультиматум. Первый пункт ультиматума — сделать МРТ. Дальше я слушать не стал и до второго пункта разговор не дошел. Эти курицы решили, что я идиот, что у меня в голове опарыши. Но я сделал МРТ им назло и принес заключение врача: у меня

развитый мозг человека, занимающегося высокоинтеллектуальной деятельностью. Отдал жене бумажку и фотографию головы в разрезе, не сказал ни слова, а врача попросил подобрать мне тихое место, чтобы можно было отдохнуть от этих чудовищных идиотов. Теперь я в Кичеево, среди котов и психиатров.

— Так ты сам решил тут поселиться, — не поверил Уманец.

— Хочешь крест? — спросил Незгода и тут же торжественно перекрестился на ближайшего кота. — Это была только моя воля и больше ничья. Три недели — по тысяче гривен за неделю. Отдал из собственного, отнюдь не бездонного кармана. Но зато теперь я здоров, готов смотреть в глаза жене уверенным и честным взглядом.

— Ты позвал меня, чтобы это рассказать?

— А как же? Ты иллюстрировал мою книгу. Тебе это должно быть важно. К тому же, не увидев этой трубы, этих котов, не нюхнув больничной хлорки, ты мог воспринять мой рассказ не всерьез. Без должного драматизма. А допустить такого я не мог.

— Тебе от меня что-то нужно, — догадался Уманец

— Конечно! На следующей неделе в нашем родовом имении, то есть там, где оно когда-то было, открывают памятник Петру Незгоде. Гости соберутся разные, и ситуация может сложиться непростая. Ты должен это понять и поддержать меня. Поехали на открытие вместе!

У Юрка с его двоюродным прадедом Петром Незгодой отношения складывались мучительно тяжело. Петро об этом не догадывался, потому что девяносто лет назад майским утром выбрал в саду у брата яблоню покрепче и на ней повесился. А сложная и запутанная жизнь Юрка стала еще сложнее, когда он узнал подробности этой истории. Казалось бы, к событиям девяти столетней давности в наше время интерес может быть только академический. В целом, это так. Но если твоя фамилия Незгода, то привычные правила не действуют.

6

Дурашливое тепло погожего февральского дня исчезло немедленно, едва солнце скрылось за соснами близкого леса. Еще лежали на полях отливавшие золотом широкие полосы предзакатного света, и небо на востоке только начинало темнеть, но Уманцу казалось, что из воздуха уже вымораживается кислород, оседая кристаллами на снегу, дышать становится тяжелее, и он вот-вот начнет задыхаться.

Уманец немного опасался своей привычки угадывать то, чего еще нет, что лишь может случиться, и кроме него этого никто не замечает и не чувствует. Но еще больше боялся ее потерять. Какой он художник, если видит все в точности как остальные? Конечно, он догадывался, что кристаллизация кислорода происходит при температурах, мало совместимых с жизнью, но воображение позволяло ему уверенно преодолевать расстояние между заморозками ранних февральских сумерек и температурами, близкими к абсолютному нулю.

Незгода тоже мерз, хотя теплая куртка должна была защищать его и от более жестких холодов. Он притоптывал алыми ботинками, нетерпеливой рысью пробегал от *Магазанчи* до больничных ворот и всматривался в подступающие сумерки.

— Ты кого-то ждешь, — догадался Уманец.

— Гринберг идет, — ответил Незгода и тут же спрятался за стеной *Магазинчи*. — Постой здесь минуту. Не выходи.

По дороге, ведущей от больницы, прошла давешняя врач. На ней было пальто, давно уже потерявшее и вид, и форму. Посреди зимних пейзажей врач выглядела не так убедительно, как в коридоре больницы, но ее походка оставалась твердой, звук шагов в морозном воздухе был слышен отчетливо и ясно. Резко скрипнули ворота, выпуская ее.

— Ушла, — Незгода обернулся к Уманцу. — Постой тут еще минуту.

Он зашел в *Магазинчи*, и ждать его пришлось долго. Ветер гнал по смерзшемуся снегу старых сугробов окурки и конфетные обертки. Наконец Юрко появился на крыльце. В одной руке он держал два пластиковых стакана, в другой тарелку с двумя сосисками.

— Водку будешь? — спросил он, протягивая Уманцу один стакан.

— Мне сейчас садиться за руль и возвращаться в город.

— Тогда поддержи, пожалуйста, сосиски. А то неудобно пить, когда в одной руке два стакана.

Уманец взял тарелку. Юрко тут же разинул рот, вылил в него водку из одного стакана, взял с тарелки сосиску и медленно прожевал ее, закрыв от удовольствия глаза.

— Тебе водку не разрешают, — догадался Уманец.

— Издеваются, гады, как хотят, — пожаловался Незгода. — Так что, не будешь пить?

— Нет, не буду.

— Тогда я. — И он вылил в рот водку из второго стакана.

— А ведь ты знал, что я откажусь, — в упор посмотрел на него Уманец. — Ты оба стакана купил для себя. Ты алкоголик, Юрко.

— Не называй меня алкоголиком, — обиделся Незгода.

— А этот фокус с двумя стаканами — типичный самообман алкоголика.

— Не называй меня алкоголиком, — повторил Юрко и затолкал в рот вторую сосиску.

— Не буду, — согласился Уманец. — Но это ничего не изменит. Мне пора домой. Когда соберешься на открытие памятника — звони. Я поеду с тобой.

7

«Все-таки, Юрко — человек циклический, — подумал Уманец, выезжая со стоянки больницы. — Не дают ему покоя алые ботинки».

Уманец познакомился с Незгодой в конце восьмидесятых, но вспомнить точно, где и как это случилось, уже не мог. Наверное, на Андреевском спуске в Киеве, наверное, в мастерской у кого-то из художников. В старых домах на Андреевском жить было невозможно, а средства на капитальный ремонт у города вдруг закончились. Деньги исчезли, их не стало совсем, поэтому двухэтажные развалюхи, памятники истории, которые, казалось, проще снести, чем реставрировать, решили отдать художникам под мастерские. Кто теперь знает, сколько шедевров написали в тех мастерских? Может быть, ни одного. Зато водки и портвейна выпили столько, что измерять выпитое проще в единицах, принятых не в кулинарии, но в гидрологии. Да и стихов молодые киевские поэты там прочитали на века вперед.

Скорее всего, в какой-нибудь захлавленной комнате с разбитыми дверями и рассыхающимися оконными рамами, удобной лишь близостью крутых, тенистых, незастроенных холмов, располагающих к романтическим беседам с юными поклонницами, и познакомились в те времена Уманец с Незгодой. Дружбы между ними не было. Довольно долго они оставались друг для друга просто еще одним поэтом и еще одним художником в ряду таких же. Но при встречах они здоровались, а если встречались в одной компании, то легко могли поддержать разговор об общих знакомых.

Потом Незгода исчез, и это тоже не считалось редкостью. Все они временами куда-то исчезали, чтобы мутить новые проекты, начинать и заканчивать непростые и запутанные дела, но, как правило, потом возвращались, появлялись снова, опять пили водку и портвейн, читали новые стихи. Чуть позже Уманец получил немецкую стипендию и на полгода, октябрь—март, уехал в Берлин.

По условиям стипендии он должен был изобразить что-то на тему зеленых городов и новых технологий и подготовить совместную выставку с немецким поляком Тадеушем Глогером. Тадеуш всю эту историю и затеял. Два месяца они обсуждали концепцию, а в декабре на облюбованный Уманцем Шарлоттенбург, и на остальной унылый Берлин сошел снег, в городе не осталось ни единой зеленой ветки. Жизнь Уманца остановилась и на четвертом месяце немецкой зимовки он затосковал. Ему не писалось, не думалось, ему вообще не жилось. Кому интересны немецкие снега, когда дома есть свои? Наплевав на стипендию, Уманец собрался возвращаться.

Внимательный Тадек Глогер быстро объединил вероятный отъезд партнера в одну причинно-следственную цепочку со скорой потерей стипендии, сопряженной с этим отменой уже запланированной выставки и неизбежным ущербом для собственной репутации. Ситуация развивалась в нежелательном направлении, и Тадек должен был спасать карьеру. Он повез Уманца по сквотам Кройцберга и Фридрихсхайна, рассудив, что если еще и осталось в городе что-то живое, способное вернуть Уманцу радость существования посреди сырой, но снежной зимы, то искать нужно в заброшенных кварталах на границе Западного и Восточного Берлина.

Уманец знакомился со всеми, кому его представляли, разглядывал все, что ему показывали. Ему не хотелось огорчать Тадека, но коммуны Берлина его не радовали. Похожую жизнь он уже видел в московских, питерских и киевских сквотах, только у нас она казалась веселее и проще. Бородатые люди из Восточной Европы, собравшиеся в Кройцберге, выглядели уныло, Уманец не видел в их глазах огня священного безумия.

Тадек тоже когда-то пожил сперва в одной местной коммуне, потом в другой, затем решил, что индивидуализм в нем сильнее желания слиться с коллективом, и со сквотерством покончил. Он отлично помнил здесь всех старожилов и многих рад был видеть, но Уманец чутко улавливал интонации превосходства в его рассказах об обитателях Кройцберга. Тадек считал, что уже занял новую ступеньку на иерархической лестнице немецких художников. Вот, кстати, и стипендию ему дели, а стипендии не дают кому попало — остальные ведь ничего не получили.

Новичков-сквоттеров Тадек не знал и, встретив во дворе дома худого парня в алых ботинках и форме рядового бундесвера, надетой на голое тело, безразлич-

но прошел мимо. Но Уманец мимо пройти не мог, потому что в форме немецкого солдата навстречу им шагала Незгода.

— Юрко, — он вскинул руки. Они обнялись так, словно были близкими друзьями много лет. Встретив Незгodu, Уманец по-настоящему обрадовался и, конечно, никуда не уехал. Он остался в Берлине, но жизнь Тадека Глогера не сделалась от этого ни легче, ни спокойнее. Наоборот, ему еще долго казалось, что высокая ступенька на умозрительной лестнице в мире чистого искусства, которую он с таким трудом занял, неожиданно расшаталась и может сломаться в любую минуту. Потому что Незгода и Уманец начали праздновать удивительную и неожиданную встречу немедленно, едва разомкнули объятия.

На четвертый день торжеств Тадек решил, что праздник немного затянулся, но даже приблизительно не мог предположить, когда он может закончиться. Вокруг двух приятелей уже расходились волны истинного фестиваля, незамутненного меркантилизмом, не ограниченного какими-то специальными поводами и датами. Они поглощали в день по три бутылки водки, а выпитое пиво в расчет не принимали. Кто же в Германии ведет счет выпитому пиву? В таком состоянии Уманец любил и мрачноватый Кройцберг, и весь придавленный снегом Берлин. Впрочем, вскоре после начала их фестиваля снег в городе растаял. Они его растопили.

Все время праздника через комнату Незгоды стремительно текла жизнь. Приходили люди, которых прежде здесь никто не знал. Люди приносили траву и неожиданные, совершенно дикие идеи. Концентрация творческого безумия в атмосфере достигла степеней, прежде рядовой немецкой коммуне не известных.

Аккуратный Тадек раз в день приезжал провести партнера. Уманец чувствовал себя прекрасно. Он был уже способен без отвращения представить, что когда-нибудь начнет, а потом закончит работу, посвященную зеленым городам и новым технологиям. Правда, думать о деталях этой работы, о концепции и сроках Уманец пока не мог. Тадек огорчился, но не знал, как быть, и потому терпеливо ждал.

Однажды поздней ночью, в час волка, который в Берлине правильно было бы называть часом медведя, когда поголовье девушек, желавших обменяться энергиями со звездами свободного фестиваля, многократно превысило физические возможности звезд и истощило их силы совершенно, у Незгоды возникла идея поэтической книги «Сераль».

В «Серале» каждой девушке посвящалось одно стихотворение. Достоинства муз превозносились силами поэтического таланта Незгоды, а Уманец писал их портреты в близкой ему экспрессивно-абстрактной манере.

Незгода был капризен и непостоянен: иногда он дарил дамам триолеты, иногда рондели. Бритой Ленке из Карловых Вар Юрко написал *Кото-строфу*.

С плеч голова — коту под хвост.
Твоя голова? Моя голова?
Спроси мне вопрос.

Сестрам-датчанкам Шине и Бинте он посвятил четыре скромные строки:

Мысли мои мармеладные
Бинтами бинтует Бинте!
Шину на них накладывай,
Ровняй их без жалости, bitte!

Сестры хотели знать точно, кому из них принадлежат первая и четвертая строки. Возможно, они уже обдумывали, как станут делить наследство Юрка. Девушки смотрели на жизнь серьезно. Но Незгода отказывался понимать сестер. Он говорил, что стихотворение едино и неделимо, а строки связаны узами более прочными, чем кровные.

Разделить четверостишие без помощи автора Шина и Бинте не сумели и два дня обиженно молчали, забавляя коммуны.

Уманец рисовал героинь «Сералей» так же быстро, как Незгода писал стихи. Сперва он подписывал листы с рисунками и старался их не перепутать, потому что перепутать было несложно. Но гости фестиваля желали видеть изображения немедленно, и многие портреты исчезали безвозвратно. В те минуты, когда он был особенно широко открыт миру, Уманец просто забывал подписывать листы, а после установить соответствие между моделью и портретом было непросто. Поэтому получалось так, что Уманец работал много, но окончание книги отодвигалось, некоторых девушек приходилось рисовать по несколько раз. Уманец мечтал о сейфе для хранения рисунков, но сейф в коммуны — явление противоестественное, и тогда в роли хранилища он решил использовать Тадека Глогера. Кто еще так заинтересован в скорейшем окончании работы над книгой? Уманец пообещал Тадеку, что немедленно примется за зеленые города и новые технологии, едва книга Незгоды будет закончена. Тадек встряхнулся, впрягся в работу и уже через неделю макет «Сералей» со стихами и иллюстрациями лежал в типографии. Но на этом он не остановился. Когда Уманец с Незгодой праздновали окончание трудов, Тадек нашел деньги и издал книгу в виде большого и дорогого альбома. Ее грубые страницы покрыли тонким слоем матового лака, и «Сераль» стал похож на юбилейное издание сборника авангарда начала века.

Незгода и Уманец не знали, что сказать Тадеку. «Сераль» был ничуть не похож на то, что они задумывали. Им хотелось прибить Тадека чем-нибудь увесистым, парадное издание «Сералей» для этого годилось вполне. Но до чего же солидно оно выглядело. Ничего подобного никто из их знакомых никогда не издавал. Незгода и Уманец колебались, не могли принять решение и продолжали пить.

Между разговорами, не выходя из глубокой задумчивости, внимательно выслушивая, но аккуратно игнорируя советы Юрка, Уманец за два дня отработал шестимесячную стипендию, и зеленый проект был представлен публике вовремя. На презентации Тадек цвел майским пионом, он уже думал о новых проектах, прикидывал, как можно использовать Уманца. Рядом с ним по выставочному залу гулял Незгода в алых башмаках, таджикском халате и афганской чалме. Он подписывал «Сераль» восторженными покупателям и чувствовал себя Арминием в дни, когда тот стал римским всадником. Юрко уже мечтал о Тевтобургском лесу. Или о чем-то похожем.

На следующий день Уманец собрал дорожную сумку, отправил Тадеку по почте прощальное письмо с благодарностями и улетел домой. С собой он взял только один экземпляр «Сералей», остальное оставил Юрку. При перелете сумка и книга пропали.

Незгода вернулся в Киев год спустя. Своей дороги к Тевтобургскому лесу он не нашел. Куда делся весь тираж «Сералей», Незгода толком вспомнить не мог и говорил что-то невнятное; во всяком случае, у него тоже не осталось ни одного экземпляра.

С тех пор Уманец изредка видел книгу на Интернет-аукционах. Но так ни разу ее не купил.

8

Доктор Гринберг стояла на обочине шоссе, возле бетонной скамейки, обозначавшей автобусную остановку. Уманец узнал ее, едва разглядев бледно-коричневое пальто с ключьями лисьей шерсти на плечах и шее, там, где во времена доисторические струился, переливаясь, густой мех чернобурки. Воротник облез, ткань выгорела, в старом пальто уже не было ни красоты, ни пользы.

— Доктор, — Уманец остановил машину и открыл дверь, — вам не холодно? Довезти вас до метро?

Гринберг медленно подошла к автомобилю и осторожно заглянула внутрь.

— Вы приятель больного Незгоды, — узнала она Уманца.

— Точно, — подтвердил он и подумал, что обычный обмен репликами может превратиться в долгий разговор. Уманец знал эту породу упрямых, несговорчивых, негибких людей. Они не принимают помощь, не берут в долг и ни от кого не зависят. Они никогда ничего не просят для себя, умеют обходиться ничтожно малым, но если у них появляется цель, то остановить их невозможно. *Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять большевики.* Большевики давно рассыпались в прах вместе со взятыми ими крепостями и автором зажигательной фразы, а их порода никуда не делась. И одна из этой породы, отставшая от отряда, брошенная историей на обочине Варшавки морозным февральским вечером, сейчас даст ему жесткий отпор и гневно отвергнет недостойное предложение. Она скорее простоит здесь еще полчаса, дождется переполненного автобуса и в тесноте доедет до города, чем примет предложение малоизвестного сомнительного типа, а то ведь кто знает, что он потом потребует у нее взамен.

Но доктор молчала, не уходила, пристально разглядывала Уманца сквозь толстые стекла очков. С отвратительным скребущим звуком тугой февральский ветер протатил мимо них по шоссе пустую раздавленную жестянку.

— Хорошо, — согласилась Гринберг и села рядом с Уманцем. — Как-то неожиданно холодно стало на улице.

— До города вы успеете согреться.

— Спасибо. Но мне не нужно в Киев. Я живу рядом, в Буче.

Она сняла очки, чтобы протереть их, и только теперь Уманец увидел лицо доктора. Гринберг давно перевалило за пятьдесят, но что-то еще сохранилось от прежней ее хищной, восточной красоты. Уманец не сомневался, что в молодости она была хороша.

— Вы давно знаете Незгodu? — спросила Гринберг, едва отъехали от остановки.

— Достаточно давно.

— Тогда скажите мне, какое его качество вы считаете основным? Что определяет характер вашего друга?

«Удивительно, — подумал Уманец. — Неужели все это время, весь день, она думала про Юрка? Чем же он ее зацепил? Необычный и редкий случай? Но задавать вопросы Гринберг он не стал и ответил коротко: «Юрко так и не повзрослел. Он остался подростком».

— Разве это главная его черта? — не поверила доктор.

— Попробуйте поговорить с ним о чем-нибудь отвлеченном и поймете: ему до сих пор двенадцать лет. По паспорту — сорок, по факту — двенадцать. Его

распирает от новых идей, совершенно безумных и фантастических. Он берется сразу за все и ни одну не доводит до конца, но выводов не делает и причин неудач не ищет. У него неизменно виноваты обстоятельства или партнеры, это ветры судьбы дуют не туда, это звезды неправильно стоят над его горизонтами, но сам он безупречен, а действия его точны и безошибочны. У него нет недостатков, есть лишь милые, простительные слабости. Вот такой он человек! Но если...

— Мне кажется, вы пытаетесь подменить...

— Но если вы сможете им руководить, — не дал перебить себя Уманец, — если он примет вашу волю как свою, то получите отличного исполнителя. Он как вода: может стоять, гнить, цвести и испаряться, а может нестись по трубам и вращать турбины.

— Хорошо, — не стала спорить Гринберг. — Наверное, и эти качества у него есть. Я подумаю. А что за история с его дедом? Или кто у него там?

— С Петром Незгодой? Дело давнее и непростое, и Юрка оно переломало сильно. Он сейчас играет, валяет дурака, то отращивает усы «под Петра», то бреет разом и усы, и голову, дуркует, как ребенок, — я же сказал, ему двенадцать — и одновременно все, что мы видим, это попытки хоть как-то срастись с историей своих предков. Юрко должен или принять ее, или отвергнуть. Вот алые ботинки он полюбил и принял. И Симпсона он тоже полюбил. А тюрбаны и восточные халаты отторг, просто забыл о них.

— Были и тюрбаны?

— Были. Сказочной красоты. Но если сейчас ему о них напомнить, то он удивится и скажет, что я все выдумал. Он помнит о том, что хочет помнить, и легко забывает то, что рад забыть. Только делать вид, что ничего не знает про Петра Незгоду, он не может.

— Расскажите же мне эту историю, раз она так важна для него, — попросила доктор. — Ваш приятель — очень интересный пациент.

— Она слишком длинная. Как-нибудь в другой раз, хорошо? — неуверенно и неопределенно пообещал Уманец. Они въехали в Бучу. — Подскажите, когда мне свернуть с шоссе? Где ваш дом?

Доктор сердито сжала губы и отвернулась. Уманец не хотел ее обижать. Он достал визитку и протянул Гринбергу.

— Давайте встретимся дней через десять, например, тогда и поговорим.

Обычно эту фразу он говорил, когда больше не собирался встречаться с собеседником.

Памятник в Распорах

1

Кузина Уманца Вика опять вернулась в Киев американкой. Она всегда возвращалась американкой. Разглядывая город и замечая перемены, Вика морщила нос и брезгливо поднимала верхнюю губу, говорила «а вот у нас, в Калифорнии...» и требовательно глядела в глаза собеседнику.

Вика была моложе Уманца на четыре года. Они выросли на соседних дачах, в одной большой компании. Их родители вместе отмечали дни рождения,

встречали Новый год. В те давние времена Уманец и Вика общались в какой-то легкий, насмешливой манере, и теперь, когда кузина раз в два-три года приезжала домой, они старательно, хоть и немного принужденно пытались ее восстановить.

В Киеве Вику злило и раздражало все, но за три недели она успевала заново привыкнуть к родному городу. Может быть поэтому, всякий раз, прилетая в Сан-Хосе, Вика с новой силой понимала, как бесят ее азиаты: треть населения этого чудесного калифорнийского города — желтокожие азиаты. А скоро их станет половина. С ними надо что-то делать!

Вике не нравились американская еда, привычка американцев постоянно жрать и не обращать внимания на одежду. Выглядеть нужно стильно! Вика всегда следила, как одеты окружающие и что в этот момент на ней. А еще в Калифорнии ей не хватало Киева. Вот если бы Киев можно было перебросить на Тихоокеанское побережье Америки... Ее фантазии хватало и на это, и на то, что в новом Киеве, перенесенном в Штаты, улицы следовало бы сделать шире, дороги ровнее, а Днепр глубже. Где и как подкорректировать американское побережье, она тоже знала. Вика отчетливо представляла, как изменить мир, чтобы он стал лучше, потому что мир несовершенен в каждой мелочи.

Уманец назначил встречу в кафе через дорогу от ее дома. Небольшой зал был наполнен теплом и светом, в крутых боках заварочного чайника отражались высокие полуциркульные окна. Лепнина на падугах отсвечивала тусклой позолотой.

Уманец нашел кузину такой же стройной, какой помнил ее в двадцать лет, и такой же энергичной. Калифорнийское солнце сделало ее кожу смуглее, а темно-карие глаза еще темнее.

— Милый сарайчик, — Вика ласково улыбнулась, разглядывая столики. — Здесь можно было бы открыть прачечную. Или автомойку.

— Ты не доверяешь их кухне?

— Еще не хватало! Я не собираюсь тут есть. Только чай!.. Кстати, я тебе привезла подарок. И родители передают привет.

Вика положила на столик запаянную в пластик цветную картонку с дешевым фотоаппаратом. В прошлый раз она подарила китайский цифровой бинокль, но электроника замечательного устройства не работала. Где она берет этот пятидолларовый хлам? И зачем его привозит?

— Боже мой, — восхитился Уманец. — Все достижения электронной промышленности Народного Китая в одной спичечной коробке.

— Ты критикуешь мой подарок?

— Я ищу в нем скрытые достоинства. Потому что явных пока не нахожу.

— Ты всегда был грубым хамом. И ты, и твой приятель Незгода. Как он, кстати? Я о нем почему-то недавно вспоминала.

— Потому что у старой любви — крепкие корни. Он до сих пор думает только о тебе. Я его видел на днях: мы гуляли по лесу и изучали повадки птиц. Юрком теперь интересуется большая наука, — добавил Уманец, вспомнив о Гринберге.

— Рада, что у него хоть что-то начало получаться, — поверила ему Вика. — Передавай привет, когда увидишь.

— Скоро увижу. Под Винницей, в каких-то бездорожных дебрях, открыва-

ют памятник его предку, и буквально завтра мы отправляемся туда на автобусе. Хотя лучше бы — на вездеходе.

— Все-таки, Колька, космос внимателен к людям, — строго посмотрела на Уманца Вика. — Космос внимателен и сентиментален. Он старательно рифмует события, терпеливо удваивает случайные встречи и обращает их в неслучайные. Юрко впервые услышал о Петре Незгоде от меня. Не от историков, не от политиков, не от тебя, а от меня, его единственной настоящей любви. И вот проходит двадцать лет, я прилетаю из Америки, а вы буквально в тот же день едете открывать памятник. Скажи, что это случайность!

Кстати, заметь, меня вы с собой не приглашаете. Впрочем, если бы и пригласили, то я бы, конечно, отказалась. Я уже отказываюсь. Заранее.

— Случайно все, что не подготовлено загодя, дорогая кузина. Мы глубоко безразличны космосу. Его квазары излучают энергию, черные дыры ее поглощают, жизнь идет, и чтобы не попасть под космический самосвал, достаточно не стоять у него на дороге. Никто не следит за датами твоих трансатлантических перелетов, кроме, может быть, каких-нибудь спецслужб и ревнивых любовников, если они у тебя еще остались.

— Мама следит. Сидит у телефона с секундомером. Контролирует взлеты и посадки Делта Эйр Лайнс.

— Но твоя мама — это еще не весь космос. Хотя и очень внушительная его часть.

— Космос продолжает за тобой следить, даже когда ты так глупо и не смешно шутишь над моей мамой.

— Он меня за это накажет?

— Даст понять, что ты неправ. Вот увидишь...

— Пока этого не случилось, я, пожалуй, пообедаю. Ты, как хочешь, а мне здесь нравится. Простодушно и щедро позолоченная лепнина на потолке сулит сытный обед.

— Ладно, — сдалась Вика, — давай пообедаем вместе. Скажи, чтобы нам принесли наконец меню.

— Ну вот, — Уманец довольно улыбнулся, — космос определенно встал на мою сторону.

Он считал характер Вики невыносимым и торжествовал всякий раз, когда удавалось победить ее упрямство. Даже в мелочах. Впрочем, только в мелочах ему это и удавалось.

Меню, действительно, было полно блюд со сложными названиями, отсылающими к кухне времен Людовика XV. Но Уманец и Вика выбрали еду простую и понятную обоим: они заказали вареную картошку с селедкой, две отбивные, ведро квашеной капусты и графин водки.

Покончив с едой, они еще долго, не торопясь, пили чай, и к концу чаепития, когда на улице давно стемнело, Уманец обнаружил, что уже пригласил Вику на открытие памятника Петру Незгоде, а теперь подробно объясняет, как найти остановку, с которой завтра отправится автобус в Распоры.

2

Он проводил кузину до двери подъезда, а потом пешком пошел на метро. К ночи асфальт подмерз, и тротуары покрыла неровная корка льда. Туфли на

тонкой кожаной подошве скользили, Уманец шел медленно. Водку они с Викой пили вдвоем, но почти все выпил он один, и сейчас, хотя никто не заставлял его мерзнуть, Уманец упрямо шел пешком по ледяному тротуару. Можно было остановить такси, но он точно знал, что в тепле его развезет. Зато всего полчаса на холоде, и он будет в порядке.

Все-таки встречи со старыми друзьями удручают. Особенно с близкими друзьями, с теми, кого вспоминаешь много лет, о ком думаешь, с кем связываешь что-то важное. И дело не в том, что они оскорбительно постарели за годы разлуки, потускнели и оплыли, их невозможно узнать, и они уже ничуть не похожи на тех, кем были. Это мы им простим, если они простят нам. Но они ведь все помнят каким-то невозможным, чудовищно искаженным образом. Их память хранит то, чего не было и быть не могло. Она держит цепко, не отпускает, и доказать им ничего невозможно. Своими приездами, встречами, ностальгическими разговорами под водку или без нее — потому что здоровье уже не то и возраст, и давление, и ливер — они все только разрушают. Разносят все без разбора, все подряд, словно из установок реактивной артиллерии, все, что осталось от прежней жизни, если вообще от нее хоть что-то еще осталось.

Вот и Вика, хотя на печень не жалуется, и надо признать очевидное, выглядит лучше, чем в двадцать пять, но и она ведь помнит нечто странное, совершенно невозможное. Говорит, будто о своем прадеде, Петре Незгоде, Юрко узнал от нее. Так, словно больше не от кого ему было узнать! Можно подумать, в школах у нас не рассказывают детям, кто такой Петро Незгода! Хотя в те времена, пожалуй, еще не рассказывали... Зато космос у нее внимателен и сентиментален! Все-таки годы, прожитые вне родины, не проходят без последствий. Антропоморфизировать космос — это ведь покруче, чем бранить наши дороги. Или нет?..

На самом деле Вику и Юрка познакомил сам Уманец. Вике тогда было семнадцать, Юрку двадцать один. Кто сейчас поверит, что до этих, вполне уже не детских лет, он ничего не слышал о Петре?

В тот вечер Юрко Незгода с двумя приятелями читал стихи на горе, рядом с Андреевским. Юрко прогуливался перед публикой угрюмый, худой, в красных штанах, зеленой вельветовой рубашке навывпуск и шляпе нежно голубого цвета. Из кармана рубашки он доставал купленные на Сенном очки в толстой оранжевой оправе, быстро, брезгливо разглядывал собравшихся и так же быстро убирал очки в карман. Публика, состоявшая из молодых поэтов и их друзей, робела и слегка завидовала. Сгущался весенний вечер, снизу, от Гончаров, тянуло дымом, запах горелых веток забивал ароматы земли и молодой травы, пробивавшейся под слежавшимися пластами прошлогодних листьев.

В начале выступления Юрко зажег большой факел. Он держал пылающую жердь перед собой, временами размахивая ею перед публикой, словно разгонял стаю бродячих собак. Публика сдержанно повизгивала, пятилась и расступалась, потом опять подходила к нему почти вплотную, готова была делать все, что велит поэт, хотя он ничего ей не велел, но лишь вращал горящим факелом и тихо произносил короткие, жалящие строфы.

Уманец заранее выбрал место чуть в стороне, на склоне, чтобы хорошо слышать Юрка и видеть его, но не метаться с толпой по ямам и кочкам, а сидеть и не спеша пить молдавский белый вермут, добытый в гастрономе на «Пьяном

углу». Вике он предложил место рядом, но как только Юрко начал читать и его факел взмыл над толпой, она сбежала вниз, к остальным.

Это было лучшее время Незгоды. Все, кто знает его, кто помнит с той, кажущейся теперь невероятной поры, неизменно пытаются разглядеть прежнего двадцатилетнего поэта в отяжелевшем немолодом человеке с мутноватыми усталыми глазами. Все напрасно! Молодой Юрко растворился в теперешнем, узнать его никак невозможно. Но тогда, наблюдая Незгodu в самой высокой его концентрации, в состоянии чистом и неразбавленном, *straight no chaser*, мало кто находил силы сопротивляться нечеловеческому обаянию его таланта. Семнадцатилетняя Вика устоять против него не могла, природа не оставила ей ни единого шанса.

Изящно, но прочно ввинтив последнюю строфу в сознание слушателей, Юрко макнул факел в ведро с водой. Огонь немедленно погас, вода зашипела и расплескалась. Вся площадка, склон холма, публика и сам Юрко скрылись в сомкнувшейся мгновенно весенней сумеречной мгле. Все смолкло, и не было никого, кто решился бы нарушить напряженное молчание, похлопать или что-то крикнуть, хоть как-то реагируя на стихи Незгоды. Все ожидали от других одобрительных слов или действий, и в этой тишине сперва послышались приближающиеся голоса, потом громко захрустели ветки. Несколько мощных фонариков вспыхнули в темноте, пятна света заскользили по лицам слушателей и поэтов, ослепляя всех сразу. Это киевская милиция решила выяснить, что за упражнения с открытым огнем проводятся в городской черте, есть ли у организаторов нужные разрешения и кто собственно проводит собрание. Милиция искала новых знакомств, но ни поэты, ни публика вступать в контакт с людьми в форме не хотели. Быстро и незаметно слушатели рассеялись по темному склону. Здесь многие неплохо знали тропы, уходившие вниз, к Андреевскому спуску и Воздвиженской улице, поэтому уже несколько минут спустя, пройдя дворами давно расселенных, но не снесенных еще домов, они спокойно шагали в сторону Подола. При иных обстоятельствах и Незгода ушел бы со всеми, но только не этим вечером. Не мог он оставить последнее *высказывание* за ментами! Просто появившись на выступлении, менты тут же стали его частью, и теперь Незгода должен был отрефлексировать их появление и отразить атаку.

Юрко остался. С ним осталась Вика. Уманец тоже не ушел с публикой, он отвечал за семнадцатилетнюю кузину, как бы она сама к этому ни относилась. Им предстоял неприятный, наверное, немного нервный разговор с милицией. Уманец хотел подготовиться к диалогу, но выпитый вермут мешал сосредоточиться, и он не торопил события. Уманец молча сидел на склоне, наблюдая за ментами. Сперва их было шестеро, однако четверо сразу же отправились преследовать сбежавших слушателей. Размахивая фонариками, они пытались в сумерках отыскать правильные пути, но пути ментам попадались не те, они проваливались в какие-то ямы, зло матерились и продолжали безнадежную погоню. Наконец четверка окончательно и без следа исчезла в тумане, поднимавшемся со дна оврагов. Стало тихо и тут же похолодало. Двое оставшихся вдруг почувствовали себя покинутыми и одинокими, хотя до этого вышагивали уверенно и смотрели на несбежавших так, словно отчетливо и ясно могли предсказать их судьбу не только на ближайшие сутки, но и еще на пятнадцать суток вперед.

Уманец решил, что лучшего момента для начала разговора он вряд ли дождется. Ушедшие в погоню скоро вернуться разочарованными и раздраженными, и тогда с ними точно не договориться. Он попробовал подняться, но вермут вязал ноги, держал за руки и подло валил на спину. Когда Уманец почти собрался с силами для второй попытки, к ментам вдруг подошла Вика. Она тоже почувствовала, что момент упускать нельзя. Она вообще тонко чувствовала ситуацию, позже Уманец не раз убеждался в этом, но тогда он ничего еще не знал о ее качествах переговорщика и занервничал. Он боялся, что Вика сейчас все испортит, ее совсем еще детский вид вернет ментам уверенность, и виноват будет только он. Все-таки дозировать вермут на выступлениях Незгоды нужно аккуратнее. Точнее нужно быть в оценках и расчетах. А теперь ему оставалось сидеть вдали от эпицентра событий и беспокоиться, к чему приведет разговор малолетней кузины с двумя сержантами...

Это случилось давно, достаточно давно, чтобы не только намертво забыть все происходившее тем весенним вечером, но и умереть, надежно и навсегда смешаться с землей — с тех пор ведь умерло немало знакомых Незгоды и Уманца, а незнакомых еще больше. По-настоящему удивительно не то, что Уманец помнит только часть событий того вечера, удивительно, что он вообще хоть что-то помнит после выпитой в одиночку бутылки вермута. Например, он неплохо запомнил, как их странная компания медленно спускалась к улицам Подола: Вика с двумя ментами шла впереди и легко с ними о чем-то болтала, а Уманец с Незгодой кое-как тащились следом. Идти было тяжело, Юрко пытался его поддерживать, но только мешал и сопел — его выступление, продуманное и отрепетированное до мелочей, было сорвано, безнадежно испорчено. Уманец точно знал, что приятель думает об этом и больше ни о чем, и очень удивился, когда тот вдруг спросил: «Кто она такая?»

Они вышли на Красную площадь. Менты и Вика уже ждали их в сквере, на голове у Вики кое-как держалась ментовская фуражка, на плечи был наброшен серый китель — она умела действовать быстро. Потом Юрко читал стихи сержантам. Факел на этот раз ему не достался, вместо факела поэту дали дубинку. Юрко озадаченно покрутил в руках упругую семидесятисантиметровую резиновую палку, с силой ударил ею по скамейке, довольно рассмеялся и два часа, не останавливаясь, читал стихи, временами нанося хлесткие удары по стволам каштанов. Закончив, он торжественно вручил дубинку Вике. В сквере, на скамейке, в кителе, в большой фуражке, сползающей на лоб, и с милицейской палкой, надменная и бесконечно уверенная в себе, она была похожа на молодую императрицу, возведенную на трон взбунтовавшейся гвардией. Будущее сулило гвардейцам удачу и успех, они не сомневались, что лишь удачу и успех, и ничего другого, потому что девчонка обязана им властью и жизнью, и значит, все будет так, как они скажут. А между тем императрица давно уже сама решила, кого казнить, кого простить, кого назначить фаворитом.

К утру все замерзли и менты предложили перебраться в райотдел, там было недалеко, но Вика поправила фуражку и сказала твердое нет. Протрезвевший Уманец тут же поймал такси, и они уехали вдвоем, лишь в последнюю минуту вспомнив, что должны вернуть сержантам-гвардейцам фуражку, китель и дубинку.

Подробности этой странной, не самой трезвой ночи смазались в памяти

Уманца довольно быстро, но растерянные лица сержантов он запомнил крепко и надолго.

Одного из них Уманец увидел возле станции метро, когда наконец дошел до нее, злой, замерзший и кристально трезвый. Наряд милиции стоял у входа, возле стеклянных дверей, внимательно разглядывая проходящих. Видно, была у них ориентировка, они кого-то искали в тот вечер, но разглядеть нужного человека среди тысяч других, узнать его в густой и плотной толпе, устремленной к эскалаторам, почти невозможно. Менты следили не за сходством черт, но за поведением людей и выдергивали из сплошного потока тех, кто, заметив наряд, вдруг каменел лицом и быстро скользил взглядом куда-то в сторону или же, наоборот, как под гипнозом, не находил сил отвлечься от тускловатого мерцания звезд и лычек на погонах. Уманец тоже не смог отвести глаза от самого молодого, похожего на одного из тех, кому Незгода двадцать лет назад весенней ночью читал стихи в сквере на Красной площади. Конечно, это был не тот мальчишка-сержант, конечно, другой, но нынешний был неотличимо похож на давешнего, мозг находил все новые общие черты и не давал Уманцу команду посмотреть вперед, чтобы со всеми вместе, не мешая накатывающим сзади, не наступая на пятки топающим впереди, уверенно шагать к эскалаторам.

Уманца быстро выдернули из толпы и потребовали документы. Тут уж он наконец взял себя в руки и лениво, но уверенно продемонстрировал удостоверения нескольких европейских обществ. Корочки были разные — и новые, и старые, давно уже просроченные, но Уманец носил их при себе специально для таких случаев. Эти бумажки на иностранных языках и документами не всякий бы назвал, однако впечатление они производили. Вскоре его отпустили, но Уманец передумал спускаться в метро и вызвал такси.

«Кто ее за язык тянул? — уже сидя в машине, он еще раз вспомнил разговор с кузиной. — Это же не у меня, это у нее космос рифмует события, так почему с ментом объясняюсь я? С тем же сержантом, что и двадцать лет назад, вот что смешно и возмутительно».

И еще он спросил себя, придет ли Вика на остановку автобуса ранним утром следующего дня. Еще за ужином, в кафе, Уманец был уверен, что нет, но теперь засомневался, а вдруг придет. Все-таки кузина Вика — девушка загадочная, может быть и в самом деле, это она когда-то первой рассказала Юрку про его двоюродного прадеда.

3

Петро Незгода был ровесником Ленина и попа Гапона. У его родителей был дом в селе Распоры на берегу Южного Буга, но родился он в Виннице, там же окончил гимназию, потом поступил на юридический факультет Киевского университета. Винница в те годы казалась сонным захолустьем, лишь слегка потревоженным появлением в этих местах железной дороги. Весь девятнадцатый век восточное Подолье отсыпалось, отлеживалось, медленно приходило в себя после кровавых войн двух предыдущих столетий. Здесь воевали все со всеми, поляки, турки и татары, запорожцы и русские. Архивы сохранили подробные описания казней иезуитов и евреев запорожцами, а запорожцев солдатами Вишневецкого и Чарнецкого. Четвертование или колесование захваченных врагов было делом обычным, отрезание ушей считалось не наказанием, а

предупреждением, православным священникам и ксендзам, попавшим в руки противника, высверливали глаза.

В легендах и сказках тех лет до сих пор сквозит ледяная жуть потусторонней жестокости, невозможной среди людей, живущих с именем Христа или пророка Мухаммеда, и отличить выдумку от правды о войне в порубежье России, Речи Посполитой и Османской империи уже невозможно. Правдой стало все, что сохранилось в преданиях и думах.

Это было странное время, когда не таким еще далеким казацким прошлым вместе с украинцами грезили и поляки, и великороссы: «Запорожцы» Репина, «Черная рада» Кулиша, «Украинки» Падуры складывались в единое полотно с ярким, сказочным и неправдоподобным сюжетом. Тонкий верхний слой народной памяти перестал кровоточить и, казалось, немного зажил, но в ее глубине медленно и тяжело продолжали ворочаться тени кровавых героев, безжалостных и беспощадных, готовых в любую минуту умереть такой же нечеловеческой смертью, на какую сами они обрекали врагов и случайных, невинных жертв. И среди всех, над невероятными, чудовищными и сказочными фигурами, над гоголями, кривоносами, урумовичами и папиями, над отважными и безжалостными казаками, поднялся и понесся стремительный и неуловимый, неуступчивый, не верящий никому кроме одного себя — непобедимый полковник Иван Богун. Он не желал знать ни о каких соглашениях, был против всех союзов: против круля ляшского, против царя московского, против татар и турок. Он стоял только за волю и признавал только победу.

Иван Богун стал главным героем молодого Незгоды и, уезжая из Винницы в Киев, Петро взял с собой поэму — единственный известный его стихотворный опыт, других стихов Незгоды не сохранилось. Поэма посвящалась сражению под Монастырищем, где небольшой отряд Богуна разбил польский корпус под командой гетмана Чарнецкого. Несколько листков с отрывком из поэмы были найдены уже в конце двадцатого века в архиве министерства внутренних дел.

...А на третий день Богун
сотников скликает и такими к ним речами
гордо промовляет: Гей, панове-козаченьки,
не уступим ляхам, никогда не уступали
и сейчас не время. Хоть собрали силу войска
польные гетманы, только завтра своей кровью
ляхи будут пьяны! С трех сторон ударим утром,
где не ждет Чарнецкий, будет ляху Украина,
досыта наестся!..

Отрывок хранился с документами уголовного дела, которое киевская полиция в 1892 году завела против тайного студенческого общества, состоявшего из пяти человек. Общество просуществовало недолго, около года, и само уже почти распалось, когда к студентам заявила полиция — друзья жестоко рассорились по какой-то невыясненной причине, не то из-за дамы, не то, запутавшись во взаимных финансовых обязательствах. Трех тогда исключили из университета и отправили на два года в провинцию, под надзор, одного сослали в Симбирск, а Незгуду как самого молодого простили и отчислять не стали. Если бы вместо стихов полиция нашла наброски *Семи шагов*, то его судьба могла сложиться иначе. Специалисты считают, что Незгуду приняли в общество последним, и поэтому заметной роли среди старших товарищей студент-

первокурсник играть не мог, но для Уманца, знавшего Юрка Незгоду, этот аргумент весил мало. Если Петро был похож на Юрка, то он и на первом курсе мог вести за собой боевой отряд профессоров и приват-доцентов на штурм ретроградов-академиков в их неприступных гнездах. И ведь не случайно то, первое тайное общество Незгоды, было названо Богунским. Позже он еще раз вернулся к имени винницкого полковника, но уже в другое время, при иных обстоятельствах и в другой стране.

Семь шагов патриота — самый яркий и скандальный документ радикального движения за украинскую независимость на рубеже XIX и XX веков. Незгода составил этот катехизис новой (конечно же, тайной) революционной организации вскоре после разгона Богунского общества. Тогда ему еще не было двадцати.

Сейчас *Семь шагов* можно найти в школьной программе, правда, с комментариями, призванными смягчить их жесткий, а по современным меркам вполне расистский характер. Их толкуют с угрюмой, нечеловеческой серьезностью, пытаются отыскать важный и неявный смысл в коротких абзацах *Шагов* так же старательно и так же успешно, как прежде искали его в водянистых и многословных решениях партсездов. Между тем, это была скорее игра, чем результат размышлений и партийных дискуссий. Игра ума сильного и живого, насмешливого и одновременно настроенного до крайности романтически, но все же только игра. Петро требовал от товарищей по партии чтить и выполнять продиктованные им заповеди патриота, хотел учредить партийный комитет по надзору за соблюдением *Шагов*, но сам легко перешагнул разом через два пункта, когда решил жениться на Розалии Шляпентох. Оглушая читателя тяжелым, ветхозаветным пафосом, *Семь шагов* предписывали: *Не выбирай жены из чужаков!* И следом: *Изгоняй с родной земли чужаков-угнетателей твоего народа.* Петро Незгода полюбил иудейку, увел ее у мужа, киевского присяжного поверенного, и увез в Винницу. Родители не благословили брак и вообще запретили Петру жениться. Семейный капитал был невелик, его собирались разделить между двумя старшими сыновьями, а младшему велели жить бобылем. Петро переехал с Розалией в Елисаветград и в утомительной бесплодной переписке полтора года убеждал родителей изменить решение, но старики твердо знали, чего хотели. Они давили Петра без жалости и снисхождения. Первой жертвой эпистолярной войны стала Розалия Шляпентох. Она ушла от Петра к приказчику Юго-Западного страхового общества, а Петро, выполняя волю родителей, остался на всю жизнь один.

Мемуаристы заметили, что после ухода Розалии Незгода развесил по стенам квартиры большие гравюры с эротическими сюжетами, а сам, пока жил в Елисаветграде, то есть пятнадцать предвоенных лет, проводил в публичных домах по четыре вечера в неделю.

С того же времени его начали мучить депрессии. Незгода не мог понять, что вызывает чудовищные, изматывающие приступы. Он лечился у немецких врачей, подолгу жил в Швейцарии и Италии, и одно время казалось, что лечение идет успешно. Симптомы болезни не повторялись год или даже два, но вдруг с ним происходила какая-то мелочь, ерунда, совершенный пустяк — он терял бумажник, проигрывал процесс, который должен был выиграть, и депрессия возвращалась. Она комкала его личность, уродовала жизнь, и Петро Незгода снова ехал к врачам.

Первые годы в Елисаветграде Незгода поддерживал связь с товарищами в Киеве. Он написал несколько манифестов, дважды ездил во Львов за литературой. Тогда же, в Галиции, была издана брошюрой его небольшая работа *Украина в XX веке: Торжество на руинах империй*. В ней он утверждал, что европейские империи неустойчивы, нестабильны и рухнут в ходе первой же крупной войны. Поддержка тридцати миллионов украинцев, живущих по обе стороны русско-австрийской границы, может стать решающей в будущем сражении империй, но важно сделать правильный выбор. Он предполагал, что победа Австро-Венгрии приведет к аннексии как минимум Волыни и Подолья, а может быть, и всего Правобережья, и тогда украинцы опять попадут в руки старого врага — Польши. Если же победит Россия, то к ней отойдут земли Западной Украины, а значит украинско-польский, украинско-венгерский и украинско-румынский вопросы будут разом решены. Останется один — украинско-русский. *А это вопрос с новой, измененной войной Россией мы решим без труда*, заканчивал статью Незгода с обычным для него политическим оптимизмом.

У этого политика всегда была репутация человека умного и талантливого, и в то же время несерьезного и радикального в такой мере, что его идеи считалось правильным называть фантазиями. Но *Украина в XX веке* современникам показалась настолько невероятной, настолько невозможной, фантастической фантазией, что в журналах ее высмеяли зло и безжалостно, а вожди национального движения предпочли о работе Петра, да и о нем самом какое-то время публично не упоминать.

Грушевский добродушно, но очень иронично ухмылялся в бороду, когда слышал имя Незгоды, а Винниченко демонстративно надевал соломенный брыль, изображал сонного дачника и обещал добраться щекочущим пером до *нашего неприкасаемого*. Называя так Петра, Винниченко, наверное, на что-то намекал, но сейчас сложно понять, на что именно. Все эти мелочи, детали, пустые пустяки, формировавшие отношения людей, которым пятнадцать лет спустя предстояло возглавить, а потом потерять страну, давно и навсегда забыты, и разобраться в них не сможет, пожалуй, никто.

Много позже, когда Петро Незгода уже не сочинял манифесты и программы, а погрузился в юриспруденцию, стал крупным адвокатом, Винниченко все же написал обещанный рассказ и даже отослал его прототипу, возможно в память о старой дружбе и прошедшей молодости. Прототип писателю не ответил, он действительно много работал в те годы, купил имение под Херсоном, говорил, что собирается завезти племенной скот из Германии, но скотопромышленником стать не успел.

Годы Первой мировой — не самый выразительный период в биографии Петра Незгоды. Брать в руки оружие ему не позволяло здоровье, в окопах он не сидел и в атаки не ходил. Эти несколько лет Незгода работал в военных судах, его время заполняла бумажная рутина. Он получил звание поручика и стал одним из десятков тысяч мелких передаточных механизмов в огромной военной машине воюющей страны. Он подписывал письма вполне благонамеренного характера, и не он один. В те же годы Петлюра не сомневался, что украинцы выполняют свой долг граждан России и на поле боя, и в тылу. Война объединила многих политических противников, а прежних союзников развела по разным углам ринга. Только Ленин из Цюриха запальчиво и яростно призывал к

поражению России и предсказывал трансформацию империалистической войны в гражданскую.

Впрочем, к середине войны, а особенно к концу шестнадцатого года настроения изменились. Позже нашлись записи, подтверждавшие, что именно тогда Петро Незгода сформулировал принципы построения национальной украинской армии. По неясным и быстро ускользающим теням, которые будущее отбрасывает на настоящее, он единственный успел угадать общее направление предстоящих перемен. А когда перемены наступили, застав всех врасплох, когда его друзья руками, дрожащими от восторга и возбуждения, прикалывали красные банты на пальто и шинели и спешили на митинги, поручик Незгода уже твердо знал, что делать, и спешно собирал верных людей.

Февраль семнадцатого он встретил в Киеве. Всю зиму в городе было спокойно. В столицах обсуждали убийство Распутина, но в Киеве не говорили даже об этом. Газеты печатали только официальные сообщения. Казалось, сонный, усталый город расчетливо экономит силы, чтобы дотянуть до весеннего тепла, но 28 февраля пришла знаменитая телеграмма, подписанная Бубликовым, и Киев взорвался. Монархия пала! Люди хлынули на улицы, выплескивая восторг на стихийных митингах. Все были уверены, что худшее в истории страны уже позади, навсегда прошли времена мракобесия и грубого притеснения свободных людей, что вольную, демократическую Россию ждет процветание и неимоверный, невиданный в истории подъем. Опасались лишь одного — возврата монархии, но в то же время ясно видели, что страна изменилась навсегда и прежние порядки уже не вернуться. В один из тех дней городской голова Бурчак, в прошлом, врач, работавший в Минской губернии, глядя из окна на толпы, заполнившие Думскую площадь, вдруг заметил с растерянностью и удивлением, что время с треском разошлось по шву, как старые штаны на толстяке, и прошлое с будущим больше не соединить.

Киевляне восторженно поддержали Временное правительство князя Львова. За новую власть выступали все, и умеренные, и *углубители революции*, и поляки, и евреи, и украинцы. В эти дни меньше всего думали и говорили о самостоятельности Украины, об ее отделении от России, о суверенном независимом государстве.

Все чувствовали себя братьями, все были счастливы, казалось, главное уже сделано, осталось лишь подправить незначительные детали. Эти заблуждения, замешанные на высоких чувствах, не оставляли людей еще несколько месяцев. Поэтому удивительным и невероятным кажется то, что в самые первые дни революции, прежде чем была создана Центральная Рада, даже прежде чем Грушевский сошел на перрон киевского вокзала и изумленно оглядел восторженную толпу встречающих, Незгода подготовил доклад о том, как Украине прийти к полной государственной независимости.

Доклад назывался *Наша борьба*. Он был написан так же лаконично и с той же непримиримой интонацией, что отличала *Семь шагов патриота*, казался таким же далеким от праздничной жизни киевлян в марте 1917, как *Украина в XX веке*, но кроме этого от коротких абзацев *Нашей борьбы* веяло ледяной жестокостью нового века, к которой в России тех дней еще никто не был готов. А тот, кто был готов, кто мыслил схожими категориям и не стеснял свои планы моральными ограничениями, еще только ждал разрешения немецких генералов на проезд из Швейцарии в Петроград.

Незгода призвал немедленно сформировать на национальной основе хотя бы две-три воинские части, объявить о создании самостоятельного украинского государства, затем выйти из войны и начать переговоры с Германией.

Германия — враг Польши и России, а потому наш естественный союзник в Европе. Сейчас, когда Франция и Англия связаны войной на Западе, а Россия не способна удерживать завоеванные народы в покорности, перед нами открывается небывалая историческая возможность. В обмен на зерно, мясо и ячмень, в обмен на железную руду и уголь, Украина получит поддержку немецкой дипломатии и германского оружия. Украинский и немецкий солдаты станут рядом, защищая Украину от посягательств со стороны любых врагов.

Союз с Германией — не мечта о далеком будущем, не рассуждение о туманных перспективах, это программа ближайших месяцев и даже недель, это вопрос первостепенной важности, решать который нужно немедленно, отложив все другие вопросы, хотя у нас их немало. Мы должны уничтожить всю социал-демократическую сволочь, расстрелять, как она того заслуживает. Мы должны железной рукой навести порядок в промышленности и сельском хозяйстве, мы не можем позволить себе слабость. Только уверенная власть и безжалостность к врагам позволят построить нам сильную и независимую Украину. Но главное, не теряя времени, потому что каждый день промедления будет обходиться нам в миллионы рублей золотом, а упущенный шанс может лишить Украину будущего, мы обязаны вооружить свою армию и начать переговоры с Германией.

История — это не рождественская елка с обилием возможностей — сверкающих шаров. История дает Украине редкий шанс, какого у нас не было двести лет, и следующего придется ждать, может быть, еще двести! Мы обязаны вывести Украину на путь процветания и прогресса, иначе она вновь скатится в трясину прозябания и унижений!

Незгода был человеком свободным и не зависел ни от кого. Это масона Грушевского связывали давние обязательства и общее прошлое с большинством министров Временного правительства в Петербурге, это эсер Грушевский обязан был подчинять свои решения партийной программе, это профессор Грушевский увяз корнями в европейской науке XIX века, и в каждом политическом решении оставался масоном, социалистом и академическим ученым. А Незгода был только самим собой. Он реагировал на менявшуюся ситуацию мгновенно, подчиняясь лишь чутью и внутреннему голосу, его ничто не сдерживало, у него не было партии, за ним шли несколько учеников, не столько преданных, сколько восхищенных и изумленных. Его партией должна была стать небольшая армия, способная решить все задачи и ответить на все вопросы. Ядром этой армии он планировал сделать новый Богунский полк, а свое собственное место он видел во главе полка и во главе страны. Петро Незгода — Богун украинского народа!

Весной 1917 года Незгода предельно ясно понял, что великое будущее, слабый отзвук которого он всегда различал в шуме жизни, уже близко. Оно наступит скоро, возможно завтра, и он обязан быть готов. Иначе, все впустую, все напрасно.

В конце мая Богунский стрелковый полк был полностью укомплектован и расквартирован в Ирпене. Еще два полка формировались в Броварах. Этого достаточно, чтобы взять власть в Киеве, а дальше все решится смелостью и скоростью. Захватив Киев, он немедленно арестует болтунов из Исполнительно-

го комитета и Центральной Рады, сместит командование частей верных Временному правительству и переподчинит их себе, разгонит городские Думы, введет военное положение в Киеве, Харькове, Одессе, Елисаветграде и начнет переговоры с Германией. Все будет решено за одну неделю! Керенский и компания в Петербурге даже не успеют проснуться. Приятных снов, краснобаи!

Летом Незгода исполнилось сорок семь. Он носил странную форму полувоенного образца без погонов и знаков отличия, пошитую по его собственным эскизам из тонкого серо-голубого сукна, полностью брил голову и бороду, но сохранил внушительные усы, а la Ницше. Пенсне не пользовался, на собеседника всегда смотрел пристально и тяжело. Взгляд холодных зеленовато-серых глаз Богуна позже вспоминали все, кому случалось говорить с ним в те месяцы. Ходил быстро, приказы отдавал громко. В нем уже ничего не оставалось ни от присяжного поверенного, ни от защитника в военном окружном суде. Сила и власть чувствовались в каждом его слове и в каждом движении.

Незгода ненавидел митинги, не любил публичные речи перед толпой, но на заседаниях Рады и Исполнительного комитета выступал всегда выразительно и мощно, каждая речь прибавляла ему почитателей и последователей. Его популярность росла стремительно, его узнавали, его слушали, у Грушевского и Винниченко Незгоду начинали всерьез опасаться. Он уверенно шел к власти и в июне 1917 был как никогда близок к ней.

Восстание запланировали на середину лета, к нему готовились, детально обсуждали план, при этом точную дату Незгода держал в тайне ото всех до последнего дня и назвал лишь накануне. В полдень, в воскресенье, он собрал командиров полков и ближайший круг, чтобы сообщить, что захват зданий Центральной Рады, Городской думы и Исполнительного комитета назначен на утро понедельника, это был последний понедельник июня. Еще раз обсудили последовательность действий каждого полка и разошлись. Незгода отправился в Никольский военный собор и заказал молебен о помощи в спасении страны.

Час спустя на выходе из собора его арестовали. Тогда же были задержаны командиры всех трех полков. Восстание не состоялось. Незгоду предали, он понял это сразу, но кто именно был предателем, стало известно только год спустя, при Скоропадском, когда Богун вернулся в Киев. К тому времени это уже почти не имело значения, потому что агент Центральной Рады погиб зимой 1918 года, при первом захвате Киева большевиками.

Незгоду продержали неделю в Косом Капонире. Говорили о трибунале, но допросов не проводили и наконец руководство Рады велело замять дело. Грушевский не хотел демонстрировать раскол в украинском лагере. Незгоде приказали в трехдневный срок отправляться в Баку и договориться о поставках нефти в Одессу. С тем же успехом его могли командировать в Румынию, нефть была последним, в чем тогда нуждалась Украина. Его просто отсылали, не оставляя выбора, и он покорно отправился на Восток. Через день после бесславного провала восстания Богун чувствовал приближение депрессии. Он уже не мог сопротивляться чужой воле и послушно уступал во всем...

Слухи о жизни Незгоды в Баку, изредка доходившие до Киева, были так же недостоверны, как и фантастичны. Одни говорили, что он женился на дочери персидского шаха, другие, что он каждое утро купается в горячей нефти и выглядит как шестнадцатилетний мальчик, что англичане расстреляли его как немецкого шпиона, что у него самый большой гарем в Баку и в гареме нет ни

одной славянки, что нефтяные магнаты подарили ему дворец из 52 комнат, а под фундаментом дворца скрыт целебный источник.

На самом же деле не найдено никаких свидетельств его пребывания в Азербайджане. Все говорит за то, что без малого год Незгода провел в Тихорецкой на Кубани, в семье младшей сестры и ее мужа. Хотя он почти ни с кем не виделся в это время, но за новостями с Украины следил и решил ехать немедленно, как только власть в Киеве захватил Скоропадский.

Возвращаясь, Незгода чувствовал себя всеми забытым ссыльным каторжником, неудачником, потерпевшим поражение. Ему казалось, что за прошедший год он постарел на десять лет, и не представлял, что ждет его в Киеве. А Киев встречал Богуна, тонкого и прозорливого политика, предлагавшего союз с немцами, когда такой союз был еще возможен. Теперь же немцы ходили по улицам столицы, но не как союзники, а как оккупанты. Бездарная Центральная Рада упустила все шансы, и единственного человека, который мог исправить положение, отправила на целый год в Азербайджан. К приезду Незгоды все газеты перепечатали его старый доклад *Наша борьба, а Украину в XX века* роскошно переиздали на веленовой бумаге. В 1918 году эта давняя его работа уже никому не казалась фантастической, напротив, представлялось невероятным, что те, кто должен был ее прочитать и сделать выводы, за пятнадцать лет так и не нашли для этого времени.

В первый же вечер в гостиницу к Незгоде прибыл посыльный от Скоропадского: пан гетман приглашал пана Богуна в удобное время посетить гетманскую резиденцию для личного знакомства и беседы. Знающие люди тут же сообщили смешавшемуся Незгоде, что гетман решил доверить ему премьерский портфель. Слух о предстоящей аудиенции немедленно пронесся по Киеву, и к Богуну потянулись делегации от обществ и союзов с просьбами включить в состав кабинета их представителей.

На следующий день Незгода отправился к Скоропадскому и был всячески обласкан гетманом. Они долго говорили о странных, непредсказуемых поворотах судьбы и истории, о будущем Украины, о немцах, о русских, потом опять о немцах. Богун обедал с семьей гетмана, и за столом тоже завязалась беседа об истории, о Богуне и Скоропадском. О прежнем Богуне и о прежнем Скоропадском.

Они совершенно расположились друг к другу, и этот долгий разговор доставил обоим удовольствие, но кресло премьера ни в тот день, ни позже, Незгоде предложено не было. Напротив, заботясь о Богуне, Скоропадский поинтересовался, не привлекает ли того поездка казенным коштом в Германию, для отдыха и поправки здоровья. Незгоду опять ссылали. Сторонники, которых оказалось неожиданно много, превратили его гостиничный номер в штаб. Они уже планировали новое восстание, не сомневались, что их поддержит вся Украина, Петлюра придет под руку Богуна добровольно, а немцы будут только рады избавиться от гетмана-солдафона. Но Незгода неожиданно принял предложение гетмана. Он был уверен, что едет на несколько месяцев, от силы на полгода, за это время и Украина, и немцы разочаруются в Скоропадском. Рассчитывал вернуться сильным, с новыми связями и яркими идеями, чтобы взять власть, которая доверчиво и нежно сама придет ему в руки.

...Незгода провел два года в Германии и потом еще четыре в Австрии. Двадцать лет назад он предсказал крушение великих империй, а в итоге, вместе

с другими украинскими эмигрантами, сидел на обломках Европы и с тоской смотрел на восток.

Винниченко уже вернулся в Киев из Москвы, где ему предлагали портфель министра в украинском правительстве, но он его не принял. Грушевский, наоборот, еще только собирался на Украину. Ему обещали кафедру и звание академика. Незгода ничего не предлагали и ничего не обещали, его никто не ждал ни в Киеве, ни в Харькове, ни в Виннице, но терять было нечего, и он решил явиться в советское посольство в Вене.

Незгода полагал, что идет в особняк на Райснерштрассе за последним отказом, но его судьба и тут сплела хитрую и сложную петлю. Советник посольства узнал Незгodu — в 1916 году тот был его защитником в военном суде. Будущего советника тогда обвиняли в дезертирстве, дело могло закончиться расстрелом, но защитнику удалось оспорить главные тезисы обвинения и дезертира просто вернули на фронт. Незгода не помнил своего подзащитного, таких у него были сотни, но это ничего не меняло. Советник решил ему помочь из благодарности. Документы оформили быстро, и в конце лета 1924 года Незгода купил билет до Киева.

Поезд шел через его родные места, через Проскуров, через Винницу. С тех пор, как, окончив гимназию, Незгода подался в Киев, пролетело сорок лет. Закончилась мировая война, за ней гражданская. Здесь все изменилось, но прежними остались пейзажи Подолья, и тяжелые тени давних героев-казаков вновь мерещились ему в сумерках на крутых речных берегах, у стен старых польских крепостей. Он хотел вернуть народу память и как знамя поднять их славу, но проиграл все сражения. Он все потерял и теперь ехал начать жизнь с начала, не имея для этого ни сил, ни воли. Его депрессия тащилась следом, не отставая ни на шаг.

В Виннице в купе к Незгоде посадили веселого совработника, и оставшуюся дорогу тот развлекал всех байками из жизни губернского города. Из его грубоватых, но забавных рассказов выходило, что жизнь на родине почти не изменилась. Появились новые слова, поменялись названия, но уклад остался прежним.

В Киеве Петро остановился у старшего брата Ивана. Брат жил в небольшом доме на окраине, в глубоком яру за Байковой горой, недалеко от Совских озер. Он держал хозяйство, сразу за домом начинался сад — яблони, абрикосы, смородина с крыжовником. Стояли последние теплые дни лета, братья говорили, гоняли на веранде чай, и в какую-то светлую минуту Петро подумал, что возвращаться стоило хотя бы ради этого уходящего летнего дня и нескончаемого чаепития в саду.

На следующий день он поехал в город. За годы войны и разрухи Киев потускнел и обрюзг — здесь ничего не строили, дома не ремонтировали, брусчатка расползалась и выкрашивалась, витрины мыли только в центре. Глубоко провинциальный дух чувствовался во всем. Незгода неузнанным проходил по местам, где, казалось, совсем недавно ему бросали под ноги цветы и кричали «Слава Богу!»». Впервые приехав в этот город тридцать лет назад, он хотел превратить его в блестящую европейскую столицу, но теперь едва узнавал. А нынешний Киев и вовсе не желал знать Богуна. Чувство бессилия и обреченности накатывало на Незгodu.

Когда вечером он вернулся к брату, его уже ждали трое, одним из них был

тот самый совработник, который ехал с ним от Винницы. Теперь на нем были защитные галифе и темно-синяя гимнастерка с двумя ромбами в петлицах. Незгода никогда не видел людей из ГПУ, но сразу понял, что ждал этой встречи с той минуты, когда его поезд пересек границу. Даже гуляя по Киеву, даже за чаем в летнем саду.

Незгodu увели на допрос, но через двое суток отпустили. Он вернулся ночью, молчаливый и усталый, есть не спросил, сказал, что хочет спать, а утром обо всем расскажет.

На следующий день Петро встал рано, оставил на столе веранды записку, выбрал старую, но крепкую папировку на дальнем конце сада и повесился.

В записке была одна короткая фраза, написанная четким почерком присяжного поверенного: *Хоть круть, хоть верть, а Богу — смерть.*

4

Старенький серовато-сиреневый автобус Мерседес, отправлялся с Одесской площади. Уманец заглянул в открытую дверь, но среди двух десятков дремлющих пассажиров Незгоды не увидел. Еще пятеро и водитель курили на тротуаре. Это были немолодые седоусые люди в потертых пальто, теплых кепках полувоенного фасона с лицами кирпичного цвета. Они что-то возбужденно обсуждали и одновременно цепкими взглядами ощупывали всех, проходивших мимо автобуса. Уманец остановился в нескольких шагах и повернулся к ним спиной, разглядывая идущих со стороны метро. Юрко редко опаздывал. Обычно на такие встречи он приезжал раньше времени и где-то неподалеку пил дешевый растворимый кофе, курил, наблюдая, как собираются остальные. Уманец ждал, что тот вот-вот появится, но Юрка все не было — то ли кофе в этот раз оказался горячий, то ли он действительно задерживался в дороге.

Водитель за спиной крикнул, что отправление через пять минут. Старики загалдели громче, они спорили, какой стала бы Украина к 1939 году, если бы в 1917 году Петро Незгода взял власть. У каждого была своя, единственно верная версия, и Уманец догадался, что этот увлекательный и актуальный спор ему предстоит слушать всю дорогу до Распор, все три часа пути. Он даже подумал, не уйти ли прямо сейчас, а полчаса спустя набрать Юрка и соврать, что не смог поехать с ним, не получилось, мол, дела в городе, то-се, но тут вдруг заметил, что уже с полминуты ему кто-то сигналит и машет рукой из окна незнакомого внедорожника.

Это приехала кузина Вика. Она вышла из машины, огляделась, и следом за ней на улицу выбрался человек с короткой седой щетиной на лысеющей голове. Он смотрел на Уманца настороженно-оценивающе. Небольшая серьга кольцом с зеленой эмалью покачивалась под его правым ухом. Уманец где-то видел и эту бритую голову, и серьгу, но где и когда вспомнить не мог. Наша жизнь переполнена людьми с полужнакомыми лицами. Они постоянно проскальзывают мимо, так что сложно понять, действительно ли вы когда-то виделись хотя бы мельком или это чей-то двойник случайно оказался рядом, даже не двойник, просто человек, отдаленно похожий, а на кого уже и не определить. Но в этот раз, к собственному удивлению, Уманец вспомнил спутника Вики, его звали Василий Робин. Лет двадцать назад он был заметным актером в Русской драме, потом оставил сцену и вел часовую авторскую программу на Первом националь-

ном. Несколько лет его лицо мелькало повсюду, и вдруг Робин исчез, как многие заметные личности в те годы, да и не только в те.

— Николай, — представила Вика Уманца отставной телезвезде. — Художник и совершенно невыносимый человек, но друг детства. За это только и терплю его возле себя.

Вика чмокнула Уманца и взяла под руку.

— Василий сейчас главный по связям с прессой в Укртранснефти... ну а в прошлом — ты знаешь.

— Вы тоже с нами? — Уманец пожал руку Робину. — Или только доставили сюда мою кузину?

— Коля, мы едем с Васей на его машине, — решительно заявила Вика. — Я не рискну зайти в этот автобус. А где Незгода?

— Да, где этот сын лейтенанта Шмидта?

Конечно, Уманец помнил глубокий баритон Робина. За такой голос женщины прощают многое, в первую очередь проникновенный вздор, окрашенный этим бархатным тембром.

— Где-то пьет кофе, как обычно. А, вон он!

Незгода стоял на противоположной стороне шоссе и внимательно их разглядывал. На этот раз на нем были высокие желтые сапоги, синие галифе и любимая натовская куртка. Фуражка казалась в точности такой, как у стариков, дремавших в автобусе. Заметив, что они обернулись, Незгода махнул рукой и не спеша спустился в подземный переход. Накануне Уманец предупредил Юрка, что с ними может поехать Вика, но о Васе из Укртранснефти он сам ничего не знал.

— Значит, сейчас рванем, — бодро потер руки Робин, но во взгляде его проступило уныние. Никуда, ни в какую Винницу, не хотел он ехать этим февральским утром, и Уманец его понимал. Но рядом с Робиним была Вика, а ее энергии и воле не смогла бы противостоять вся Укртранснефть в полном составе.

Между тем Незгода выбрался из перехода, заглянув в автобус, перебрисился парой быстрых слов с водителем, с кем-то еще и, радостно улыбаясь, подошел к ним.

— Привет, друзья! Вы все едете со мной? — делая вид, что не слишком удивлен их появлению в такую рань на окраине города, он поцеловал Вику и хлопнул по плечу Робина.

— Только если ты не заставишь нас трястись в этом катафалке, — пробурчала Вика. Но тут автобус закрыл двери и наконец отправился.

— Мы там не нужны, — проводил его взглядом Незгода. — Эти люди замкнуты друг на друге. Они создают и разность потенциалов, и сопротивление, на котором выделяется тепло, способное согреть их воинственные души. Присутствие посторонних может разорвать цепь и привести к жертвам среди мирного и неподготовленного населения. То есть среди нас.

— Кстати, кто все эти мощные старцы? — спросила Вика, когда они устроились в джипе и Робин уже догонял автобус.

— Это грозные люди, — бесстрастно сообщил Юрко. — Я сам долго не мог выяснить, кто они, но недавно мне открылась правда: половина — бывшие преподаватели истории партии и марксистско-ленинской философии в советских вузах, а вторая половина — ветераны подполья, настоящие или поддельные,

не знаю, но это не важно. Главное, что они ощущают себя ветеранами подполья. Понимаете, какая энергия скрыта в их противостоянии?

— И все они едут открывать памятник Петру Незгоде? — не услышала вопроса Вика.

— А чем им еще заниматься? Спорить без конца? Думаю, они давно мечтали о полевой работе. Вот нашлась для них хоть какая-то.

Тут Робин что-то шепнул Вике на ухо.

— Да-да, — согласилась она и повернулась к Незгоде. — Юрко, ты знаешь дорогу? Куда мы едем? Ты хоть раз был в этих Распорах?

— Был. Там ничего не осталось, если ты об этом. Ни дома Незгод, ни могил на кладбище. Ничего.

— Понятно. Но вообще-то я не об этом. Мы сумеем сами найти место общенародного торжества? А то Вася вчера разбил навигатор.

— Сумеем. Едем до Белой Церкви, потом сворачиваем на Винницу. Так Васе и передай.

— А почему в Распорах не осталось могил? — Уманец почувствовал, что Юрко уже ищет повод сцепиться с Робиним, и его надо отвлечь. Двум альфасамцам в обществе одной самки в тесном пространстве джипа природа велит рычать друг на друга и скалить желтые клыки. А его кузине та же природа велит провоцировать схватку самцов. Даже если она ей совсем не нужна.

— Все могилы в двадцатом году раскопали большевички. То ли золотишко искали, то ли просто из добрых чувств. Тогда же ограбили и мумию Пирогова в Виннице.

— Не желаю ничего слышать о могилах, мумиях и прочей некрофилятине, — схватилась за голову Вика. — Говорите о...

— О прекрасном, — подсказал Уманец.

— Да. Хотя бы о стихах. Незгода, ты ведь еще сочиняешь?

— Не пишу. Богородица не велит.

— Не юродствуй. Ты же был настоящим поэтом. Ты помнишь, как мы познакомились? Мне еще восемнадцати не было, но я уже что-то соображала. Я все поняла, едва тебя услышала. Даже не поняла, а почуяла, женщины всегда тонко чувствуют такие вещи.

— Нестиранные носки и потные подмышки?

— Фу, дурак... Ты хоть помнишь, что это я первая растолковала тебе, кто такой был Незгода?

— Конечно, ты. Я жил в неведение, в тумане, брел наугад сквозь мглу и мрак, но тут прекрасною богиней явилась ты среди холмов!

— Дурак, — засмеялась Вика. — Я тебя познакомила тогда с этим канадским славистом — Джеки Чумаченко. Забыл?

— Помню-помню. Он когда услышал мою фамилию, сразу аккуратненько, так, чтобы брючки не извозить в нашей вековой грязи, встал на одно колено и ручку мне поцеловал. Троекратно.

— Опять дурак, — Вика обиженно отвернулась. — Ни на какое колено он не становился. Ты же до этого ничего не знал про Петра Незгоду! Это же он тебе все рассказал и дал прочитать *Украину в XX веке*.

— Слушай, Вика, — перебил ее Юрко. — Можно два вопроса?

— Каких?

— У меня торпеда — полтора литра рома, смешанного с колой в строгом

соотношении два к одному. Рецепт безупречный, дедовский, можно сказать. Будешь?

— Не буду. Второй вопрос такой же глупый?

— Почему он глупый? Ты ром не будешь, и значит, твою долю разделим мы с Колькой. Вопрос как раз очень практический. А второй, наоборот, отвлеченный: тебя в Америке как чаще зовут, Викуля или Викуся?

Вика замолчала. Она постаралась наполнить паузу ядом, она хотела, чтобы ее молчание было ледяным и беспощадным. Но получалось плохо, лед растаял под тихое бульканье сладкого коричневого пойла, переливавшегося из бутылки в рот Незгоды.

Они обогнули Белую Церковь и свернули на шоссе, ведущее в сторону Винницы. Дорога тут же испортилась.

— Какого черта мы не поехали через Житомир, — возмутился Робин так, словно за рулем сидел не он. — Я езжу в Винницу через Житомир, там дорога лучше.

— Викуля, дарлинг, — добрым голосом предложил Незгода, — объясни товарищу, почему его понесло этой дорогой, а не той. Уверен, ты знаешь это лучше его.

— Все этот автобус, — попытался оправдаться Робин. — Я поехал за ним. А потом уже поздно было что-то менять.

— Менять всегда поздно, — пробурчал Незгода. — Все нужно сразу делать правильно, а не гоняться по морозу за группой туристов-маразматиков в автобусе, чтобы потом что-то менять.

Щеки и уши Робина мгновенно налились густой темной кровью. Уманцу стало жаль артиста.

— Давайте остановимся, выпьем кофе, — предложил он. — Заодно подождем автобус, чтобы от остальных сильно не отрываться.

— Давайте, — обрадовалась Вика.

Они выбрали первый же ресторанчик, встретившийся на пути, — двухэтажное строение под привычной синей металлочерепицей, только без неона на пластиковой вывеске. На границе областей вкусы рестораторов и их представления о прекрасном были уже не те, что в пригородах столицы.

— Ты его просто дразнишь или за что-то мстишь по старой дружбе? — спросил Уманец Незгodu, когда тот остался курить у входа. Вика и Робин ждали их внутри.

— Какая еще старая дружба? Впервые вижу этого кабанчика вблизи. Я просто не могу молчать, когда на глаза попадается его розовое ухо с недобритой щетиной, и немедленно хочу чем-то взбодрить. Если не пинком, так хотя бы добрым словом.

— Послушай, если ты не прекратишь, я с вами дальше не поеду.

— Как не поедешь?! Бросишь меня одного?

— Запросто.

— Одного? На морозе? Среди этих диких людей?

— Именно.

— Хорошо, — быстро докурил сигарету Незгода. — Торжественно обещаю быть куртуазным шампиньоном. Теперь поедешь?

— Кем ты обещаешь быть?

— Шампиньоном. Тихим, вежливым, не конфликтным грибом, безвкусным и бесполезным, молча сосущим на заднем сидении ром с колой.

— А почему грибом?

— Может, у меня грибная природа, кто знает?

Уманец хотел спросить, не требует ли от Незгоды грибная природа размножаться спорами, но тут мимо ресторана проехал сиреневый Мерседес с ветеранами.

— Хорошо, договорились. Сегодня ты будешь благ и человеколюбец. А теперь идем, узнаем, что здесь называют кофе, и поедем догонять автобус.

Уманец вовсе не был уверен, что его робкая просьба может как-то изменить настроение Незгоды: если Юрко решил отравить попутчикам дорогу, значит, его ядовыделяющие железы уже в рабочем состоянии, они прочищены, продуты и готовы впрыскивать отраву без задержек. Но, видимо, решение друга не было ни твердым, ни окончательным, поэтому всего полчаса спустя разговор в машине шел вполне мирно и как будто даже по-приятельский, перетекая с тем двадцатилетней давности на пустяковые слухи и новости, задевая между делом вопросы вполне абстрактные и отвлеченные.

Уманец легко утратил нить беседы. Он задремал и теперь реагировал лишь на смену интонаций, но всю дорогу до Винницы голоса собеседников звучали ровно и умиротворяюще. Только в самом конце Уманцу показалось, что Юрко вдруг повысил тон и начал взвинчивать темп разговора. Он тут же выпал из дремы и вслушался, но суть уловил не сразу.

— ...никогда он не был с левыми. Социалисты, социал-демократы... Да у него клыки отрастали, когда он их видел. Но заграница смягчает нравы, там своим кажется любой, кто говорит с тобой на одном языке. И Петро тоже не устоял. Он лечился в Лозанне после очередного приступа депрессии, а этот итальянский Беня Крик деликатно манкировал своими обязанностями перед родиной, другими словами, нагло косил в Швейцарии от армии. Их познакомили русские эмигранты, марксисты ленинского круга, жившие, как бакланы, колонией на берегу Женевского озера. Кстати, Незгода играл в шахматы с Ильичом, это известный и достоверный факт. Есть даже фотокарточка. С Горьким он тоже играл. Ленин говорил, что всякий раз, проиграв этому елисаветградскому малороссу, он чувствует себя великорусским шовинистом и хочет выйти к амвону, чтобы с попами предать анафеме Мазепу, зато выиграв, готов немедленно ехать в Гаагу и требовать для украинской нации права на самоопределение вплоть до отделения. Горький же за доской по обыкновению только плакал, шумно сморкался и напоминал, что его усы все равно усистей, кустистей и развесистей. Сомнительное утверждение.

— А с Муссолини они тоже играли в шахматы?

— Нет. Беня был не мыслитель. Беня с Петром ходили в горы и говорили о высоком.

— О бабах? — догадалась Вика.

— И о революции, — кивнул Юрко.

— Теперь скажи, что из-за этих разговоров десять лет спустя Муссолини порвал с социалистами, — предложил Уманец.

— Да, — уверенно подтвердил Юрко. — В девятьсот шестнадцатом Муссолини заявил, что социализм как доктрина мертв. Петро говорил ему это в девятьсот шестом.

— Потрясающе, — восхитился Робин. — Никогда такого не слышал. Был бы я еще журналистом, обязательно снял бы об этом фильм.

Уманец хотел сказать доверчивому ответственному за связи, что Юрко наверняка всю эту историю выдумал вот только что, но решил не портить другу песню. Пусть лучше врет, чем ищет ссоры.

Пока Уманец дремал, посыпал снег, редкий и мелкий, как манка, но разглядеть что-то метрах в тридцати уже было почти невозможно.

Когда проехали Винницу, Юрко наклонился к водителю.

— Сейчас будет Медвежье Ушко, за ним поворот на Распоры. Следи за указателями.

Проблуждав еще полчаса по разбитым дорогам, машина добралась до окраины села и вскоре выехала на центральную площадь Распор. Среди серых построек, едва различимых за пеленой снега, выделялось яркое сиреневое пятно автобуса.

— Припаркуйся где-то рядом с ними, — скомандовал Незгода и сделал несколько долгих глотков из бутылки с разбавленным ромом. — Пить будете? Ну как хотите. Я сейчас уйду ненадолго — нужно одно дело решить, а потом встретимся у памятника. Тут все близко, вы не потеряетесь.

Он выбрался из машины и побрел в сторону вытянутого вдоль площади двухэтажного здания. Выпитый в дороге ром заставлял его немного петлять и путать следы. Вика, Уманец и Робин молча смотрели, как силуэт Незгоды, теряя четкость, сливался с мутноватым окрестным пейзажем.

— Необычный у вас приятель, ребята, — констатировал очевидное Робин. — Не простой.

— Все мы тут необычные, — открыла дверь машины Вика. — Хватит заседать. Пошли уже.

Уманцу не хотелось оставаться с Робиним и Викторой, но и повода уйти он не находил. Он хлебнул рома с колой из бутылки, оставленной Незгодой.

— Пошли, — Уманец сунул бутылку в сумку и вышел на площадь.

— Переведи меня через майдан, — попытался пошутить Робин и положил ладонь Вике на плечо. Но кузина, чуть повернув голову, так тяжело глянула в его сторону, что он сделал шаг назад и быстро спрятал руки за спиной.

5

Группа ветеранов уверенно прошагала мимо них в ту же сторону, куда недавно ушел Незгода. На ходу старики продолжали разговор, который вели еще в Киеве, но Уманец уже понял, что и тогда он слышал вовсе не начало, а отрывок из середины, случайное звено в бесконечной спирали спора проигравших. Победители не спорят, они торжествуют. Победа — это общий успех, объединяющий, может быть и ненадолго, всех причастных. Зато поражение разводит побежденных по тихим углам, загоняет их в темные норы, где подробно и тяжело они снова и снова переживают этапы катастрофы и ищут ее причины. Но проходит время, и проигравшие обязательно собираются, чтобы все обсудить. И разговор может длиться годами.

Уманец помахал Робину и Вике, но дожидаться их не стал и зашагал следом за стариками. Со спины они были похожи на небольшой отряд ополчения, выстроенный в колонну по четыре. Отряд шел в ногу, наверное, так было

удобнее, и даже пытался держать строй. Уверенно, хоть и не очень скоро, он пересек площадь. Редкие машины останавливались, уступая идущим дорогу, а водители удивленно таращились, пытаясь понять, с какой из прежних, давно уже прошедших и забытых войн, явились в Распоры старые солдаты. Уманец был не с ними, он держался отдельно, но вдруг заметил, что и сам старается не сбивать шаг. Эти болтуны в потертых куртках и измятых пальто поверх форменных пикейных жилетов, потрепанные рядовые информационных сражений, маршировали по центральной площади Распор так, словно знали короткий тайный путь из прошлого в будущее. Они двигались медленно, тяжело рассекая тугое время, а позади, безбилетным пассажиром, не имея прав на место среди них, тихо шел Уманец.

Марш длился недолго. Сколько нужно времени, чтобы пересечь площадь и выйти к кое-как расчищенному газону перед сельрадой? Старикам хватило пяти минут. Посреди газона стояла невысокая бетонная стела, снизу она была выкрашена кладбищенской серебрянкой, а верх скрывался под густо-синим покрывалом. Ветераны разбрелись по периметру, окружили стелу, и Уманец почувствовал, как тут же исчезло силовое поле, сопровождавшее их в движении. Края времен тихо сомкнулись, и перед сельрадой остались обычные старики, усталые после долгого переезда и уже слегка разочарованные зрелищем неряшливого бетонного столба, накрытого мятой темной тряпкой.

На крыльцо высыпало местное начальство, брюхастое, шекастое, в кожаных пальто и шапках из меха каких-то водоплавающих млекопитающих. Это были правильные начальники и жили они, наверняка, в домах, облепленных красным декоративным кирпичом с крышами под синей металлочерепицей. Уманец не сомневался, что они подготовили правильное мероприятие, но выстоять такой митинг без допинга он не смог бы и в более щадящих условиях. Все-таки прав был Юрко, когда брал в дорогу ром, он знал, куда едет. Трезвый уме такое вытерпеть не сможет.

Стоило Уманцу подумать о Незгоде, как тот появился на крыльце, а потом с начальством, но намеренно чуть поотстав, спустился к народу. Желтые сапоги, синие галифе, натовская куртка... Еще в Киеве можно было догадаться, раз Незгода едет в Распоры на открытие памятника, значит, собирается выступать, потому что слушать других Юрко никогда не любил — не хватало терпения. Теперь же, увидев его перед киевскими ветеранами и местными энтузиастами, Уманец понял, что всех их ожидает нерядовое зрелище. Вряд ли кто-то может вообразить, насколько оно будет ярким и какой градус терпимости придется проявить ветеранам. Может быть, их хрупкая психика не рассчитана на такие нагрузки, и тут понадобится специальная подготовка.

Уманец еще хлебнул рома. Он решил, что имеет право не замечать недовольные взгляды стариков. У каждого из них в кармане наверняка есть фляга с водкой, вот и пусть пьют сами, нечего на него оглядываться — не в церкви. Робин и Вика подошли и остановились у Уманца за спиной. Втроем они образовали яркое лилово-красное пятно на краю толпы темно-зеленых и серых ветеранов. Теперь таращились не на него одного, а на всех троих.

— Удивительно милое место, — вполголоса сказал Робин. — Мы успели немного погулять...

— Да ничего мы не успели, — оборвала его Вика. — Обычное село. Вгоняет меня в тоску, как и любое другое. Как и вся эта страна, и эти люди.

«Будет тебе сегодня и веселье, и танцы с бубнами», — мысленно пообещал Вике Уманец.

Веселье наступило не сразу. Первым выступил главный ветеран. Он представился — ветерана звали простым русским именем Иван Зуев — а потом старательно перечислил свои титулы, так, словно говорил о ком-то другом, не о себе. В его речи вспыхивали гордые названия ассоциаций, избравших его вице-президентом, и академий, почетным и действительным членом которых он являлся. Перечень прозвучал внушительно и устрашающе, словно список дивизий, которые вот-вот должны штурмом взять Распоры. Ощувив их поддержку и мощь, Зуев заговорил о Петре Незгоде, и Уманец услышал замечательный рассказ.

— Батько наш, Петро Незгода, — сказал ветеран, вскинул правую руку и замер с грозно поднятым кулаком. — Батько наш, Богун Петро Незгода, — повторил он и заплакал. Какое-то недолгое время старик так и стоял с поднятой рукой, пытаясь что-то сказать сквозь слезы. Потом мелкой сочувственной рысью к нему подбежал кто-то из младшего начальства и увел с площади.

Речь командира огорчила собравшихся, они не привыкли к публичному проявлению чувств. От Зуева ждали долгих, скучноватых слов о значении личности, об исторической роли. Все-таки митинги — это место демонстрации суррогатных эмоций, здесь все искусственно, с наигрышем, с перебором, хотя вроде бы и всерьез. Если сказал «батько наш, Богун», то и дальше грохочи славным прошлым, лязгай доспехами, звени уздечкой, в кимвалы бей и в барабаны, а слезы тут не при чем, слезы из другой партии.

Не то сказал Зуев, подвел своих побратимов.

Переваливаясь с ноги на ногу, гигантским щекастым гусем приблизился к микрофону голова местной сельрады.

— Отэта, Иван Олегович расчувствовался тут, — сказал голова, — так и я бы расчувствовался, и любой... Он на памятник своих только денег десять тысяч дал, а еще и вы все пожертвовали четыре тысячи триста сорок одну гривну восемнадцать копеек... Тут у нас записано все. И Распоры заложили в бюджет определенную значительную сумму, но район пока не утвердил. А хоть и не утвердил, мы все равно на земляках не экономим и память свою храним как хрусталь — прозрачной и чистой, а если праздники, то под ноги ее не бросаем и не бьем, как другие, и как бы кому-то ни хотелось... может быть. Незгоды у нас в Распорах жили, мы помним это, хотя давно уже не живут. И дома их тут не осталось. И могил...

— А давайте восстановим дом! — крикнул кто-то из ветеранов.

— Да, и могилы восстановим, — пробурчала Вика. — Зароем здесь нашего Юрика всем нам на радость.

Робин посмотрел на нее огорченно и осуждающе.

— Зря ты, Вика, они ведь искренне.

— И я искренне. Мы все искренне, Вася. Мы искренние идиоты. Идиоты без страха и упрека.

Уманец видел, что Робин не привык к резким виражам, которые так любила закладывать в разговорах Вика, и теперь не знает, как выкрутить, сохранив лицо, но и не обидев девушку. Опыт в связях с зависимой от Укртранснефти, а потому сдержанной и робкой прессой вряд ли мог здесь пригодиться.

— В некоторых вопросах, — решил ему немного помочь Уманец, — моя кузина радикальная перфекционистка. На нашей планете нет ни таких городов, которые бы полностью ее устраивали, ни таких людей. Все, что появилось за миллионы лет эволюции, — сплошной брак. Брак и шлак.

— И тотальную ошибку природы уже никак не исправить?

— Есть одна возможность...

— Все-таки есть, — с поддельным безразличием констатировала Вика. Уманец видел, что она слушает их внимательно.

— Иногда у моей кузины возникают идеи, как все должно быть на самом деле, какие созвездия должны украшать ночное небо над ее головой в тот момент, когда после легкого ужина она выходит на террасу виллы и смотрит на море.

— И что же я должен? — не понял Робин.

— Вы должны шевелить созвездиями и совершенствовать космос, угадывая тот счастливый момент, когда он совпадет с ее представлениями о прекрасном.

— Так, — Вика решительно встала между Робиним и Уманцем. — Не пугай мне Василия раньше времени. А ты его не слушай. Уманец с детства считает себя большим и привык меня поучать. Думаешь, это он с тобой сейчас говорил? Ни разу! Это он опять меня воспитывал, и снова зря.

— Как и всегда, Викуля. Год демент! — Уманец огорченно потер лоб. — Опять забыл... Как правильно, Викуля или Викуся?

— Хватит, — отмахнулась Вика. — Давай лучше Юрку послушаем. Иначе, зачем мы сюда приехали?..

— Зачем мы сюда приехали, не знает никто. Но давай послушаем. Скучно не будет.

И в этом Уманец не ошибся.

Юрку дали слово. Он подошел к микрофону, откашлялся, проверяя, хорошо ли работает техника, потом вернулся, резко сбросил свою любимую натовскую куртку на руки голове сельрады и строго ему велел: «Проследите. А то народ здесь такой — рукой проведут и концов не оставят».

— Ага, — то ли согласился, то ли не расслышал растерявшийся голова.

Тут оказалось, что под курткой у Юрка вышиванка. Дикая, совершенно безумная вышиванка, расшитая яростными собакообразными тварями и разинувшими клювы голубыми петухами, подпоясанная таким же голубым плетеным ремнем. Так он и вышел к собравшимся, уже начавшим подмерзать на февральском ветру: в высоких желтых берцах, синих кавалерийских галифе и тонкой бело-голубой вышиванке, надетой на голое тело.

— Батько наш, Богун Петро Незгода, был мне двоюродным прадедом, и я о нем мало знаю, — первым делом сообщил Юрко ветеранам. — Он родился в Виннице, потом уехал в Киев и здесь, в Распорах, появлялся редко... Если вообще появлялся. Это у нас семейное, я сам сюда только второй раз заглянул, а мой отец на родине предков вообще никогда не был. Плевал он на эту родину — хочу, чтобы вы все это знали и ничего зря не выдумывали. Отец был простым работягой, рос сиротой. Но когда мы селились с ним на кухне — два метра в ширину, три в длину, здесь заканчивается ржавая мойка, а там начинается холодильник «Днепр», и между их железными углами двоим без тесного телесного контакта не разойтись — он иногда безо всякого повода говорил: «Мне бы, Юрка, сейчас коня, и полетел бы я на нем в Распоры. Верхом

бы поскакал. Взял бы самогона бутылку, чтоб не заблудиться в пути, и помчался смерчем, сметая на пути разный хлам и мусор истории». Но коня не было, конечно, поэтому выпивали мы с ним первый литр и отправлялись в ночное... Надолго. До сих пор вспоминаю его слова и думаю: что он забыл в тех... то есть в этих Распорах? Что тут можно забыть?.. Теперь сам решил приехать, посмотреть. И вы все здесь за этим же — почувствовать вкус водки... воздуха Распоров. Увидеть Южный Буг, увидеть эту землю и все такое. Это понятно. Но вот мы приехали, и что здесь? Что перед нами? Бездонное ничто, гудящая воронка времени, со всей возможной деликатностью скрытая февральским снегом и близкими уже сумерками, а посередине, над вибрирующей космической дырой, висит колеблемая зимним ветром бетонная стела. Вы слышите свист? Чувствуете вибрации? Это разваливается наше скудное знание о прошлом, рассыпается на глазах. Вместо живой и красочной истории нам предлагают кусок бетона, камень, накрытый какой-то пыльной скатертью со стола президиума. Есть в этом камне что-то от Богуна, от его времени и славы? Ничего! Здесь только бетон, только обман и подлог. Что произойдет, если мы сорвем сейчас тряпку, а камень расколем и обрушим?! Станем мы беднее? Что-нибудь потеряем? Никогда! Какой-нибудь пастор сказал бы сейчас, что мы отвергнем ложных богов и очистим место для богов истинных! Но давайте без богов, что мы смыслим в богах?..

— Что он несет? — ужаснулся Робин.

— Думаю, Вася, надо бы нам перепарковать машину поближе. А то кто знает, чем сегодня все закончится, — попросил его Уманец. Потом он положил руку на плечо кузине, — Вика, не хочешь пойти с Василием в машину?

— Еще чего, — возмутилась та. — Сейчас под барабанную дробь начнется самое интересное. Никуда не пойду, пока до конца все не досмотрю.

— Публика его затопчет. Тебе случалось видеть, как стадо буйволов перемалывает в кетчуп и размазывает по саванне зарвавшегося льва? Юрко по ошибке напялил карнавальную львиную шкуру. Взял с вешалки чужой костюмчик, но слишком вжился в образ. И сейчас его... А потом и нас, — закончил Уманец, уже зная, что ему ответит Вика, и не ошибся.

— Ты трус Колька. Стой и молча наблюдай или вали следом за Васей. Только не мешай мне.

Тем временем Юрко продолжал буйствовать у стелы. Он сообщил что-то невозможное из биографии Богуна, а потом схватился за край покрывала, болтавшегося на стеле. Потеряв на время командира, ветераны переглядывались, ища друг у друга поддержки, не слишком понимали, что происходит, — возможно, — думали они, — так и надо, возможно, так теперь открывают памятники. К тому же половина ветеранов плохо слышала и не все слова Юрка смогла разобрать отчетливо и ясно. Уманец и сам различал не все, особенно в конце, когда Юрко вдруг решил прочитать стихотворение. Он приподнял один угол покрывала и потянул его на себя. Ветераны затихли.

Мы шли по синему простору, как черепахи — напрямик!

— крикнул Юрко.

За нами конница скакала, но нас догнать не мог никто!
За нами ветры, ветры в спину, нам драли в уши и лицо,
А мы — по желтому простору, где ни начала, ни конца.

— Чьи это стихи декламирует племянник, — спросил Уманца топтавшийся рядом ветеран. — Богуна? Или свои?

До этого вопроса Уманец был уверен, что Юрко читает свое, просто потому что чужое Юрко читать бы не стал. За четверть века их знакомства Незгода никогда не читал чужие стихи. Возможно, такие случаи и были, но Уманец о них ничего не слышал. Однако, мало ли, может быть сегодня...

— Это стихи Грушевского, посвященные Богуну, — ответил он ветерану. — Винниченко адаптировал их в Вене и отправил на Кубань по почте, но письмо перехватили агенты ЧК. Богуну их прочитали только на допросе в Киеве.

— Ого, — обрадовался ветеран и пересказал слова Уманца соседу. Тот передал их дальше по цепочке. Испорченный телефон заработал, быстро шлифуя фантастический слух, доводя степень его неправдоподобия до высот, совсем уж невообразимых.

Собаки ждали, злились утки, деревья выли на луну,
А мы, упершись лбами в стену, шагали вдаль и шкиль-моздиль,
И конница литоль ден голлер, и козодой, и чизден ко.
Вопросы нам не задавали. У нас ответы вастелььер...

А гроли тримо, гроли тримо ни дапроти, ни дапрото.

Последнюю фразу Юрко произнес тихо, так что каждый услышал какие-то свои слова. Потом он с силой дернул покрывало на себя. Тряпка тут же за что-то зацепилась, наверное, за ус бетонного Богуна, и порвалась с сухим противным треском.

— А вот бы у него сейчас усище отломился, — громко сказал Уманец, но никто ему на это ничего не ответил, только Вика недовольно покосилась и быстро отвела глаза.

Тряпка повисла не стеле, приоткрыв публике половину бетонного лица: шишку лба, глаз, ус и щеку. Тут уж все поняли, что церемония пошла наперекосяк, и первым исправлять ситуацию бросился голова. Швырнув куртку Юрка на снег, гигантским перепуганным гусем он покосолапил к стеле и схватил покрывало с противоположного края. Тряпка съехала вниз, обнажая наконец бюст полностью. Так на недолгое время они с Юрком замерли по разные стороны столба, держа в руках натянутую плюшевую скатерть. А над ними, встопорщив гигантские бетонные усы, хищно смотрел на собравшихся Богун Петро Незгода. И размахом усов и недоумением в угрюмом прищуре глаз этот Богун походил на Семена Михайловича Буденного, только вместо кителя с маршальскими петлицами и орденами скульптор попытался изобразить визитку и бабочку. При этом гражданская одежда конца позапрошлого века вышла у него не слишком убедительной.

«Маршальские звезды тут, пожалуй, были бы уместнее», — подумал Уманец, разглядывая бюст. В эту минуту Юрко выдернул скатерть у головы сельрады, развернулся к собравшимся и победно вскинул вверх руку. Он был удивительно похож на бетонного Петра Незгоду, не хватало только усов, но твердая, упрямая линия губ и тяжелый взгляд, которым Юрко прошелся по толпе, обманывать не могли.

Вика обернулась и едва заметно кивнула Уманцу — наверное тоже заметила

сходство. Уманец знал, что при всей решительной напористости она всегда оставалась девушкой наблюдательной и тонко чувствующей.

Юрко отпустил скатерть, похлопал по плечу растерянного голову, поднял с земли куртку и ушел куда-то в сторону сельрады. А к микрофону вернулся командир ветеранов Иван Зуев и уже без сантиментов, а наоборот, даже со злостью заговорил о мнимых родственниках, которые перевирают и искажают историю наших героев. И не прощать это надо, а искоренять и выкорчевывать.

— Идем в машину. Я замерзла, — Вика взяла Уманца под руку.

Они пошли сквозь толпу ветеранов, наливавшихся злостью и гневом, и Уманец опять подумал, что сегодня Вика чувствует все тоньше, чем он, лучше его знает, где нужно появиться и когда уйти.

Замерзший Юрко уже ждал их в машине.

— Отдай мой ром, — сказал он Уманцу, едва шевеля серыми губами. — Я замерз. Я сейчас сдохну.

— Может, тебе лучше водки? — Уманец вернул Юрку бутылку с остатками ром-колы.

— Поехали, Вася, отсюда, — коротко бросила Вика, устраиваясь на своем месте. — Водку купим по дороге.

Робин включил зажигание, и минуту спустя джип проехал мимо ветеранов. Уманец попытался разглядеть лица стариков, но не увидел на них ничего кроме усталости. Иван Зуев еще что-то говорил, стоя возле стелы, и грозил кому-то вскинутым кулаком, возможно даже и их джипу. Но ветераны проводили машину безразличными взглядами. Бетонный столб и бюст издалика казались совсем уж нелепыми. Все замерзли, всем пора было по домам.

— Чем у вас там закончилось? — спросил Робин, когда машина миновала Распоры и выехала на трассу.

— Юрко сцепился с памятником, потом с головой, но всех победил. Эту эпическую схватку в Распорах забудут еще не скоро, — попытался объединить все в одной фразе Уманец.

— С головой лучше дружить, — серьезно заметил Робин.

— Тупая шутка, — оборвал его Незгода. — Тупая, понятно? Какого черта вы вообще сюда со мной поперлись?

— Юрка... — обернулась к нему Вика.

— А ты? Я тебя звал? Вот, скажи, я звал тебя?

— Это сейчас пройдет, — сказала Вика, но Юрко ее не слышал, да, кажется, и не видел. — Тебе не водка нужна, а валерьянка и валиум. Или душ Шарко, — не удержалась она.

— Стой! — крикнул Юрко Робину и попытался открыть дверь. — Останови машину!

— Тихо, тихо, не ломай. — Робин затормозил.

Юрко выскочил на обочину, отшвырнул пустую бутылку из-под рома с колой и быстро пошел в сторону Винницы.

— Давайте подождем минут пять, потом нагоним его и подберем. Может, успокоится к тому времени, — предложила Вика.

Какое-то время они тихо сидели в теплой машине, потом Робин не спеша поехал следом за беглецом, но догнать его не смог. Может быть, Юрка успел подобрать кто-то раньше них, хотя представить такое сложно — зимнее шоссе

было пусто и безлюдно. Наверное, он просто где-то свернул с дороги. Уманец набрал номер Юрка, но тот ему не ответил.

Они возвращались в Киев молча. Уже пришли сумерки, стремительно холодало, и все трое старались не думать о том, как в это время Юрко Незгода бредет где-то по обочине дороги и ловит машину до Киева без всякой надежды на удачу.

Худой мир

1

В конце марта у Уманца начали отжимать мастерскую. Ее и раньше пытались забрать — высокие окна просторной светлой мансарды в старом доме на Большой Житомирской выходили на Гончары и Кожемяки. За ними поднималась Замковая. Подол. Днепр. Черторой. В бой за такой вид из окон своей будущей квартиры рвались многие.

Сорок лет назад это был обычный чердак, заваленный строительным мусором. Дядьке Уманца его отдал Союз художников, и лет за двадцать он потихоньку превратил чердак в большую мастерскую. Дядька был скульптором, и в прежние годы все пространство мансарды занимали макеты монументальных групп. Колхозники с урожаем. Сталевары на отдыхе. Шахтеры, зорко всматривающиеся в коммунистическое завтра.

В 90-е, когда заказов не стало, а накопленные им советские деньги оказались обычной бумагой с радужными картинками, дядька предложил Уманцу часть помещения за то, что тот возьмет на себя все расходы по содержанию мастерской. Вполне коммерческую сделку он торжественно назвал союзом кисти и резца. Уманец согласился и не пожалел; работать старик ему не мешал, правда, оказалось, что он привык каждый вечер пьянствовать в компании давних приятелей. Для застолий они выгородили угол с огромным довоенным диваном, тонконогим журнальным столиком и парой продавленных кресел. Приятели дядьки Уманца были младшими современниками Архипенко, Мура, Кавалеридзе. За границей их еще помнили, работы включали в каталоги, а имена — в справочники, но забывчивые и не слишком образованные отечественные чиновники всякий раз недоуменно хлопали глазами: Что-что? Кто? И как, вы говорите, его зовут? Зато вокруг компании крутилась постоянно обновляющаяся карусель из людей, связанных с искусством. Природу этих связей Уманцу не всегда удавалось понять с первого взгляда, но, так или иначе, именно здесь он познакомился с несколькими влиятельными арт-кураторами, прилетавшими в Киев всего на полдня, на один просмотр.

Еще при жизни дядьки мастерская была оформлена на Уманца. Потом, когда ее пришлось отстаивать в кабинетных войнах, то все вместе: и грамотно составленные документы, и несколько знакомых, понимающих, о чем идет речь, способных протолкнуть правильное решение в нужных кабинетах, а неправильное, наоборот, отодвинуть в тень, не единожды сыграло за него. Но и хищники, охотившиеся на мастерскую, всякий раз открывали новые, удивительные причины, по которым Уманца следовало лишить помещения. В список неизменно входили: антисанитария, нарушение пожарных норм, повышенная аварийная

опасность и незаконное вселение жильцов. Причин находилось множество, они выглядели комично и нелепо. Уманец никого не селил в мастерской, не нарушал пожарные нормы — в трех свободных углах мансарды висели огнетушители, но отбить даже самую безобидную атаку удавалось только деньгами, другие аргументы коммунальных чиновников не убеждали. Деньги — вот универсальное оружие и в обороне, и в атаке, обязательный катализатор принятия законных решений при подписании актов и экспертных заключений. Довольно быстро Уманец привык к тому, что откупные — это просто еще одна постоянная статья расходов в его бюджете. Кто-то борется с тараканами, кто-то с крысами, а он с крупными хищниками, время от времени их подкармливая.

Так длилось почти пятнадцать лет. Чиновники уже считали себя его хорошими знакомыми, легко и дружелюбно улыбались при встрече во дворе или на Пейзажной аллее, спрашивали о делах и желали успеха. Еще бы, его успех — основа их благополучия. Они чувствовали себя его благодетелями, если б не они, то эту мастерскую отобрали бы у него с первого же раза, и Уманец со своим абстрактным экспрессионизмом переехал бы в какой-нибудь подвал с обнаженными трубами, но без окон. Многие у нас так работают, и ничего. А они вот помогают, делают благое дело, полезное и для художника, и для искусства, и для собственной совести. Да, за деньги. Но кто сейчас работает бесплатно?..

Уманец понимал, что система, не признающая закона, устойчивой быть не может, что однажды все обрушится, но думать об этом не хотел, да и изменить ничего не мог. Он тоже привык улыбаться дружелюбным ребятам из районной администрации и радовался уже тому, что временно его отношения с государством наладились или вот-вот наладятся, на этот раз, возможно, окончательно. А улыбчивых ребят вокруг всегда толпилось немало, их было не сосчитать: из отдела строительства и архитектуры, из отдела коммунальной собственности, отдела по контролю за благоустройством, отдела работы с обращениями граждан, орготдела, юротдела, сектора по взаимодействию с правоохранительными органами, управления культуры и охраны культурного наследия... Было еще не меньше семи-восьми районных управлений, а кроме них — городские, министерские, еще черт знает кем и когда созданные. Иногда необходимость постоянной борьбы за мастерскую, в которой он проработал двадцать лет, казалась ему невыносимой... А в остальное время жизнь была вполне сносной.

Но однажды система застопорилась. Уманец даже не сразу понял, как это случилось. Он получил извещение, что *обязан в месячный срок освободить аварийное помещение в связи с предстоящим капитальным ремонтом здания*, и отправился по привычному коридорно-кабинетному маршруту. Дружелюбные чиновники тут же признали, что никакого капитального ремонта не ожидается, просто одному человеку с Банковой срочно понадобилась квартира на Большой Житомирской. Для чего? Да мало ли для чего влиятельному человеку нужна мансарда с видом на Гончары и Кожемяки? Кто ж о таких вещах спрашивает? Чиновники улыбались, как прежде, и, как прежде, с готовностью принимали конверты, полагающиеся за сочувствие и содействие, но дело тянулось неделя за неделей, иногда будто бы затухая, но потом неизменно разгораясь снова. Месяц миновал, за ним еще один, началось и набрало силу лето, а Уманец продолжал вести жизнь обитателя казенных казематов. Здесь нельзя было отвлекаться и ослаблять внимание, любой случайный разговор мог разом перевернуть картину мира. Однажды Уманец узнал, что существует еще один, подложный, и довольно

грубо склепанный пакет документов на мастерскую. Ему удалось даже добыть копии. Из бумаг следовало, что он уже четвертый год занимает помещение незаконно, нарушая права владельца, лица, временно существующего без работы и без определенного места жительства. Доказать несостоятельность претензий было не сложно, но и не дешево; как бы то ни было, Уманец понимал, что скоро могут появиться новые документы, где все концы будут спрятаны аккуратнее, опровергнуть их будет сложнее, и к этому он тоже должен как-то готовиться.

Так долго не длилась ни одна атака на мастерскую. На осень была запланирована его выставка в Праге, и он хотел покончить с войной до того, как всерьез займется отбором и перевозкой картин. Тогда-то у него точно не будет времени ни на что другое. Деньги уходили, но не приносили результатов, и казалось, что точнее всего его ситуацию описывал анекдот, рассказанный замглавы районной администрации: *Пришли к прокурору ребята, говорят, нужно решить одно дело. Положили деньги на стол. Прокурор их выслушал, взял сверток с деньгами, взвесил на ладони, остался доволен. Не спеша убрал все в сейф, закрыл дверцу, аккуратно положил ключи в ящик стола. — За деньги, мальчики, спасибо. Помочь ничем не могу.*

Районные чиновники относились к нему действительно лояльно и вроде бы даже не вредили с умыслом, — *хотя, кто их, кресложных, разберет,* — злился Уманец, вернувшись из кабинета *средневысокого* и собираясь на прием к хозяину кабинета *чуть-выше-среднего*.

За последние годы в нашей стране многое разучились делать, зато с успехом освоили строительство просторных кабинетов и приемных. На самом верху, как и прежде, можно встретить ковровые дорожки и полированные дубовые панели на стенах. В советские десятилетия эту технологию довели до совершенства, а в наши дни лишь чуть-чуть подкорректировали — в цветовой гамме стало меньше красного, все чаще встречаются голубой и синий и кое-где, конечно, желтый — мы все патриоты, не надо об этом забывать. Это у очень высоких чиновников. А просто высокие переместились в пластиково-плиточную деловую среду. Здесь господствуют серые и сине-серые цвета разнообразных оттенков. В казенных приемных серый цвет особенно богат и выразителен. Ковровые покрытия кладут только в кабинетах, а в коридорах — плитку в таких же сдержанных мышиных тонах.

Уманцу была назначена встреча с чиновником из нижнего слоя *просто-высоких*. График, как часто случается, сдвинулся, и в просторной приемной, ожидая очереди, раздраженно молчали несколько человек. Над столом офис-менеджера тихонько свистел и всхрапывал кондиционер, но казалось, что дышать в комнате все равно нечем, и дверь в коридор пришлось открыть. Там было почти пустынно, бесшумно скользили редкие чиновники, и уровни тишины в приемной и в коридоре быстро сравнивались, только в глубине, нарушая равновесие нечастыми толчками, со сдавленным сипением разъезжались и смыкались двери лифта.

Уманец занимал время тем, что привычно тренировал воображение, отыскивая сходство собравшихся в приемной с животными, потом с насекомыми, наконец, с объектами неживой природы и растениями. Он представлял, как этот выморочный кафкинский мир вдруг населили бы существами из других пространств, не пересекающихся и даже с ним не смежных.

Из коридора донесся необычно громкий на этих этажах стук женских

каблуков. Что-то похожее с Уманцем не так давно уже где-то происходило. Он слышал эти шаги, нарушающие тишину пустого коридора. Но то был другой коридор, другая комната и другие запахи... Аромат хлорки и продавленный диван. Конечно! Врач из Кичеево. Отделение пограничной психической патологии и как-то там еще... Доктор Гринберг! Твердая походка и жесткий характер. Есть еще женщины, которых не сломать, не переубедить, не сдвинуть с однажды занятых позиций. Даже если они сами знают, что неправы во всем. Так они ходят по любым коридорам, не привставая на цыпочки, не приглушая шаги, не уступая никому своего права на идеально прямую походку. «Понятно, что по коридору идет не Гринберг, — подумал Уманец, — но кто-то очень на нее похожий».

Тут он понял, что не помнит, как выглядела доктор из кичеевской больницы. В памяти не осталось ничего кроме белого халата и очков в пол лица, но едва Гринберг вошла в приемную, как Уманец тут же ее узнал. Это действительно была она! Но что за странная встреча, ведь доктор живет не в Киеве и работает невесть где — в Кичеево. Удивительно, что они встретились под дверью кабинета киевского чиновника *чуть-выше-среднего*. Впрочем, не так уж и удивительно. Вот у Уманца всего лишь мансарда в центре, и нашлось столько желающих ее проглотить. А у больницы — сосновый бор и корпуса, котельная, гаражи, теплица, *Магазинчи*, наконец. Есть чем набить брюхо вечно голодным чиновникам.

Уманец не собирался спрашивать Гринберг, почему она здесь, и без того все казалось понятным, но раз уж они встретились, он хотел поговорить о другом. Пришлось подождать, пока доктор выйдет из кабинета, и пригласить ее на кофе. Двум давним знакомым есть что вспомнить, что же удивительного в долгой беседе за кофе на террасе полуденного кафе? Даже если один из знакомых успел забыть другого.

2

После поездки в Распоры Уманец с Юрком не виделись. Не то чтобы Юрко совсем исчез — Уманец трижды звонил ему и дважды пытался договориться о встрече, но все никак не складывалось. Последние месяцы у обоих шла темная полоса, Юрко хандрил, в разговоре недовольно, по-медвежьи кряхтел и даже в том, что не находилось времени встретиться, видел проявление общей неблагоприятности судьбы. Так случалось и раньше, но Уманцу обычно удавалось растворять депрессивные сгустки в поведении старого друга, а тут у самого не было ни сил, ни настроения. Все месяцы борьбы за мастерскую ему не работалось, он не мог сосредоточиться, не мог вытолкнуть на периферию сознания мысли о войне с чиновниками. Усталость угнетала, и ничего не удавалось с этим сделать.

В последний раз, уже после долгого перерыва, он позвонил Юрку примерно месяц назад, и тот деловито сообщил две новости. Первая: его жена Дина родила сына, назвали Лукой. Вторая: он уезжает в Чернигов, там ему нашли работу. Дина с младенцем пока остаются в Киеве. Юрко был бодр и хотя сказал, что никуда не спешит, Уманцу все время казалось, что тот торопится.

— Что за работа?

— Буду читать язык и литературу курсантам внутренних войск.

— Отличная аудитория, — Уманец постарался, чтобы в его тоне не мелькнуло даже легкой тени иронии. — Каким путем пришла к тебе идея преподавательства?

— Гринберг похлопотала. Ты помнишь главврача из Кичеево? Железная леди областной психиатрии...

— Значит, она все-таки нашла способ внести в твою жизнь порядок и подчинить ее закону. — Уманец попытался вспомнить, была ли Гринберг зимой главврачом. Кажется, не была.

— Диплом мне позволяет преподавать, — продолжал Юрко. — А аудитория... Думаю, она не хуже любой другой.

— Нет, не хуже. Но не слишком обычная, согласись.

— Дай полгода, и я скажу, обычная или не совсем.

— Ты что же, вот прямо сейчас уезжаешь так надолго? — вдруг понял Уманец и слегка испугался. Он привык, что Юрко всегда где-то рядом, на расстоянии телефонного звонка.

— Нет, ненадолго. То есть уезжаю, конечно, но каждые выходные буду в Киеве. До Чернигова всего пару часов, ты же знаешь.

Они простились, но после разговора у Уманца осталось больше вопросов, чем было до его начала. Гринберг могла бы ответить на некоторые из них, пожалуй, точнее, чем сам Незгода, если б, конечно, захотела. Недолгий опыт их знакомства подсказывал Уманцу, что захотеть она может, но если этого не случится, то переубедить ее он не сумеет.

3

— Вы давно знаете Незгodu?

Когда-то Гринберг уже задавала Уманцу этот вопрос. Прошло полгода, и она его повторила.

— Достаточно давно. Потому и удивился, что Юрко теперь работает в училище внутренних войск.

— Еще не работает. Он до сих пор собирает документы — разболтанный, несобранный человек ваш Незгода, но можете не надеяться или не сомневаться — уж как хотите — все, что требуется, он соберет и 1 сентября выйдет на работу. Обещаю вам.

— Да я не... — Уманец был уверен, что подготовился к яростному напору Гринберг, но едва эта решительная женщина проявила характер, как он опять почувствовал, что не готов противостоять ее энергии. — Почему во внутренние войска? Я только это хотел спросить.

— Лучше бы, конечно, в военное училище, — как будто даже согласилась с ним Гринберг, хотя ничего похожего он не имел в виду. — Но приходится быть реалистами. И так неплохо получилось.

— А для чего понадобилось сослать Юрка в другой город? — не удержался Уманец, хотя знал, что углубляться в тему не стоит.

— Да что ж вы все глупости спрашиваете? — вспыхнула Гринберг. — Сейчас мы наблюдаем у него ремиссию по основным показателям, но он не здоров, вы понимаете? Ему нужны, во-первых: режим и упорядоченный быт, во-вторых: смена обстановки и окружения. И кое-какие лекарства. Если б я могла, то отправила бы его туда не преподавателем, а курсантом. Физические нагрузки,

жизнь по расписанию, никакого алкоголя, никаких излишеств. Вы знаете, что он утворил, когда его жена была в роддоме?

Уманец представлял, как Юрко мог отпраздновать рождение сына, но решил пока не делиться догадками с Гринберг.

От балюстрады стадиона Динамо они поднялись по аллее к Мариинскому дворцу и обогнули его. Гринберг хотела попасть на станцию метро, чтобы потом ехать в Бучу, но на границе парка они развернулись и медленно пошли назад к стадиону.

Весь день жара плавила город, солнце выжигало жизнь на улицах. К вечеру вязкий воздух лежал на размякшем асфальте плотными слоями, и казалось, что невозможно уже ни дышать, ни двигаться. А в парке звенела вода фонтанов, в пятнах света и тени ветвились аллеи, пахло влажностью, землей, и тянуло речной свежестью с Днепра. Никуда уходить отсюда Уманец не хотел, да и Гринберг, кажется, тоже.

Когда доктор вышла из кабинета *чуть-выше-среднего*, Уманец позвал ее выпить кофе, и она отказалась. При этом посмотрела на него так, словно не видела никогда прежде, не узнавала, вообще не знала, кто он такой. Уманец молча улыбнулся — Гринберг умела быть жесткой и сильной, но врать не умела. Он улыбнулся открыто и обаятельно, показывая, что не поверил ей, и главврачу кичеевской больницы стало неловко, этого Гринберг тоже не смогла скрыть.

Из министерства они вышли вместе. По дороге Уманец рассказал, как у него отнимают мастерскую, потом выслушал историю о том, как область отрезала у больницы двенадцать гектаров соснового леса и взяла под него кредит, который не собираются возвращать, потому что деньги уже украдены. Масштабы разные, но проблемы схожие. Даже не схожие, это была одна и та же проблема, только видели они ее с разных сторон. Одним словом, доктору и художнику было о чем поговорить, но скоро они обнаружили, что обсуждают уже не хищную жадность городских и областных чиновников, а тему, по-настоящему интересовавшую их давно — характер и привычки Юрка Незгоды.

— Вот вы могли бы привезти домой проститутку в ночь, когда у вас рождает жена? — наконец решилась спросить Гринберг.

Такие вопросы Уманец привык оставлять без ответа. Не желает же она, в самом деле, знать, кого и когда он привозит домой. Но по тому, как долго Гринберг готовилась его задать, по тому, как отвернувшись, молчала, разглядывая выцветшее небо над левым берегом, он понял, что ответа доктор все-таки ждет. Впечатлительная она оказывается дама, хоть и главврач. Впрочем, и сам он теперь часто вздрагивает, слушая новые рассказы Незгоды о его приключениях. Правда, если уж взяться за воспоминания и вспомнить все в деталях, то придется признать, что прежде Уманец сам был таким же, только за прошедшие годы он изменился, а Юрко нет.

— С этой девушкой по вызову Незгода поссорился, а утром, после ее ухода, обнаружил, что пропали украшения жены, — добавила Гринберг и опять замолчала.

— Это похоже на Юрка. Все его пьяные выходки на первый взгляд невообразимы, но всегда проходят по одному сценарию и в финале обязательно приводят к материальным потерям. Без потерь не обходилось никогда.

— На этот раз было иначе.

— Путана устыдилась некрасивого поступка и все вернула с извинениями?

— Нет. Оказалось, что жена, собираясь в роддом, спрятала шкатулку с драгоценностями. Ваш приятель об этом не знал.

— Дина оценивает таланты Юрка точнее, чем он сам, — ухмыльнулся Уманец. — То есть, он не сразу узнал, что ничего не похищено, верно? Хотел бы я услышать историю, которую Юрко сочинил, чтобы объяснить пропажу шкатулки.

— Я не смогу пересказать эту сказку во всем ее фальшивом блеске, но центральным звеном в ней выступали цыгане.

— Отлично! Пришли цыгане, обратили Незгodu в чучело медведя и мимо его стеклянных глаз пронесли самое дорогое — заветную шкатулку жены?

— Что-то в этом роде. — Гринберг наконец перестала разглядывать левобережные массивы и требовательно взглянула на Уманца. — Скажите, Незгода всегда был таким или что-то повлияло на него уже на вашей памяти?

Конечно, Юрко всегда был таким, а что она хотела еще услышать? Что в возрасте двадцати лет он пережил психическую травму и, как следствие, утратил социальную ответственность? Нет, доктор, это скорее сейчас он слегка поутих — не те уже гормоны на пятом десятке и здоровье не то, а в двадцать он еще и не такое отмачивал. Пожалуй, вам лучше не знать, доктор, на что мы с ним были способны в двадцать. В вопросе Гринберг Уманец ясно расслышал ответ. Она заранее подготовила свою версию, и что бы он ни сказал сейчас, вряд ли доктор от нее откажется.

Сегодня они задают перекрестные вопросы, но не отвечают на них. В таком разговоре тоже есть своя польза и свой смысл, надо только уметь его толковать.

— Вы ищете какой-то перелом в биографии Юрка? — Уманец улыбнулся, заметив, как решительно сжала губы Гринберг. — Вы его уже нашли?

— Думаю, все дело в его выдуманном предке. Незгода ведь узнал о нем, будучи вполне взрослым, не так ли?

После всего сказанного говорить о Юрке, как о взрослом, было немного смешно.

— Ему было что-то около двадцати. Двадцать два-двадцать три... А почему вы назвали Петра выдуманным предком? Он вполне реальная историческая личность.

— Личность, конечно, реальная, но предок вымышленный. Петро Незгода не был братом прадеда нашего Незгоды.

— Это правда? — не сразу поверил Уманец. — Вы точно знаете?

Это могло оказаться правдой. Семейные документы, хранившиеся у Юрка, занимали два больших фанерных ящика. Там были письма, расписки, фото-снимки и страницы воспоминаний. Прочсть их удавалось не всегда, установить авторство иногда казалось невозможным. Если судить по фотографиям, то Незгоды в XIX веке служили по преимуществу священниками и врачами, но были и юристы, и военные, и инженеры. Огромная разветвленная семья, в которой имена детей часто повторялись, и теперь, спустя почти полтора века, после революций и войн, уничтоживших церкви и усадьбы, отличить одного Петра Ивановича от другого было уже невозможно.

Последние два года Юрком иногда овладевала активность не совсем понятной природы, он рассылал письма в областные архивы, собирая сведения о семье Петра Незгоды. Он уже узнал достаточно о сестрах и братьях Богуна, и только с его собственным прадедом ясности все не было. Деда Юрка звали

Николаем Юрьевичем, и раз Богун был Петром Ивановичем, значит, имя прадеда — Юрий Иванович. Но у Петра Незгоды не было брата Юрия, ни в одном архиве не хранилось данных о брате с таким именем. Зато приходили сведения о брате Семене, примерно того же возраста. Юрко придумал две истории о том, как Семен сменил имя и стал Юрием; обе смешные, обе абсолютно неправдоподобные.

— Уже точно, — уверенно подтвердила Гринберг. — Наш Незгода — это плод с другой ветки семейного куста. Родство с Петром прослеживается, но настолько отдаленное, что говорить о нем теперь просто неловко. Одно дело — двоюродный правнук при том, что родных нет, и совсем другое — четвероюродный, да и не правнук вовсе, а так... Но не знаю, понимаете ли вы, — с привычным недоверием посмотрела Гринберг на Уманца, — что эта архивная пыль годится лишь на то, чтобы пустить ее в глаза журналистам. Архивы — ерунда. Все определяют гены, а генный материал у наших Незгод общий. Отсюда внешнее сходство, отсюда одни и те же психические болезни, отсюда все...

Родство реальное, но недоказуемое — это все равно что законное наследство, отнятое жадными и влиятельными родственниками. Уманец не сомневался, что такое родство с Богуном Юрку не нужно и не интересно. Зачем ему семейные невроты? Он отлично обошелся бы без них. Дайте справку, что он настоящий Незгода из *тех* Незгод. Просто дайте справку! А депрессии можете оставить себе.

Говорить о генеалогии Незгод Уманец больше не хотел. Он понял, почему Юрко уехал в Чернигов. Любому причина его отъезда показалась бы вздорной и нелепой, но только не Уманцу. И не Гринберг.

Они в третий раз прошли мимо закрытого на вечный ремонт Мариинского дворца. Послеполуденный зной в городе еще держался, но все увереннее тянуло речной свежестью с Днепра, все ниже опускалось за Владимирскую горку солнце, удлиняя тени в парке.

Уманец предложил доктору выпить чаю, но та отказалась. Она спешила на метро и наскоро протрившись, ушла быстрым, твердым шагом, оставив его среди юных скейтеров, сосредоточенно отрабатывавших флипы и оглушительно грохотавших досками по мелкой гранитной плитке. В прошлый раз она ушла так же решительно и быстро.

Уманец выбрал парковое кафе на широкой аллее у фонтана, попросил большой стакан холодной воды и еще час провел за столиком, размышляя о Юрке и о Гринберг. Мысли его были тягучи и не глубоки. Должно быть, Гринберг, — думал он, — влиятельная дама, если сумела устроить первого встречного... хорошо, не первого, просто заинтересовавшего ее психа, преподавателем в ментовское училище. Но и не слишком влиятельная, раз бегают по тем же кабинетам, что и он, а результаты ее так же скромны, как и его собственные.

И все же лежала на долгом их разговоре тень недосказанности: не удавалось Уманцу объяснить пристальное внимание Гринберг к Юрку одним только профессиональным интересом. Сколько таких пациентов проходило через ее кабинет, каких только случаев она ни наблюдала, но не всем же больным искала и находила потом работу. Припомнив интонацию, с которой доктор пересказывала выдуманную Юром сказку о цыганах, Уманец вдруг спросил себя, нет ли у этой истории еще и романтической стороны?.. Правда, задав вопрос, он не стал думать над ответом. Все-таки не его это дело, а у него и своих полно. Незаконченных. Вот и нынешний его визит к *чуть-выше-среднему* оказался

безрезультатным, но это ничего не значило — оставить борьбу Уманец не мог, значит, должен был искать другие кабинеты, иных чиновников и продолжать отстаивать мастерскую.

4

Этот вечер, наполненный мягким теплом и полусонной ленью, высокий стеклянный стакан с остатками уже нагретой воды, розоватые облака в густеющей синеве киевского неба и юных скейтеров, немыслимо-беспечно парящих едва ли не над крышей Мариинского дворца, Уманец потом вспоминал бесчисленное количество раз. Потому что несколько часов спустя его жизнь изменилась резко, навсегда и никогда уже не была прежней.

По пути домой Уманец заехал в мастерскую. Во дворе, возле подъезда, он достал телефон и набрал номер Незгоды — если полдня обсуждаешь чьи-то привычки, а потом об этом человеке еще и думаешь весь вечер, то почти наверняка найдется, о чем с ним перемолвиться. К тому же он вдруг вспомнил, как несколько дней назад ему попался на глаза экземпляр «Серали», выставленный на немецком интернет-аукционе. *Эта книга — необычный образец современного искусства последних лет докомпьютерной эпохи*, — текст аннотации Уманец скопировал в электронный переводчик. Когда-то он бегло болтал по-немецки, но сейчас больше доверял технике, чем своей полуразрушенной памяти. — *Стихи из книги сочинены в голове поэта, а рисунки выполнены настоящими руками художника*. На титуле можно было разглядеть автограф одного из авторов, но чья была роспись, его или Незгода, Уманец понять не смог. Начальная цена лота — девяносто евро. До окончания торгов оставалось два дня, и он даже подумал, не купить ли «Сераль», потому что ни у кого из них этой книги давно не было.

— Юрко, — сказал Уманец, когда рядом что-то хрустнуло, и ему показалось, что Незгода снял трубку. — Алло?..

В следующую секунду Уманец лежал на асфальте двора, не понимая, как произошло, что он на земле и почему ему так неудобно лежать. Он поскользнулся? Подвернул ногу? Телефон отлетел куда-то далеко. Уманец не заметил куда именно, попытался повернуться, и его взгляд уткнулся в чьи-то кроссовки. Над кроссовками нависали черные спортивные штаны.

Уманца слегка пнули, переверачивая на спину, и начали бить — деловито, молча, расчетливо экономя силы, и при этом нестерпимо больно. Били трое или четверо, по очереди, не слишком утомляя себя, но и не давая Уманцу собраться и подняться на ноги. Каждый удар взрывался вспышкой, обжигающим заревом отдаваясь во всем теле. В каждом ударе чувствовался многолетний опыт — дворовые бойцы так не бьют, так бьют менты, выматывая подследственного на допросе, не давая ему отключиться раньше времени. В какой-то момент Уманец перестал чувствовать себя единым организмом, теперь он был просто кучей незащищенных органов, вываленных на стол мясника и истекающих соком. В одну кровотокающую, перемотанную кишками, кучу, были свалены почки, печень, селезенка, и по этой груде колотили молотками для отбивания мяса. Только мозг лежал отдельно и словно со стороны обреченно наблюдал за избиением, не вмешиваясь, не имея сил что-то изменить. Все шло к концу, должно было вот-вот закончиться, но когда Уманец точно понял, что не сможет вынести боль ни

секундой дольше, что наконец-то он уже умирает, побои прекратились. Кто-то наклонился к его уху и негромко, но отчетливо произнес:

— Хочешь жить — вали с этой хаты. Повторять не будем. Понял?

Уманец лежал молча.

— Ты понял?

— У-у, — промычал он, собирая силы, чтобы приоткрыть хоть один глаз.

— Хорошо! — спрашивавший встал на колено и дважды ударил Уманца по голове с такой силой, словно бил не кулаком, а камнем. Второй удар был лишним, Уманец отключился после первого.

5

Врач сказал, что ему нужно полежать хотя бы месяц, вставать пореже и ни в коем случае не бегать с сотрясением мозга по улицам, но уже две недели спустя Уманец встречался с куратором пражской выставки. Он и без того потерял в больнице кучу времени, дальше откладывать отправку картин в Чехию было невозможно.

Первые дни Уманец пугал собеседников черными синяками в пол-лица, но со временем к синякам все привыкли и подшучивали над тем, как странно меняют цвет его щеки. Не было ли среди его предков хамелеонов? А может быть, это он так подкрашивает глаза? Какие насыщенные, глубокие цвета! Уманец радовался этим глуповатым шуткам, все-таки лучше выслушивать шутки, чем ловить сочувственные взгляды. К концу месяца от синяков следа не осталось. Он должен был пройти томографию и сдать анализы, но уже чувствовал себя здоровым и возвращаться к врачам не собирался.

А между тем его история получила огласку: в больницу к Уманцу приехала съемочная группа оппозиционного телеканала, легкий, но ощутимый шум образовался и в прессе. Журналисты вспомнили дядьку Уманца и его знаменитых друзей, заговорили о мастерской, как о национальном достоянии, самого Уманца называли *большим художником, продолжателем новаторских традиций в украинском искусстве*. Писали и о предстоящей выставке в Праге. Расследование нападения взял под контроль какой-то крупный чин из Управления внутренних дел. Впрочем, сам Уманец, вспоминая профессиональные, отработанные удары нападавших, результатов расследования не ждал и думал, что ему повезет, если этот чин лично не связан с теми, кто позарился на его мастерскую. Но так или иначе, знающие люди из районной администрации твердо пообещали, что его вопрос сейчас никто поднимать не станет и за судьбу мастерской Уманец может не беспокоиться. Ближайшие два-три месяца — точно, а там будет видно. В конце сентября дела в Киеве были закончены, и он уехал в Чехию.

На этот раз подготовка к выставке, вся мелкая, но неизбежная бюрократическая суета: оформление документов на временный вывоз картин, их погрузка и разгрузка, возня с таможенными измучили его как никогда прежде. Открытие было назначено на середину октября, и последнюю неделю Уманец прожил с отвратительным ощущением предстоящего провала. Он чувствовал себя разбитым и заранее обессиленным, так что даже осенняя ясно-голубая Прага, насквозь прозрачная в лучах солнца, сумела лишь немного примирить его с действительностью, но не смогла добавить ни энергии, ни сил. Что-то обязательно должно было случиться, неприятности надвигались, и как избежать их, он не понимал.

Неделя прошла, выставку открыли аккуратно в срок, обошлось даже без обычных мелких накладок. Пришли старые друзья Уманца, которых он не видел лет пять-семь, а некоторых и все десять. Одни жили в Чехии, другие специально приехали из Австрии, из Германии. Появился на выставке и Тадек Глогер, вот уж с кем они точно двадцать лет не встречались. Увидев этого хитрого берлинского пройдоху, Уманец неожиданно растрогался. Тадек тоже вытирал глаза, обнимал его, говорил, что нужно бы опять замутить что-то совместное, как в старые смешные времена их школярства, и все повторял, что следит за успехами друга и страшно им рад, и если Колька решит переехать в Германию, то Тадек обеспечит ему участие в крупных проектах.

Уманец в Германию не спешил, он правильно понимал и слова Тадека, и то, что угадывалось за ними, но так или иначе, был действительно рад его видеть.

Спустя два-три дня после открытия в газетах появились статьи о выставке, и тут тоже все было неплохо: галерею хвалили за то, что привлекает новых художников, самостоятельных и самобытных, хвалили и работы Уманца за что-то неопределенное и прекрасное, не поддающееся передаче даже в специальных искусствоведческих терминах. Впрочем, возможно, Уманцу просто не удавалось добиться правильного перевода статей.

Так длилось еще почти неделю, и все это время противный холодок близкого несчастья сдавливал Уманцу сердце и студил левое плечо. Наконец, рано утром ему позвонил киевский сосед и сказал, что ночью сломали дверь в мастерскую, и все, что было внутри: картины, мебель, две дядькины скульптуры, которые Уманец хранил из каких-то сентиментальных чувств, свалили во дворе возле мусорных баков. На двери уже висит новый замок, а у подъезда околачиваются два типа в спортивных костюмах, что-то охраняют и заодно не позволяют ничего брать из вынесенного — наверное, ждут мусоровоз.

Уманец не поверил, но на всякий случай заглянул на сайт продажи авиабилетов — свободные места на ближайшие киевские рейсы еще были. Полчаса спустя сосед прислал фотографии. На них двое рабочих в оранжевых робах под дождем заталкивали в мусоровоз обломки старого дядькиного дивана, а в лужах, возле мусорника, валялись раздавленные картины Уманца. Лететь в Киев больше не имело смысла, ничего изменить он уже не мог. Оставалось набрать номер Тадека Глогера и сказать, что он согласен подумать о совместных немецких проектах. И о переезде в Германию он тоже готов подумать.

Только теперь Уманец понял, что мучало его последние недели. Дело было не в выставке, а в мастерской! Он ведь знал, что мастерскую могут отнять, когда его не будет в Киеве, знал еще месяц назад, покидая город, но запретил себе об этом думать. Думать-то запретил, но у бессознательного свои законы — попробуй запретить бессознательному — вот и трясло его в Праге. Только что он мог сделать, если оценить ситуацию трезво? Выставка должна была состояться в любом случае, и она состоялась. Какой теперь смысл в сожалении?

В этот день, впервые, с тех пор, как он приехал в Чехию, к Уманцу вернулась уверенность. Все плохое уже произошло, он мог трезво и спокойно думать о будущем.

Ранним вечером Уманец вышел в город и наконец увидел Прагу такой, какой была она все эти дни — яркой и чуть замедленной, беспечно проживающей каждое мгновение настоящего. Он заказал черное пиво в кафе на небольшой улице, тихо ответвлявшейся от Староместской. В зале был включен телевизор,

и, ожидая заказ, Уманец в полглаза смотрел европейские новости: куда-то летела Меркель, что-то заявлял Обама, с чем-то был не согласен Путин. Когда на широком, в треть стены, экране появилось изображение потасовки между полицией и людьми достаточно дикого вида, в ночном пространстве города, залитом, словно куриными желтками, густым светом фонарей, он не сразу понял, что драка происходит на киевском Майдане. Но знакомые очертания зданий, окружавших площадь, и надпись «Беркут» на спинах в черной униформе очень быстро разъяснили ему ситуацию: в Киеве опять бьют противников компрадорской власти, тупой и жадной, не желающей соблюдать ни внутренние законы, ни международные правила. Ну что ж, это происходит не первый раз и, судя по всему, не последний. Мысленно он с теми, кто идет против власти, хотя знает, что митингующие никогда ничего не добиваются. Все, что их ждет, — это подорванное здоровье и тюремные сроки. Он готов поддерживать их словами и поступками, но на расстоянии, предпочтительно из-за границы, а свою печень под удары кулаков, беркутовских берцев и пластиковых дубинок больше подставлять не станет. С него хватит. Он не будет даже следить за тем, что творится в Киеве. Завтра же напишет Тадеку и уедет в Германию, где ничто не мешает спокойно работать, где не придется по полгода блуждать в чиновничьих коридорах, решая очередную, вполне заурядную проблему, где у него не отнимут мастерскую просто потому, что какой-то влиятельной твари нравится вид из его окон.

Приняв это принципиальное и окончательное решение, три последующих вечера Уманец проторчал на украинских новостных сайтах, и всякий раз, выключая под утро компьютер, все отчетливее понимал, что прогноз его точен и безошибочен, а происходящее трагически бессмысленно. Протестующих мало, они слабы, их вот-вот арестуют или разгонят.

Всех действительно разогнали: с кровью, с переломанными руками, ногами и разбитыми головами. Случилось так, как он предвидел, несравнимо грубее и жестче, но в целом именно так. Лучше бы он ошибся...

Почти весь следующий день Уманец проспал. Он не желал больше никаких новостей. Кому нужны новости, от которых пропадает желание работать и радоваться жизни? Да чем смотреть такие, лучше жить в стране, где новостей нет совсем — только медленная река, и мосты над ней, и черепичные крыши, и острые шпили башен в тускнеющем свете заката.

Его выдержки хватило ненадолго, спустя день, поздним утром, Уманец все-таки включил компьютер. Все интернет-телеканалы Украины показывали одно и то же: центральные улицы Киева были заполнены людьми. Стримеры транслировали видео из разных точек города, с разных зданий и с неожиданных ракурсов, но картинка была повсюду одинаковой: десятки, сотни тысяч людей спускались на Крещатик и шли в сторону Майдана. Собравшиеся сами еще не понимали, до чего их много, только примеривались к своей силе, лишь начинали ощущать энергию, объединявшую их в единый организм. Они уже могли бы добиться всего, хоть пока об этом не знали.

Да, это было похоже на восстание, но многолетний опыт скептика удерживал Уманца от прямых и точных определений. Подумав, он готов был осторожно назвать происходящее массовой демонстрацией протеста. Но тут, словно в насмешку над ним и его сомнениями, прямо перед камерой на Бессарабской площади возникли две девчонки с плакатом: *Это революция,*

детка! У девчонок дух захватывало от происходящего, и Уманец это чувствовал даже в своем пражском номере. Их не сковывал опыт бесчисленных горьких поражений, поэтому дать название происходившему в Киеве, хотя ничего подобного никогда прежде они не видели, им было куда проще, чем ему.

Уманец перешел на сайт продажи авиабилетов. Свободных мест на киевских рейсах было даже больше, чем обычно. Он тут же забронировал одно, для себя.

Тяжелая кровь

1

Уманец никогда не любил Майдан. Площадь часто меняла названия, менялась сама, и всякий раз становилась только хуже. Когда-то здесь дышала жизнь, но после реконструкции семидесятых она словно впитала мертвящий дух позднего советского социализма и окостенела на десятилетие. Летом здесь всегда было жарко, зимой холодно, осенью она продувалась насквозь. В окружавших ее зданиях не хотелось жить, отдыхать у ее фонтанов казалось невозможным, не возникало желания даже просто прогуляться, можно было только спешить на метро или, наоборот, от метро к улицам, уводящим прочь.

Был здесь и свой Ленин. Архитекторы приподняли гигантскую фигуру, собранную из гранитных блоков, над пешеходами и машинами, проезжавшими по Крещатику. По их замыслу вождь пролетариата должен был стремиться вперед и вдаль, ему даже придали позу, в которой принято куда-то стремиться, но в огромном Ленине тоже не чувствовалось ни силы, ни энергии — он оказался таким же выхолощенным, как и само время. Слишком много тогда нагромодили гранита, слишком мало места оставили для жизни.

Впрочем, и прежде здесь не молочные реки текли. В годы войны, при немцах, на центральной киевской площади стояли виселицы — оккупанты казнили киевлян; и после ухода немцев виселицы не исчезли — по решению трибунала киевского военного округа тут повесили офицеров и генералов немецкой полиции. Да и в более ранние времена ничем хорошим это место не запомнилось. Отсюда армия Батыя, сломав тараном Лядские ворота, ворвалась в Киев.

Где именно стояли ворота, не выдержавшие ударов стенобитных машин? Возможно, там, где сейчас установлена странная арочная конструкция, выполненная в невнятном архитектурном стиле. Это памятник каким-то воротам, когда-то стоявшим здесь. Но каким и когда? Ни одни из киевских ворот так не выглядели.

Современный Майдан — это скопление уродливых скульптурных групп, случайным образом расставленных в неподходящих местах. В последние годы он все больше напоминал Уманцу крышку комода, заставленную разным хламом. Будильник, пара фарфоровых слоников, стеклянный шар с пластиковой копией архитектурной древности внутри и непременно снегом, фигурка казака, закурывающего сигарету, горшок с алоэ на салфетке ришелье. Человек, решавший, как будет выглядеть Майдан, должно быть, все счастливое и безмятежное детство прожил в комнате с таким комодом и теперь пытался воссоздать потерянный рай. Уманец снес бы здесь все, ничего не оставил и все бы построил

заново, но его не спросили, а убрали только Ленина, заменив вождя на торговый комплекс.

Торгуют здесь повсюду — на земле и под землей, но в том, что именно на месте гигантского гранитного Ленина теперь пьют кофе и покупают туры на Мальдивы, угадывается насмешливая улыбка истории. Она любит такие совпадения, но редко выставляет их напоказ. Гранитного Ленина здесь нет уже два с лишним десятка лет, кто теперь помнит, что он вообще когда-то был?

Уманец оставил машину в Михайловском переулке и пошел вниз, к Майдану. Голоса со сцены докатывались до него невнятным гулом. Он еще не разобрал слов, но тревожные, иногда панические тона были слышны отчетливо и ясно. Улица уткнулась в площадь и прежде, чем выйти на Майдан, Уманец остановился на несколько коротких минут. Часы на башне Дома профсоюзов поочередно показывали время — 5 часов утра; температуру — 13 градусов мороза; дату — 11 декабря и рекламировали кредит «Выгодный» Сбербанка России.

Несколько дней подряд «Беркут» настойчиво поджигал Майдан, и настроение протестующих было напряженно-взвинченным. Ждали штурма, окончательного разгона, задержаний и арестов, ждали худшего, но только не этой ночью. Все-таки глупо устраивать шоу с кровью и газом, когда в Киев приехали министр иностранных дел Евросоюза и дама из американского госдепа. В любую другую ночь, до или после, никто не откажет вам в этом удовольствии, дорогие правоохранители, но зачем же именно сегодня?

Рассчитывая на небольшую передышку, Уманец накануне лег рано, но в начале четвертого позвонила Вика.

— Колька, — спросила она, — что у вас творится?

Видимо Вика звонила с улицы — ее голос слегка заглушал шум машин и чьи-то громкие голоса.

— У нас ночь и все спят, — кротко ответил ей Уманец. Упрекать кузину в том, что она его разбудила, было бесполезно. Последние дни Вика звонила часто. Она точно знала, что и как нужно делать протестующим, своим знанием делилась в Интернете, а то, что не успевала написать, рассказывала Уманцу.

— Никто у вас не спит! — оборвала его Вика. — Ты один спишь — поверить в это не могу. Сейчас разгоняют Майдан, и у нас уже два часа подряд дают на экраны живую картинку! Представляешь? Майдан лайв на CNN!

— Хорошо, я посмотрю, — пообещал Уманец. Он включил ноутбук и наскоро пролистал новостные ленты. Они были насквозь *красными*: НА МАЙДАНЕ ОБЪЯВИЛИ МОБИЛИЗАЦИЮ. СИЛОВИКИ ПРОРВАЛИСЬ НА МАЙДАН. МИЛИЦИЯ ШТУРМУЕТ МАЙДАН. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕС ПЫТАЕТСЯ ДОСТУЧАТЬСЯ...

Некоторые сайты вели прямую трансляцию, но разглядеть хоть что-то из происходящего вдали от сцены он почти не мог: ночь, жестокая давка, поднимающиеся над толпой облака слезоточивого газа, черные инопланетные шлемы бойцов спецподразделений, отражающие безжизненный свет фонарей и красные строительные каски протестующих.

Со сцены пытались организовать оборону, но было видно, что делать этого не умеют, потому что никогда ничем похожим не занимались. Команды и распоряжения лишь повышали градус суеты, усиливая общее нервное напряжение собравшихся. Может быть, только в повторяющихся призывах, больше

похожих на стоны: *Киев, выходи!* — оставалась еще надежда если не переломить, то хоть спасти ситуацию.

Путь от дома до Майдана по ночному городу оказался напряженным и долгим. Дорожные патрули дважды разворачивали Уманца, не давая проехать к центру, но когда ему удалось объединиться в небольшую колонну с несколькими такими же, на постах милиции останавливать их уже не пытались, только провожали недобрыми взглядами и что-то кричали в черные трубки раций.

Накануне вечером пошел легкий снег. Ближе к утру он прекратился, но за эти несколько часов отблескивающий сырым асфальтом и мокрыми палатками буровато-черный Майдан побелел. Разглядывая открывшуюся ему картину, Уманец подумал, что может быть впервые смотрит на главную киевскую площадь без обычного брезгливого пренебрежения. Майдан дымил кострами, ворочался, напрягая мышцы, противостоял атакам и сопротивлялся насилию, это был единый организм, живой и сильный. Уманец всегда чувствовал себя чужим на безжизненных камнях этой площади, теперь же он был полон сложно передаваемым чувством восторга, восхищения и страха перед той минутой, когда сможет шагнуть на Майдан и слиться с ним.

По другую сторону Крещатика, на Институтской, почти напротив него, отчетливо виднелись круглые, черно-лаковые каски Беркута. Именно оттуда без малого восемь веков назад разглядывал осажденный Киев Батый, готовя последний штурм города. Вся нижняя часть Киева была ему открыта, все передвижения защитников города видны и понятны. «Как же туго переплелась здесь история с настоящим», — еще раз подумал Уманец. Ведь в точности так же и теперь весь Майдан был открыт нападающим, но это вовсе не значило, что у нападающих хватит сил его захватить.

— Друзья, — донесся со сцены сорванный голос, — нас становится все больше. Каждую минуту подходят киевляне. Через час откроют метро, и тогда с нами уже никто не справится, здесь будет весь Киев. Нам осталось продержаться всего час. А пока я прошу свободных мужчин собраться возле сцены!..

Уманец обошел невысокое декоративное ограждение, отделявшее его от Майдана, и смешался с протестующими.

2

Майдан теперь стал похож и на огонь, и на воду. Как на огонь и воду, на него можно смотреть бесконечно, следить за потоками людей, которые расходятся, обтекая палатки и сцену, а потом вливаются в мощные течения, стремящиеся через всю площадь, от одних баррикад к другим. В часы противостояний он окружен протуберанцами гнева, медленно угасающими, когда градус опасности понемногу снижается, а ночью пульсирует проблесками огней, и вспышки фотокамер перемежаются с разрывами свето-шумовых гранат.

Внимательно разглядывая Майдан со стороны, можно начертить его точную схему, подсчитать, сколько человек тут помещается и сколько их собралось в настоящий момент, но все наблюдения, рационального или лирического характера, не объяснят ни природу Майдана, ни причины его невероятной витальной силы. Здесь другая жизнь и другие законы, где мир ограничен линиями баррикад, и происходящее за его пределами важно лишь в той мере, в какой влияет на Майдан. Здесь другая плотность среды, другой состав воздуха,

здесь все иное. Глядя со стороны, об этом можно догадываться, но ни осознать, ни ощутить невозможно. Чтобы почувствовать Майдан, на него нужно выйти.

Уманец обошел центр площади по широкой дуге и остановился у колонны Независимости — оттуда просматривались часть Институтской, перекресток с Крещатиком и все пространство возле Дома профсоюзов. Открытых столкновений в эти минуты не было нигде, на границах площади установилось шаткое равновесие. У Дома профсоюзов Уманец разглядел перевернутые синие кабины биотуалетов и снесенные палатки, там противостояние оказалось самым жестким, и небольшое затишье наступило совсем недавно. «Беркут», видимо, ждал новых приказов, а пока обе стороны стояли, не уступая своих позиций. На Институтской стычки закончились чуть раньше, но и здесь протестующие, выстроившись в несколько десятков рядов, по-прежнему надежно перекрывали всю улицу. Красные каски были готовы противостоять новым атакам. Штурм Майдана мог возобновиться в любой момент, но так же его могли и вовсе отменить. Нерешительность силовиков ощущалась отчетливо, и от одного этого Майдан, наливаясь силой, становился увереннее в себе.

Со стороны улицы Городецкого параллельно Крещатику скользил неширокий, но постоянный поток прибывающих. Он доходил до середины площади и растворялся в скоплении людей, собравшихся у сцены. Такой же встречный поток стихийно формировался возле сцены и двигался в противоположном направлении. Уманца прибило к нему периферийным течением, и он медленно двинулся, разглядывая встречных.

«Все же Майдан невероятное место, — думал он, вглядываясь в скрытые шарфами и капюшонами лица — здесь бывает невозможно встретиться, если встреча назначена, но запросто можно наткнуться на знакомых, которых не видел лет пятнадцать, забытых, казалось бы, давно, надежно и навсегда. Но вот, пожалуйста, идет рядом с Уманцем Егор... Как же его фамилия? Идет просто Егор, фамилию которого Уманец забыл в незапамятные времена. Когда-то он издал сборник стихов «Ектении», подражал Клюеву, не пожалел сил — отыскал где-то мюнхенский двухтомник поэта, а потом не пожалел денег и этот двухтомник купил. Прежде Егор надевал льняную русскую рубашу, опоясанную цветным плетеным ремнем, носил русую бородку и стригся «под горшок». Но все это осталось в тени времен, и на Майдан он вышел в барашковой шапке с сине-желтым шлыком, коричневой дубленке-выворотке, такие шили в Румынии в середине восьмидесятых, в офицерских сапогах и лиловых шароварах навыпуск. Бороду Егор больше не носит, зато к подбородку свисают густые седеющие усы. Сразу ясно, что его взгляды и эстетика здорово изменились за прошедшие годы. Привет, Егор!

А чуть выше, недалеко от того места, где только что стоял Уманец, беседуют саксофонист Саша Алексеев и поэт Умлаут. Их-то как раз Уманец встречает часто и повсюду: выйдешь осенним утром в парк, а там Алексеев с Умлаутом прогуливаются по только что расчищенным дорожкам; зайдешь вечером в наливайку на Подоле, а за дальним столиком видны бордовый, выцветший берет Алексеева и вздыбленная седая грива Умлаута; на каждом джазовом фестивале, на каждой выставке обязательно где-нибудь на втором плане мелькают Алексеев с Умлаутом. Вот и здесь поэт с саксофонистом не обращают внимания на окружающих и спокойно обсуждают что-то, так словно по давней своей привычке вышли утром на прогулку по городу. Не то чтобы Уманец готовился

встретить их в шестом часу утра посреди темного и многолюдного Майдана, но увидев, не удивился: настоящий Киев там, где гуляют Алексеев с Умлаутом, что же тут странного?

На Крещатике, за улицей Городецкого, появилось милицейское оцепление. Накануне его не было, да, похоже, не было еще и полчаса назад. Тонкая цепочка людей в синей форме протянулась поперек улицы от тротуара до тротуара. Менты пока никому не мешали, стояли без боевой экипировки, без щитов, с одними дубинками, но демонстрировали присутствие, и возбужденным протестующим этого было достаточно.

— Что вы здесь делаете? Зачем вас прислали? — Возле оцепления тут же начала собираться толпа. — Мы вас не звали, валите, на хрен, откуда пришли!

Градус негодования рос стремительно, и Уманец подумал, что толпа сейчас сметет жидкую цепочку милиции. Собравшиеся уже начали срастаться в единый организм, сладить с которым потом не сможет никто. Уманец сделал несколько шагов к майору, командовавшему оцеплением, и громко сказал первое, что пришло в голову: президент арестован, ваш министр бежал, бросайте, ребята, дубинки и расходитесь...

Это был очевидный вздор, но здесь, на границе Майдана, зажатого с двух сторон силовиками, в глухих, только намечающихся предрассветных сумерках, слова Уманца показались смешными. Засмеялись демонстранты, нервно поежились, криво ухмыльнулись менты и напряжение спало.

— Бросайте дубинки. Пошли с нами! Милиция с народом!

Уманец выбрался из группы возбужденных, но уже не агрессивных людей. Он точно знал, что минуту назад мог управлять ими, и лишь от него зависело, чем и как закончится этот небольшой эпизод, но также Уманец понимал, что не готов и не станет брать на себя ответственность за чужие поступки. Все-таки он не полевой командир, а обычный интроверт, способный точно чувствовать колебания окружающего эфира и фиксировать их красками. Только это, и ничего больше.

— Внимание, Майдан, — донеслось со сцены. — Просим свободных мужчин подойти к улице Костельной. Есть опасность прорыва «Беркута» с Костельной. «Беркут» на Костельной! Просим свободных мужчин...

Майдан немедленно, буквально на глазах, пришел в движение. Разрозненные группы людей, стоявшие без дела и казавшиеся скоплениями праздных зевак, потянулись в сторону Костельной. Немедленно рассосался и стусок протестующих возле оцепления на Городецкого — всего через минуту здесь уже не было никого. Все делалось быстро и молча. Так же быстро, следом за остальными, направился через площадь и Уманец.

От почтамта отчетливо просматривалась вся нижняя часть Костельной, ее тротуары и мостовая были заполнены черной дробью защитных шлемов «Беркута». По Михайловской почти к самому Дому профсоюзов подъехал автобус, и из него тоже посыпались люди в грязно-голубой форме. Было похоже, что там действительно начинается что-то серьезное. Когда Уманец оказался на месте, протестующие уже начали выстраиваться в цепи, преграждая силовикам проход к площади

— Колька! — заметил его кто-то из толпы и помахал рукой. — Уманец! Иди сюда!

Это был Вадик Серый, приятель половины депутатов Верховной Рады. Он

по-дружески, то есть за скромный процент, консультировал парламентариев и бизнесменов, решивших собрать коллекцию живописи. Уманец давно уже не считал, сколько работ купили у него Вадик и его приятели. Много. Рядом с Серым, сунув руки в карманы и внимательно разглядывая перемещения силовиков, притаптывали на промерзшем асфальте художники Инал Ашуба и Дато Кикнадзе — майдан объединил киевских грузин и абхазов.

— Долго спишь, уважаемый, — обнял Уманца Нюся Бронштейн и подвинулся, освобождая ему место в цепи. — Опять евреи должны за вас всю работу делать? Я с полуночи стою. А у меня давление и прошлогодний инфаркт в анамнезе.

Тут собрались художники, арткритики и галерейщики. К половине седьмого ждали троих чиновников из министерства культуры.

— Как им объяснить, где мы стоим? — нервничал Вадик Серый. — Я говорю: «напротив Костельной», а они спрашивают, где это. Вот же бестолочь понаехавшая.

Между тем Уманцу удалось разглядеть лица в шеренгах силовиков, стоявших перед ними. Для бойцов «Беркута» эти ребята были слишком молоды, и командовал ими генерал в странной шинели, напоминавшей зимнюю форму генералов 1812 года.

— Пока все тихо, — покрутил головой Нюся, выслушав Уманца, — я сейчас схожу на разведку. Жди.

Действительно было тихо. Силовики ждали команды и не двигались с места. Протестующие грелись чаем и жевали бутерброды. Между шеренгами сновали женщины разных лет, по преимуществу совсем молоденькие девчонки, и едва не насильно кормили собравшихся.

— С нашей стороны баррикад сервис всегда был лучше. Но с беркутней лично я больше делиться не стану, — запивая ветчину горячим кофе сказал Серый. — Бестолку. Этот ошибочный этап мы прошли: ты их полночи чаем отпаиваешь, а они потом стараются разнести тебе голову своими телескопическими палками.

— Сегодня, думаю, ничего уже не будет, — предположил Уманец, глядя, как над Институтской сквозь тучи прорвалось багровое декабрьское солнце. — Наши головы доживут, по крайней мере, до завтра.

— Когда имеешь дело с беркутами и их безумным начальством, ни в чем нельзя быть уверенным, — пробурчал Серый.

— Это не «Беркут», — вернулся из разведки Нюся. — Это училище МВД. А генерал — начальник училища.

— Все равно я не хочу делиться с ними чаем, — закрыл крышку и спрятал термос злопамятный Серый.

— Какое училище, — спросил Нюсю Уманец. — Черниговское?

— Я сказал училище? Нет, оговорился, это Академия МВД. Здешние, киевские. Хотя какая нам разница, училище или академия?

— Ну да, — согласился Уманец, подумав, что разница есть. Последний раз он разговаривал с Незгодой наверное осенью, в октябре, может быть даже в сентябре. Кто знает, на чьей он теперь стороне? Противостояние рушило старые дружбы, раскалывало семьи, и Уманец боялся звонить Юрку, откладывая разговор на будущее.

— А знаете, что мне сказали? — вдруг вспомнил Нюся. — Им эту ночь на Майдане засчитывают как практическое занятие.

— Типа — лабораторка? — переспросил Серый.

— Ну да, — засмеялся Нюся. — Именно. Лабораторка.

Несколько минут спустя Серому позвонил приятель из администрации президента.

— Ментам дали команду «отбой», — сказал Серый после короткого разговора, в котором сам он произнес только одну короткую фразу «Стою тут», а в остальном мычал и отделялся лапидарными междометиями.

— Засаекаем время, — посмотрел на башню Дома профсоюзов Нюся.

Прошло еще четверть часа, прежде чем стоявшие перед ними изломанные шеренги силовиков вдруг выровнялись, вытянулись, словно по ним пропустили слабый ток, развернулись, и колонна за колонной начали уходить с Майдана.

— А-а-а! — взревели протестующие. — Ганьба! Ура! Милиция с народом! Милиция с уродом! Ганьба!

Следом за курсантами потянулись подразделения внутренних войск, за ними «Беркут». Последними уходили отряды МЧС. Войска шли и шли, колонна за колонной, и только теперь Уманец увидел, до чего много их было собрано на площади. Казалось, что даже десятая часть этих отлично тренированных бойцов в полной экипировке смогла бы без труда разогнать протестующих. Но что-то у них в этот раз не вышло. Уманец смотрел, как под воинственные и радостные крики демонстрантов отступают с Майдана бойцы «Беркута», и не сомневался, что они сюда еще вернутся.

3

Железные барабаны революции — старые двухсотлитровые бочки — грохотали по обе стороны улицы Грушевского: у почерневшей от копоти балюстрады стадиона «Динамо» и возле входа в Институт литературы. Проезжая часть улицы была перегорожена черными зловещими остовами сгоревших милицейских автомобилей и автобусов. На тротуарах, возле перевернутой техники, почти полностью перекрывая проход, громоздились грязные мусорные баки, пластиковые биотуалеты и кованые секции заборов. Все это приволокли сюда демонстранты и свалили в кучи, образовав не слишком удобные в обороне, но труднопроходимые баррикады. Большое электронное рекламное табло, ярко освещавшее протестующих накануне, уже сгорело и погасло, а тускловатого света двух костров и нескольких фонарей было недостаточно, чтобы ясно видеть лица собравшихся этим январским вечером.

От Майдана через Европейскую площадь, к развилке Петровской аллеи и улицы Грушевского двигался непрерывный поток людей, и такой же поток возвращался на Майдан. Среди собравшихся прогуливалось много зевак — после вечерних и ночных столкновений наступило затишье, день прошел спокойно, поэтому *посмотреть на революцию* шли семьями. Небольшими группами на баррикады заглядывали иностранцы.

На Европейской площади стояли микроавтобусы с развернутыми спутниковыми тарелками, корреспонденты трех телеканалов в прямом эфире пересказывали события дня. И тут же десяток стримеров с планшетами и компактными камерами сновали среди толпы, взбирались на баррикады, снимали бытовые

сценки, а заметив хоть сколько-нибудь известного политика, проталкивались к нему и выкрикивали вопросы. Все это было похоже на фестиваль, но ритмичные, множась эхом, оглушающие удары железа по железу ни на мгновение не давали забыть о том, что на самом деле происходит на улице Грушевского.

На противоположной стороне баррикад было тихо, но и там за шеренгами внутренних войск постоянно шло движение людей и техники. За рядами срочников, кое-как прикрытых металлическими щитами, группировался «Беркут». Эта тактика прятать профессиональных бойцов, выставя под удар молодых солдат, всегда вызывала возмущение и гнев протестующих, но за два месяца противостояния методы силовиков не изменилась. «Беркут», неоправданная и необъяснимая жестокость которого не раз приводила к усилению протестов, по-прежнему держали в тылу, выпуская только для атак на демонстрантов. Проходы к Музейному переулку и аллеям парка также были перекрыты шеренгами внутренних войск, и что происходило за ними, в темноте, через ряды баррикад разглядеть было невозможно.

Уманец стоял на тротуаре в начале Петровской аллеи, ждал Ньюсю Бронштейна и может быть еще кого-нибудь из их компании. Вадик Серый теперь держался своих влиятельных друзей из руководства оппозицией и все больше времени толкался в коридорах Дома профсоюзов, но остальные приходили как прежде и проводили вечера на Майдане.

Через выбитые окна сожженных милицейских автобусов Уманец пытался разглядеть шеренги внутренних войск и прикидывал, сколько еще продлится пауза в столкновениях с силовиками. Необъявленное перемирие могло рухнуть в любую минуту, но событий, способных стать поводом для этого, не происходило, да, вроде бы, и не намечалось.

Затишье было прервано неожиданно. Со стороны милиции вдруг включили мощный прожектор. По толпе протестующих пробежало большое яркое пятно. Не то чтобы улица Грушевского притихла, привычный грохот продолжался, барабанщики не реагировали ни на что, но те, кто вдруг оказался в потоке света, растерялись. Между тем прожектор замер, с ним вместе перестало двигаться пятно, и Уманец понял, что стоит едва ли не в самом его центре. Ему вдруг показалось, что он остался посреди улицы один, что никого здесь больше нет, только он, перевернутые автобусы и этот луч, от которого невозможно спрятаться. Мощный свет шел и поверх автобусов и сквозь их окна, можно было разглядеть неожиданные детали, которые до этого оставались незамеченными — зубцы выбитых стекол, сосульки, намерзшие за прошедшие сутки, изогнутые, покореженные стальные штыри внутри. Эти автобусы казались гигантской гиперреалистической инсталляцией, где каждая деталь продумывалась часами, ни один элемент не был случаен, но вместе они представляли совершенно невозможную, фантастическую композицию, перенесенную в центр мирного города из другого мира, о котором Уманец до этой минуты не знал ничего.

— Снайпер! На крыше снайпер! — закричали в толпе. Прожектор слепил, бил по глазам, но Уманец сумел разглядеть полусогнутую фигуру человека на темной крыше. Вряд ли кто-то на Грушевского мог точно знать, снайпер это или наблюдатель силовиков, или кто-то из демонстрантов вышел на карниз дома. Человек на крыше сделал несколько шагов, взмахнул рукой, не то приветствуя собравшихся, не то угрожая им, и скрылся на чердаке здания. Улица загудела, в

эту минуту пятно сместилось, передвинулось ближе к Парламентской библиотеке, и Уманец опять оказался в тени.

Он оглянулся, разглядывая тех, кто теперь попал под прицел прожектора. Казалось, что мощный поток яркого света физически давит на людей, они щурились, прикрывали глаза, старались выйти за пределы освещенного пространства. Возле верхнего края пятна, посередине стоял крепкий человек в темных очках, кепке защитного цвета, ярком, густо-зеленом лыжном костюме и вызывающе-алых ботинках. Уманец уже видел эти ботинки. Он видел их много раз и не мог не узнать.

Несколько минут спустя луч сместился к балюстраде стадиона и Уманец помахал Незгода рукой, уже не сомневаясь, что тот его увидит.

— Юрко! — они обнялись.

— Спасибо, что не лазером вшкварили, — Незгода вытер пот со лба.

— А ты как знал — пришел в черных очках. Ночь на дворе, зима. Зачем тебе очки?

Но Незгода этот вопрос игнорировал.

— Идем, погреемся немного, выпьем кофе. Мы с тобой сколько не виделись, уже год почти?

— Да, что-то около того.

На Грушевского, на Европейской площади и на Крещатике, на небольших прилегающих к ним улицах за время революции не закрылось ни одно кафе. По тротуарам и проезжей части то в одну сторону, то в другую носились «Беркут» и демонстранты, катили бочки, шины, таскали камни, но за мягко освещенными окнами кафе текло другое время, шла другая жизнь, и это, кажется, всех устраивало.

— Известная тебе Вика, моя активная кузина, звонит ежедневно и беспокоится о судьбах нашей родины, — Уманец выбрал столик возле широкого окна. Отсюда можно было наблюдать за половиной Европейской площади и частью улицы Грушевского. Удобное место. — О твоей судьбе она тоже беспокоилась, но я не знал, что сказать. Как у тебя дела?

— Неплохо, — не то пожал плечами, не то просто поежился Юрко. — Лучше, чем год назад.

— Зарядки в шесть утра, кроссы с личным составом, вечерние поверки?..

На это Незгода ему тоже не ответил, и Уманец почувствовал себя неловко. Ему никак не удавалось найти верный тон. Юрко, конечно, изменился за месяцы работы в училище МВД, но это же не значит, что они теперь не смогут говорить.

— Тадек Глогер передавал тебе приветы и разные хорошие слова. Кстати, он знает, где можно найти пару экземпляров нашей книжки. Могу тебе купить, если хочешь?

— Глогер? — неожиданно обрадовался Юрко. — Давно ты его видел?

— Он приезжал осенью на мою выставку в Прагу. Готовит совместный проект в Германии. Мы с ним условились в середине февраля увидеться в Берлине, но теперь даже не знаю, как быть. И как здесь все повернется...

— Так твои дела идут отлично. А чем закончилась история с мастерской?

— Ничем пока не закончилась, — Уманец кивнул в сторону окна. Мимо них в направлении баррикад проходил отряд протестующих в красных строительных

касках. — Развязка еще не наступила, но это уже кульминация, и все мы в списке исполнителей.

— То есть для своей истории ты уже нашел место в общей, — догадался Юрко. — А я, наоборот, понял, что пытался занять чужое.

— Кажется, я знаю, что скрывает эта метафора. Петро Незгода оказался тебе чуть более дальним родственником, чем предполагалось. А может, это наоборот хорошо? Ты выберешься из-под его бронзы и начнешь...

— Я это уже сделал. Начал. К тому же то была не бронза, а крашеный бетон. Ты забыл?

— Да я помню, в Распорах был крашеный бетон. Это важно?

— Важно то, что вся наша страна точно так же придавлена своей историей. Она тащит ее на себе, как гирию. Греки расставались со своим прошлым весело...

— Это Маркс сказал, — не сумел промолчать Уманец. — А так ли уж веселились греки на самом деле, точно не знаем ни мы, ни сам Маркс.

— Не важно, как было на самом деле, — отмахнулся Незгода, — важно, что сейчас мы это поняли. Прошное должно остаться в музеях. В театрах, в кино, в приключенческих романах. Оплаканное, обыгранное, сотни раз перепридуманное, измененное до полного несходства. Хватит уже ходить по кругу и проваливаться в старые ямы. Я покончил с этим и отправил Петра Незгodu в камеру вечного хранения. Он больше мне не интересен.

— А что интересно?

— Будущее. Я полгода провел с пацанами в Чернигове. Кроссы не бегал, на зарядку не выходил. Но я с ними работал, и я их почувствовал. Знаешь, что они такое? Они — химически чистое будущее, набор возможностей, которые когда-нибудь реализуются. Или не реализуются никогда, что тоже возможность. Можно было учить их истории, читать классиков... Собственно, этим я и занимался, но...

— Ты боялся загнать их в старую колею.

— Мы все время с кем-то безуспешно боремся, а потом скорбим о погибших. Боремся — скорбим, боремся — скорбим... Веками, тысячелетиями. А результат вон, за окном... Дурная дихотомия, из которой давно уже пора выбраться.

С улицы кто-то постучал в окно кафе.

— Это Бронштейн, — узнал Уманец Нюсю и помахал ему рукой. — Он за мной. Слушай, Юрко, сейчас мы все равно обо всем не поговорим. Но хорошо, что ты здесь. Идем. Ты с нами?

— С вами, — поднялся Незгода и надел черные очки. — И с ними. Сегодня с той стороны стоят мои курсанты.

4

Они провели в кафе всего полчаса, но за эти полчаса на Грушевского изменилось все. Опять горели шины и жирный черный дым, тяжело пластался над улицей, не желая подниматься в ночное небо. Две небольшие стайки мальчишек в балаклавах пристреливались «коктейлями Молотова» по «Беркуту». Из металлических щитов они соорудили укрытие и собрали там приличные запасы бутылок с бензином. Время от времени кто-то из мальчишек выскакивал из укрытия с подожженным «коктейлем» и бежал в сторону ментов, чтобы

наверняка добросить и не промахнуться. Остальные, чем могли, пытались его прикрывать.

Милиция вела огонь по протестующим. Время, когда стреляли только разрешенными резиновыми пулями, если и было, то давно прошло. В людей летели светозумовые гранаты с примотанной скотчем шрапнелью, чтобы не только оглушить или прогнать, но еще и изувечить. Стреляли черти чем: рубленой металлической дрянью, охотничьей картечью, пробивавшей одежду и рвавшей тело, пулями, предназначенными для разрушения двигателей автомобилей. На видео, снятом накануне, боец «Беркута» оборудовал в парке стационарную лежку и с комфортом расстреливал демонстрантов, как крупную дичь на охоте.

Этим вечером огонь ментов был плотным, как никогда прежде. Казалось, им не мешает даже дым горящих покрышек. Стреляли по тем, кто выделялся, по скоплениям людей, стреляли по случайно попавшим в прицел, били без всякой системы и логики. Но как и все предыдущие дни, особенно настойчиво охотились на стримеров. Корреспонденты крупных телеканалов рисковали редко и близко к зоне огня не подходили, но работавшие в поле журналисты небольших интернет-студий были всегда на переднем крае. Стоило кому-то из них остановиться на виду, выйти из укрытия, неосторожно выставить планшет, как они тут же становились мишенью для «Беркута». И хорошо, если пуля разносила только технику...

Юрко отстал где-то по дороге, и Уманец с Нюсей присели за деревом, ожидая, когда он появится. В шаге от них о событиях на Грушевского рассказывал на камеру парень с полужнакомым лицом в красной пластиковой каске, имени которого Уманец никак не мог вспомнить. Вот в эту каску аккуратно по центру и зарядил журналисту какой-то снайпер-отличник из беркутов. Брызнули мелкие осколки пластмассы, каска отлетела за спину и раскололась, упав на мостовую. Следом за ней рухнул навзничь и журналист. В первые секунды Уманец не мог заставить себя посмотреть в его сторону, а когда все же решился, то увидел, что Нюся уже возится с раненым. Парню повезло, если бы пуля прошла пятью миллиметрами ниже, то брызги его мозгов смешались бы с пластиковой крошкой. Но на этот раз все обошлось контузией и кровавой бороздой в черепе.

Они передали журналиста врачам и отошли немного в сторону, чтобы прийти в себя.

Стрельба по демонстрантам не прекращалась, санитары продолжали уносить раненых. Жестокость одной стороны, как это бывает часто, лишь усиливала сопротивление другой. Протестующие катили на передовую шины и тащили ящики с горючей смесью, никто не расходил, сопротивление усиливалось. С Майдана на Грушевского подходили новые силы и все находили себе дело: выковыривали брусчатку, строили новые баррикады, смешивали «коктейль», и тут же, среди мужчин с закопченными лицами, так, словно ничто им не угрожает, опять сновали совсем еще молоденькие девчонки, разносили чай и бутерброды. Эта способность к самоорганизации людей, прежде не знакомых, впервые встретившихся ночью при обстоятельствах, опасных для жизни, стала для Уманца самым ярким открытием революции.

— Нюся, — окликнул он Бронштейна, — ты как хочешь, а я не готов носиться с «Молотовым» по Груше. Пошли, поможем людям строить баррикаду.

— Сейчас. Подожди. Посмотри сюда, — Нюся, не отрываясь, глядел в сторону силовиков, стоявших по другую сторону сожженных автобусов. От демонстрантов к ним шел человек с белым флагом.

— Это кто еще?... — удивился Уманец, но чуть присмотревшись, понял, кто. И на несколько мгновений почувствовал, что от изумления лишился дара внятной и осмысленной речи. Он схватил Нюсю за рукав куртки, но смог издать только глухой короткий звук, который должен был обозначать отчаянье и ужас.

С какой-то тряпкой, изображавшей белый флаг, прямо на милицейские шеренги шагал Юрко Незгода в своем зеленом лыжном костюме и алых ботинках. Шел он без вызова, не спеша, не пригибаясь, так, как привык ходить по улицам в спокойной и безопасной жизни. Подойдя к первой шеренге курсантов, Юрко пожал несколько руки и что-то сказал. Со стороны демонстрантов наблюдали за самозванным парламентаром озадаченно, никто его к силовикам не отправлял, и потому здесь не могли понять, что происходит. Между тем, переговоры — возможно, это был просто разговор? — продлились недолго. Шеренги курсантов раздвинулись, к Незгоде вышли несколько бойцов «Беркута» и быстрыми ударами по голове свалили его на мостовую. Потом двое взяли тело за ноги и утащили вглубь. Ряды тут же сомкнулись, а несколько минут спустя по протестующим опять стреляли. Тряпка, изображавшая флаг, осталась на брусчатке. Она еще долго там валялась, пока не смешалась с уличным мусором.

5

Незгода нашелся только через неделю. Его привезли в Голосеевский суд вместе с десятком майдановцев, захваченных «Беркутом» на Грушевского и на Бассейной, неподалеку от Крещатика. Все были избиты, двое не могли говорить, где их держали эти дни, никто не знал. Задержанным предъявили обвинение в организации массовых беспорядков и из зала суда отправили на Лукьяновку.

Как только стало ясно, что Юрко жив, Вадик Серый прислал адвоката, а его друзья начали заваливать МВД депутатскими запросами. Адвокат предупредил, что процедура будет долгой, власти требуют крови и жестких приговоров, поэтому главное сейчас — сделать сносным существование Юрка в изоляторе. Он был похож на прагматичного человека, точно оценивающего свои возможности, Уманец понял это и спорить не стал, но после беседы условился о встрече с Гринберг.

Наверное, впервые с момента их знакомства кичеевский главврач увидела в нем не оппонента, а единомышленника. Гринберг тоже не верила, что Незгоду удастся освободить через суд, но и облегчение условий содержания считала слишком незначительной задачей. Они вместе составили небольшую программу действий, в которой Уманцу достались только технические функции: отвезти, позвонить, передать. На несколько дней он стал водителем и секретарем Гринберг — все встречи и переговоры она проводила в одиночку.

Как-то вечером после долгого дня, вымотавшего обоих, когда Уманец уже вез Гринберг домой, в Бучу, доктор вдруг велела остановить машину у ближайшего ресторана.

— Вы ведь пьете водку? — спросила она, бегло осмотрев небольшой зал, и Уманец не услышал в ее голосе вопроса.

— Я за рулем.

— Ерунда. Вызову такси, — отмахнулась Гринберг и больше ни о чем не спрашивала.

Она не пригубливала, пила уверенно, по-мужски, но первое время молчала, не слишком слушая Уманца, сосредоточившись на своих мыслях. Лицо ее оставалось бесстрастным, только карие глаза темнели, наливаясь чернотой, после каждой следующей рюмки. Доктор продолжала спорить с кем-то из недавних своих визави.

— Они думают, что мы им это забудем? простим? — Гринберг бегло глянула на Уманца, но, похоже, даже не увидела его лица. Ее монолог не требовал ни собеседника, ни слушателя. — Прежних — а их-то я знаю отлично — хотя бы учили истории. Криво, косо, но учили. В этой стране нужно хорошо знать историю, потому что двоечников вроде нынешних она наказывает безжалостно. А они еще торгуются, еще надувают щеки! Я говорю им — пакуйте чемоданы! Вы не прочитали инструкцию и начали играть против правил. Теперь вы сможете спасти шкуры и ворованое барахло, только если быстро, в одну ночь, исчезнете из страны! И отпустите же ребят, что вы делаете?.. Нет, огрызаются. И глазки их крысиные бегают туда-сюда... Не уйдут они добром, вот что я поняла сегодня. И надо же было, чтобы Юрочка... Это я виновата... Это я...

Уманец молчал, пил водку и старался не смотреть на Гринберг. Он был уверен, что очень скоро, уже завтра, та будет стыдиться этих недолгих минут слабости.

Но на следующий день, вспоминая вечер в ресторане, Уманец вдруг подумал, что ошибался, а слова, которые он посчитал случайными, были едва ли не самыми важными в монологе Гринберг. Тут же припомнились ему их прежние разговоры о Незгоде, ее возбужденная речь в Мариинском парке. Прошлым вечером доктор сказала то, что хотела, возможно, даже меньше, чем хотела. Понять, как тяжело впервые расстегнуть доспехи, может только тот, кто сам их носит, не снимая, много лет. Уманец мог об этом только догадываться.

В конце концов, он так и не узнал, чьи связи сработали — Гринберг или влиятельных приятелей Серого. Пожалуй, те и сами этого не знали наверняка, но несколько дней спустя, поздним вечером, Незгоду вывели за тюремную проходную и сказали, чтобы шел домой. Ему ничего не объясняли, и он тоже ничего и никому не мог объяснить.

Его случай был единственным и уникальным среди всех задержанных за участие в протестах на Майдане. Тех, кому меру пресечения назначали в один день с Незгодой, продержали на Лукьяновке еще две недели, но и позже, когда перевели под домашний арест, обвинения против них все равно не сняли.

Юрко собирался отлеживаться и торжественно пообещал жене больше не ходить на баррикады, вообще не выходить из дома, но дней через пять, в середине февраля, они с Уманцем договорились встретиться на Владимирской горке. Без всякой цели, просто так, погулять.

Это были дни последнего затишья, когда центр Киева уже наводнили банды уголовников из других областей и киевских пригородов. Их специально привезли, чтобы терроризировать город, отлавливать и избивать участников Майдана, возвращавшихся домой поодиночке или компаниями по несколько

человек. Главным лагерем бандитов стал Мариинский парк. Уманцу в этом виделась какая-то особая, злобная насмешка над Киевом и над ним лично.

— Где-то там нас все время и держали, — Незгода кивнул в сторону парка.

Они прошли от памятника Владимиру к Украинскому дому и теперь стояли, глядя, как наливается тяжелой синевой небо на востоке. Солнце садилось за их спинами, его последние лучи отражались в прожекторах стадиона «Динамо» золотым и красным. Склоны холмов стремительно погружались в тень, внизу они казались серовато-коричневыми, но выше коричневый цвет исчезал, а серый уступал сиреневому. Предзакатный Киев был удивительно хорош, как был он хорош всегда ранними февральскими вечерами. Но этим вечером Уманцу с Незгодой приходилось говорить о вещах ужасных, в прежние годы невообразимых, и сам предмет их разговора, казалось, менял картину вечернего города.

— То есть все время до суда ты провел в Мариинском? У них там что, концлагерь?

— Не знаю. Нас держали в палатке. Охраняли харьковские гопники, а допрашивали офицеры «Беркута». Мне настучали по морде только в первый день, когда привезли, а потом почти не трогали, только пугали. Но другие получали крепко.

— О чем тебя спрашивали?

— Про деньги спрашивали. Сколько нам платят.

— Это правильно. Никогда их ничего кроме денег не интересовало. Много вас там собралось?

— Не знаю точно, но мне показалось, что палатка с пленными была не одна. Может быть, две. Хотя я мог и ошибиться, там ведь не только палатки стояли, и сцена была, и еще много всякого — настоящий город и немаленький.

— Ну, не больше нашего, — усмехнулся Уманец.

— Несколько раз спрашивали, зачем я к ним подошел на Груше.

— Законный вопрос, между прочим. Зачем ты к ним подошел?

— Там ведь мои стояли в оцеплении. Мой курс. Я всю первую шеренгу знал поименно.

— Как трогательно. Ты хотел провести перекличку?

— Слушай, но кто-то же с их стороны стрелял. Они стреляли по людям. Не знаю, кто им приказал, но такие вещи без последствий не остаются. Оглянуться не успеешь, как первая капля крови вздуется морем. И потом, ты не забыл, что я говорил тебе в тот вечер на Груше?

— О том, что не хочешь загонять своих курсантов в старую колею? Как видишь, их загнали в нее без твоей помощи. Тебя, кстати, тоже. Кровь сама диктует законы и двигает историю.

Они вышли на Костельную и спустились к баррикадам и палаткам Майдана. Удивительным образом, площадь, занятая протестующими, на какое-то время оказалась если не самым спокойным, то уж точно самым безопасным местом в городе, и то, что Незгода и Уманец пришли сюда, было не случайно и не удивительно.

— Помнишь тех стариков на открытии памятника в Распорах? — спросил Уманец, когда они вышли на площадь.

— Конечно, помню! Они чуть не сделали из моей тушки второй памятник.

— Тогда, в Распорах, я готов был согласиться, что наша пассионарность

иссякла, а эти старые болтуны — все, что осталось от украинского протеста. Позже я даже поверил, что все обстоит именно так, и чуть не уехал из страны. Каждый раз, выходя на Майдан, я вспоминаю об этом. Ничего подобного я не мог себе представить.

— Кстати, — спохватился Незгода, — когда ты летишь в Берлин?

— Завтра утром. Тадек достал меня даже здесь, а хватка у него всегда была мертвая. Человек-капкан.

— Купи у него «Сераль», хорошо? У меня ни одного не осталось, все куда-то делись. А нам с тобой эта книжка удалась. Сейчас я понимаю это, может быть, даже лучше, чем двадцать лет назад. Идея была дурацкая, и сами мы были молодыми дураками, а книжка получилась хорошая. Так бывает. Что-то мы с тобой, Колька, все-таки успели сделать...

— Я рассчитываю успеть еще что-нибудь.

— Если повезет. Если всем нам повезет...

На Майдане они забрели в какой-то тупик, в загон из деревянных поддонов, мешков с песком и уличных ограждений. Тут быстро все менялось, проходы вдруг зарастали палатками и кухнями, приходилось искать новые обходные пути. Четверо обитателей ближайшей палатки грелись у раскаленной металлической бочки и смотрели на них с безразличной усталостью. Туристов и бездельников здесь терпели, но не слишком любили.

— А ты — Незгода! — вдруг узнал Юрка один из них. — Тебя в январе на Груше взяли.

Юрко растерялся. Он впервые видел этих людей и не был готов к тому, что его узнают.

— Ты звезда экрана, — напомнил Уманец. — Когда тебя вытаскивали с Лукьяновки, твоя физиономия была в каждом ящике. Теперь ее здесь знают все, готовься раздавать автографы.

— Давай к нам, греться, — майдановцы подвинулись, освобождая место для Юрка. — А правда, шо ты сын Богуна? Или тока так, однофамилец?..

— Вижу, мы не зря сюда пришли, — Уманец хлопнул Незгodu по спине. — Посиди с людьми, а я поеду домой, попробую поспать. У меня самолет в полседьмого утра.

— Ну тогда счастливо! Тадеку привет. И про книгу не забудь.

Они простились.

Уманец выбрался из тупика и, проходя мимо соседних палаток, услышал: «Хлопцы, идите сюда, к нам Незгода пришел... И телефоны возьмите. Пофоткаемся...»

6

— Такси на Дубровку заказывали? — водитель ухмылялся широко и жизнерадостно.

«Веселый человек, — подумал Уманец. — Всю жизнь не устает шутить одну шутку».

— Люблю ездить в Борисполь рано утром, — водитель оказался не только веселым, но и словоохотливым, — автомобилей нет, пробок нет, все мосты свободны.

Уманец тоже любил эту дорогу в первые предутренние часы, когда машина

легко неслась в аэропорт по Южному мосту, а за Днепром, на левом берегу, уже в полную силу разгоралась заря, освещая Днепр и крыши дач в Осокорках, и влажный асфальт шоссе. Ощущение освобождения в такие минуты всегда было обжигающе острым. Какой бы тяжелой потом ни оказалась дорога, как долго ни тянулись бы перелеты и пересадки в аэропортах, утреннего заряда силы ему всегда хватало на несколько дней.

Но на этот раз все пошло иначе.

— Что этой ночью в городе? Спокойно? — Уманец не успел перед выходом посмотреть новости.

— Да какое... Бандюки звереют. Менты раздали травматы, так теперь они лезут проверять все машины, идущие в центр города, будто бы у них есть на это разрешение. А на массивах просто грабят, кого могут, на это разрешение никогда не требовалось.

Когда такси выехало на Южный мост, рассвет только угадывался и Уманец вдруг почувствовал, до чего же на этот раз не хочет никуда улетать. Он ехал ненадолго, но никак не мог избавиться от ощущения, что бросает неоконченное дело, что без него все пойдет не так, что сразу за мостом нужно разворачиваться и возвращаться домой.

На Бориспольском шоссе их остановил пост ГАИ. Патрульная машина стояла рядом с еще незаконченным блокпостом, сложенным из бетонных блоков. Чуть в стороне припарковался автобус с ментами.

— Походу к войне готовятся, — проворчал водитель, доставая документы, и было не понятно, так он шутит или говорит всерьез. Уманцу пришлось выйти следом за ним. Паспорта проверяли долго, неловко, одним пальцем тыкали в клавиши ноутбука, сверяли фамилии с базой. Было холодно. Предрассветная луна, бледная и ледяная, едва виднелась над черным сосновым лесом. Студеный ветер тяжело раскачивал ветви, продувая все насквозь, вымораживая остатки тепла. Казалось, жизнь уходит из этих мест, остается только пустое ночное шоссе в стылом свете фонарей.

Патрульные потребовали открыть багажник. Там не было ничего кроме сумки Уманца. Сумку досматривать не стали и вернули документы.

— Через час здесь будет пробка в обе стороны, — водитель тихо и зло матерился и уже ничем не напоминал веселого болтуна, каким он было всего полчаса назад.

Уманец молчал, не хотел говорить и думал, что, пожалуй, никогда еще не улетал из Киева с таким тяжелым сердцем.

Четыре часа спустя он вышел из аэропорта Тегель. В Берлине было сыро, тепло и пахло близкой весной. Уманец не знал, как выглядел этот город до войны, но Берлин, впервые им увиденный в начале девяностых, был городом, построенным для жизни. Таким он и остался: зеленым, неторопливым, не то чтобы красивым — не было в нем красоты, — но добротным, спокойным, и здесь ему хорошо работалось.

В конце недолгого пути от аэропорта до отеля на Ан дер Урания угрюмое беспокойство, давившее Уманца всю дорогу, наконец отступило, и он подумал, что, пожалуй, похож на профессора Плейшнера, попавшего в Берн весной сорок пятого года. В этом сравнении присутствовала нота самоиронии, и Уманец не хотел, чтобы она пропала.

Из номера он позвонил Тадеку.

— Ну, наконец-то, — обрадовался его немецкий друг. — Я боялся, что ты вступишь в боевой отряд художников и погибнешь, штурмуя дымящиеся руины виллы вашего президента. У Януковича есть вилла?

— И не одна.

— Хорошо, что ты не штурмовал ни одну из них. У нас слишком много дел. Очень плотный график встреч. Отдохни немного, а ровно в два часа дня я мечтаю увидеть тебя в лобби твоего отеля.

«Лучше бы мы поехали куда-нибудь сразу, — подумал Уманец, — без этой паузы в несколько часов, а то черт его знает...». Он достал планшет и почти все время провел на украинских новостных сайтах. Новостей было много, но хороших он не нашел.

7

Тадек действительно запланировал десяток встреч на три неполных дня. В прежние времена Уманец затосковал бы к концу первой, а после четвертой объявил забастовку. Но теперь, подкачавшись на сучковатых, занозистых киевских бюрократах, упрямство и неготовность которых дешево продавать свои услуги он привык считать обычным сопротивлением материала, в немецких чиновниках Уманец видел людей деликатных и покладистых. Он был готов беседовать с этими плюшевыми мишками столько, сколько требовалось Тадеку. Там где они считали, что ведут себя твердо и жестко осаживают собеседника, Уманец наблюдал только бесконечно вежливые реверансы хорошо воспитанных людей. Тадек тоже обратил внимание на его новые таланты.

— Ты прошел тренинг по бизнес-коммуникациям? — спросил он вечером следующего дня, заказав шницель в шумном кафе на первом этаже Европа-Центр. Уманец успел заметить, что гастрономические привычки Тадека не сильно изменились со времен их не то чтобы совсем аскетичной, но в общем бедной молодости.

— Да. Но диплом не получил. Не справился с контрольным заданием.

— Правда? А каким было задание? Продать бабушке ее любимого кота?

— Нет. Неважно. — О том, как у него отнимали мастерскую, Уманец рассказал Тадеку еще в Праге и возвращаться к этому разговору не хотел.

— А, понял! Это все дух революции!

— Точно, — засмеялся Уманец. — Именно он.

— Хорошо. Давай серьезно. Мне, если честно, сложно понять... Да и многим здесь не понятно. Чего вы хотите? Баррикады на заснеженных улицах выглядят красиво, но это же позапрошлый век. Это смешной, нелепый анахронизм. Вы используете технологии девятнадцатого века, чтобы попасть в Европу двадцать первого. А здесь этого боятся, ты же знаешь. Погасите покрышки, перейдите к бизнес-коммуникациям.

— Да мы бы рады, Тадек. Никто же не хочет воевать. Думаешь, мне в кайф выходить ночью на мороз под прицелы питекантропов в форме? А за ними, за их спинами, за рядами автобусов, даже не двадцатый век, там какое-то совсем уж дремучее средневековье. Оно понимает только силу и деньги. Силу и деньги — больше ничего. Но мы все равно стараемся с ним договориться. И каждый раз, когда кажется, что вот сейчас что-то сдвинется, что-то решим, что-

то получится, оттуда вдруг раздается рев гориллы, потом огонь, смрад, в нас опять летит дерьмо и снова начинается драка.

— Может быть, ты все-таки чрезмерно демонизируешь? Политики — негодяи, но это утверждение — банальность, общее место. Ведь воруют все и всюду: в Германии, в Америке, в Китае. Так устроена система. Европа тоже многим надоела. Некоторые бывает, даже чемоданы пакуют и обещают уехать на холостяцкие квартиры. Потом, правда, распаковывают и остаются. А тут вы с энтузиазмом студентов колледжа, встретивших дешевых проституток. Извини мою грубость... Ваш энтузиазм, конечно, приветствуют, но его боятся. Протестуйте! Но в фильмах, в инсталляциях, в книгах...

— Кстати, — вспомнил Уманец. Он знал, что не сможет убедить вечно осторожного Тадека, и продолжать этот разговор не очень хотел. — О книгах. Твой старый друг Юрко Незгода...

— О! Юрко! — обрадовался Тадек. — Он — мое самое сильное воспоминание о нашей молодости. Таких людей я никогда больше не встречал. Уникальный тип.

— Скажи, ты сможешь найти два экземпляра «Серая»? А то ни у него, ни у меня не осталось.

— Думаю, смогу. Завтра я тебе точно отвечу. Может быть, не два, но одну найду наверняка.

Тадек решил проводить Уманца до отеля. Идти было недалеко, всего несколько кварталов, но Тадек, видимо, не успел сказать в ресторане всего, что хотел.

— Европы, которую вы себе нафантазировали, нет. Осталась только оболочка, мертвые камни и люди-функции. Не думайте о Европе, забудьте о ней прямо сейчас, забудьте немедленно, иначе вас ожидает страшное разочарование, настоящая катастрофа.

— Ровно то же я думал год назад об Украине, Тадек. Даже метафоры подбирал похожие: оболочка, мертвые камни. Мне казалось, что у нас больше нет энергии и неоткуда взяться силам, способным что-то изменить. Но как находятся ответы по мере решения задач, так приходят и силы. Ты просто не знаешь, на что способны люди, которые тебя окружают, ты не знаешь даже, на что способен сам.

— Сам я сейчас способен только спать, — покачал головой Тадек. — Может быть, ты и прав, в том, что говоришь о скрытых силах. Но, знаешь, я бы не хотел оказаться в ситуации, когда потребуется их высвобождение. Пусть я филистер даже в большей мере, чем готов признать, но я этого не хочу.

8

Утром, после раннего завтрака, Уманец ждал Тадека в гостиничном баре. Ему нравилась его простенькая, спокойная гостиница, построенная в конце шестидесятых. Он приезжал сюда уже несколько лет, привык, тут всегда было тихо, останавливался средний класс — бизнесмены и семейные туристы.

В лобби собралось человек двадцать, но Уманец по опыту знал, что через полчаса, от силы через час, все разбегутся. Он сидел с планшетом и листал украинские сайты. Новости с каждым днем казались все хуже, но оторванный от Майдана, Уманец не мог оценить, в какой мере дела обстоят так, как о них

пишут. Со стороны всегда все казалось страшнее, а разобраться в происходящем было сложно.

Рядом с баром на стене висел телевизор. Уманец взял пульт, чтобы найти европейский или американский выпуск новостей. Каналы были забиты утренними шоу — повара крошили салаты, звенели ножи, деловито жужжали миксеры, все это выглядело утомительно и шумно. Пришлось убрать звук. Неожиданно Уманец зацепился за какой-то испанский канал. По серому асфальту, по весенней, чуть подмороженной грязи короткими перебежками сновали в разные стороны люди. Лица их были в саже, одежда в грязи. Картинка держалась на экране несколько коротких мгновений, затем оператор дал общий план, и Уманец увидел Институтскую улицу в Киеве и коринфские колонны Октябрьского дворца над ней.

Чуть в стороне от центрального входа группа вооруженных людей в черной форме с желтыми метками стреляла в сторону Майдана. Они были вооружены автоматами, стояли в полный рост и вели огонь, не скрываясь и не маскируясь, только один из них, вооруженный снайперской винтовкой, лежал на гребне склона. В кого он целился, видно не было, но и сомневаться не приходилось — в кого-то на Майдане. Зрелище это было настолько противоестественным и невозможным, так неожиданно оно свалилось на Уманца, что он решительно не поверил в то, что увидел. Он попытался убедить себя, что просто не знает контекста, ведь не может быть так, чтобы перед камерой, в прямом эфире, открыто, днем расстреливали людей...

Наверняка он неправильно понял увиденное, и этому кошмару есть другое объяснение, простое и способное расставить все по местам. Уманец искал это объяснение, перебирал варианты, но не находил ни одного, между тем группа, продолжая стрелять, отступила в сторону улицы Банковой, а со стороны Майдана медленно нахлынула волна протестующих.

В это время на Институтской несколько десятков человек пытались преследовать «Беркут», уходящий туда же, в сторону Банковой, и вглубь правительственного квартала. В основном там собрались мальчишки лет семнадцати-восемнадцати. Они были вооружены палками и прикрывались щитами, деревянными щитами, обитыми жестью или просто крышками мусорных баков.

Почему уходили с Майдана вооруженные автоматами бойцы «Беркута»? Зачем мальчишки с палками пытались их догнать? Уманец не мог понять сути происходящего, казалось, что само движение протестующих по Институтской прямо под пули невидимых стрелков и было смыслом кровавой трагедии, разворачивавшейся онлайн на жидкокристаллическом экране повышенной четкости.

— Привет! Вот ты где! — К его столику подошел деловитый и бодрый Тадек. — Выпью с тобой кофе, запущу мотор и — вперед! Готов?

— М-м-м? — Уманец мельком глянул на Тадека и опять уткнулся в экран.

— Что там? Война миров? Почему без звука?

Уманец включил звук, и в тихий берлинский бар ворвались хрип и грохот киевского Майдана. Что-то кричали со сцены, то ли призывая врачей куда-то бежать, то ли, наоборот, отзывая их с линии огня. Где-то опять взрывались световые гранаты, а может быть, петарды или салют. Камера была нацелена на четверых мальчишек, спрятавшихся за деревом и прикрывшихся бесполезными фанерными щитами. Дети играли в войну, вот на что это было похоже! И

казалось невозможным, что убивают их по-настоящему. Они о чем-то переговаривались, оглядывались, пытались выбрать менее опасную позицию. Один немного приподнялся, выглянул из-за дерева, разглядывая улицу, и в ту же секунду был отброшен на спину. Пуля пробила тонкий щит и свалила его на асфальт.

— Это что? Что за кровавую жуть ты смотришь тут с утра? — Тадек с испугом покосился на экран.

— Помолчи... Это прямой эфир из Киева. Испанцы дают...

— Это происходит сейчас?

Испанский оператор показал крупным планом второго мальчишку, попытавшегося затащить только что убитого товарища с тротуара Институтской под защиту дерева. Ему пришлось немного высунуться, и тут же его сбил с ног выстрел снайпера. Парень был ранен, он еще двигался, но куртка на его левом плече стремительно краснела, набухая. Убитый остался лежать на Институтской, его кровь стекала вниз по улице, смешиваясь с землей и грязью.

Двое оставшихся спрятались за деревом, не решаясь шевельнуться, не зная, как помочь раненому, не понимая, что делать с убитым и что вообще они могут сделать. Оператор держал жуткую паузу, не отводил камеру, и сотни тысяч зрителей из десятков стран следили за тремя мальчишками, попавшими в западню. Один из них никак не мог перевязать плечо и истекал кровью, двое других просто не знали, как выбраться в безопасное место, потому что любое их неосторожное движение могло привести к гибели. Но они немедленно сообразили, что делать, когда к дереву подбежал человек с носилками. Видимо, это был санитар, хотя никаких знаков, даже обязательного красного креста, на нем не было. Он был в защитной куртке, синих галифе и ярко-алых ботинках. Одной рукой он махал снайперу, объясняя, что выносит раненого, а другой тащил к себе парня в окровавленной куртке. Тот из последних сил дополз до носилок, двое его товарищей быстро взяли за передние ручки, санитар за задние, вместе они подняли носилки, но не успели сделать ни шагу. Снайпер выстрелил санитару в правую ногу. Тот упал, закрывая лежащего раненого, и тогда снайпер прострелил ему шею. Двое, тащившие носилки за передние ручки, не бросили их, и через несколько секунд все были за кустами, в безопасной зоне. К ним тут же подбежали несколько человек, сидевших в укрытии. Санитара перевернули на спину, попытались перевязать шею, но все уже было бесполезно. Оператор поймал его лицо и дал максимальное увеличение. Уманец уже знал, кого он увидит. Рядом с носилками на затоптанном, испятнанном кровью асфальте лежал Юрко Незгода.

— Это Юрко! — прошептал Тадек. — Это ведь он? Посмотри...

— Прошу прощения, господа, — к ним подошел бармен. — Верните, пожалуйста, пульт. Здесь маленькие дети. Родители не хотят, чтобы они видели смерть и насилие.

Уманец поднял взгляд на бармена и молча протянул пульт.... Голова Юрка на экране лежала в луже темной крови. Чья-то измазанная в земле рука закрыла ему глаза.

Оператор снова дал общий план. Три потока — по обоим тротуарам Институтской и вдоль стен Октябрьского дворца протестующие теснили отступающий «Беркут». Та сторона улицы, на которой погиб Незгода, простреливалась активнее, но и здесь движение вверх не прекращалось, и все новые группы

с Майдана уходили вперед. А по противоположной, защищенной склоном холма, майдановцы сумели пройти намного дальше и, кажется, выходили к станции метро. Перед ними открывались Липки, уже безлюдные, но еще опасные. До Верховной Рады оставалось три квартала, до Администрации президента — один.

Бармен переключил канал, но увидев на экране жизнерадостного повара с устройством для ультрамелкой резки овощей, тут же выключил телевизор.

Бар заполнила вязкая, гнетущая тишина. Несколько человек молча поднялись и вышли к лифту. Уманец сидел, уткнувшись взглядом в черный экран телевизора, рядом с ним замер в изумлении Тадек. В какую-то минуту Уманцу послышалось, как немолодой женский голос произнес в пространство уже опустевшего бара: *какая судьба, какая тяжелая кровь*. Он оглянулся, но никого рядом не было, и теперь сам он не мог наверняка сказать, действительно ли прозвучали эти слова и на каком именно языке.

— Вот еще что, — глухо сказал Тадек и положил на столик перед Уманцем «Сераль». — Я нашел у себя только один, больше не осталось.

Уманец потянул книгу к себе и удивился, до чего большой и тяжелой она оказалась. Белая с бежевым отливом обложка, бордовый обрез, матовый лак на страницах и рисунки, которые он сейчас вряд ли признал бы своими. На форзаце скачущим почерком Юрка, очень мягким, уже едва читающимся карандашом, было записано четверостишие. Уманец забыл его лет двадцать назад, примерно через пять минут после того, как прочитал. А теперь словно услышал голос молодого Незгоды, не спеша декламирующего эти короткие строки. Он различал даже нотки нарочитой ленивой усталости и аккуратно спрятанную насмешку над Молекулой — киевской тусовщицей, приехавшей в Берлин делать косметическую операцию.

Вдруг будто ветром разогнало туманную муть, заполнявшую память все прошедшие годы, и Уманец отчетливо и ясно вспомнил Юрка, худого, похожего на отощавшего медведя-пестуна, совсем мальчишку, такого, каким он был в их ранний «берлинский» период.

Начинался вечер, втроем с Тадеком они шли в гости на какую-то вечеринку и остановились перекурить возле подъезда. Тут появилась Молекула. Встреча была неожиданной, вернее, не ожидавшейся — меньше всего в эти минуты думали они о Киеве и киевских приятелях. Молекула тоже удивилась, обнаружив их курящими у берлинского подъезда, и продемонстрировала полный набор девичьих реакций, полагающихся в таком случае: она целовалась, картинно забрасывая руки им на шею, ахала и визжала. Тут же Молекула быстро объяснила, что приехала в Германию немного укоротить себе нос. Проветриться, развеяться, познакомиться с новыми людьми и укоротить нос. На взгляд Юрка, Уманца и Тадека ее естественный, созданный природой нос не требовал никакой коррекции. Были бы они тогда чуть постарше, конечно догадались бы, что Молекула сбежала из Киева не столько резать нос, сколько лечить душевные раны, а нос просто был объявлен виновным во всех временных неудачах Молекулы. Но тогда они ничего этого не поняли и взялись всерьез убеждать Молекулу не трогать нос и сохранить его для будущей жизни. Зато Молекула точно знала, что во всем хреновом, что случилось в жизни, виноват не ее дурной характер, не склочность, лживость и лень, а нос. Был бы он изящнее и тоньше, все сложилось бы иначе. Поэтому уже другим, еще вполне вежливым, но уже сухим тоном Молекула спросила, как у них дела в Берлине. Незгода отвечал, что

все идет неплохо, вот, по программе бундесправительства вышла их бундескнига, и на неделе они с бундесуманцем отправляются в небольшое бундестурне с презентацией «Бундессераль». Кроме того, им на три бундесгода выделена свободная бундесстипендия и, закончив турне, они полетят на южные острова, чтобы спокойно, вдали от Бундесевропы, поработать над новой книгой.

На Тадека слова Юрка почти не произвели впечатления — он понял мало, а даже если что-то понял, то решил, что не все расслышал. Уманец тоже не слишком удивился — Незгону он что ли не знает, или, может быть, прежде не слышал его болтовни? Но Молекула, конечно, ошалела от сказанного и попросила показать ей книгу. У Юрка одна нашлась, и она в полной мере соответствовала всему только что рассказанному. Тень высоких сфер ложилась на «Сераль» и на Незгону. Молекула попросила книгу в подарок.

— Не могу, — отказал ей Юрко с надменным видом бундесстипендиата, человека любимого немецким правительством и личного друга канцлера Коля.

— Жадный? — обозлилась на него Молекула. Только что ее публично пытались поставить на место, указали на то, что она неудачница с уродливым носом. Ей даже какую-то вонючую книгу дарить не хотели.

— Нет. Просто не могу ее тебе отдать. Это моя книга.

Молекулу, выросшую на киевской окраине, такими мелочами было не смутить.

— Там что, это написано?

— Дай мне ручку, карандаш, что-нибудь, — попросил Незгода Уманца и потом быстро записал карандашом на форзаце четыре строки. — Уже написано!

Эта книга есть моя,
И читатель ею я!
Кто возьмет её без спроса,
Тот останется без носа.

Юрко протянул ей книгу:

— Любуйся.

Молекула прочитала и обиделась. Только что ее называли носатой дурой, причем она сама этого добилась.

— Вот же гад, — она ткнула «Сераль» Тадеку и зашла в подъезд.

В тот вечер ни на какую вечерину они не пошли, а напились втроем и, конечно, потом все забыли. Молекула исчезла из их жизни навсегда, а следом и множество других людей и обстоятельств так, словно лестница того подъезда вела не в берлинскую квартиру, а была началом бесконечного космического тоннеля, всасывающего все и ничего не возвращающего.

— Думаешь, это его стихи? — спросил Тадек, глядя в сторону и все же наблюдая за реакцией Уманца.

— Не знаю, — Уманец захлопнул книгу и спрятал ее в сумку. — Послушай... У нас сегодня важные встречи?

— Достаточно важные.

— Тем приятнее будет все их отменить.

— Согласен, — неожиданно поддержал его Тадек. — Что за смысл отменять ненужные и необязательные?... Я закажу водку.

«Все-таки Тадек изменился за двадцать лет, — подумал Уманец, глядя, как приятель говорит с барменом. — Живое меняется, пока длится жизнь».

— Когда ты возвращаешься в Киев? — Тадек вернулся с бутылкой и двумя рюмками.

— Завтра.

— Я постараюсь полететь с тобой.

— Решил посмотреть на баррикады?

Тадек выглядел взволнованным и растерянным. При других обстоятельствах его непривычную эмоциональность можно было бы списать на выпитую водку. Уманец включил планшет.

— Билеты на мой рейс еще продают. Тебе брать? Или подумаешь?

— Бери, пока есть, — не захотел ждать Тадек. — Я же говорил, баррикады — это просто кучи мусора, никому они не интересны. Меня удивили люди. Я почти ничего не понял из того, что увидел — телевизор уродует и искажает действительность, но знаешь, это было похоже на извержение подводного вулкана: чудовищные энергии, кипение камней и испарение океана, вода и лава, и в результате — новая земля посреди воды. Так я представляю себе первые дни творения. Новый мир опасен и смертельно токсичен, но в ядовитой химии зарождается жизнь. За эти дни у меня появилось несколько идей, мы потом их обсудим.

— В Киеве некому работать с твоими идеями. Сейчас Украина — страна без государства, его просто нет.

— Государство нам не нужно, мы все сделаем сами. К тому же я чувствую себя в долгу перед Юрком. Честно тебе скажу, никогда не мог представить себе ничего подобного. — Голос Тадека дрогнул, и он замолчал. — Никогда... Хорошо, что я сказал все это, пока мы не напились.

Инна Кабыш

Всё хорошо

* * *

Кто сказал мне, что жизнь удалась-получилась?
Я не верю тому, кто мне это сказал!
Может, к падшим и я
призывала бы милость,
если б не был мой дух
так убийственно мал.
Если б не был мой дар —
но не будем про это,
если б я —
и про это! —
собой не была.
Вот и кончилось наше убогое лето —
всё я знаю про вечные наши дела.
Всё я знаю про то,
что кончается осень
(потому что не надо большого ума!),
скоро бедные листья
ударятся оземь —
и погибнут,
и их похоронит зима.
И я знаю о том,
что не только, где тонко,
а порвётся повсюду и всё,
даже сталь,
и завидую, может,
беременным только.
Да и то лишь немного,
а больше их жаль.

* * *

Вере Орловой

А на веранде ос, поди,
Там, где халва-ирис.
Так ли уж важно, Господи,
Тихон или Борис.
Сердце трепещет-мается
пташкой в Божьей руке.
Кто это обнимается
на золотом крыльце?
Там, за горами синими —
море большой любви.
Ох, не родись красивою,
а родилась — живи.
Осень с кострами дымными,
золота пруд пруди,
горы арбузно-дынны —
всё ещё впереди.
Будет дорога санная,
будет благая весть.
Жизнь, мой хороший, самая
длинная в мире вещь.

* * *

А ведь казалась трудною
(тесною,
многолюдною),
а ведь казалась сложною
(с вечной твоею ложью),
но —
будто села в лодку я
или за стол в духане —
жизнь оказалась лёгкою.
Как второе дыханье.

* * *

Когда моему сыну было тринадцать,
он жалел берёзки на Троицын день в храме.
Теперь ему 23 — он не ходит в храм,
даже в угоду маме.
Жалеет ли он берёзки?

* * *

И не городите огородов —
не отгородиться никому:
то переселение народов
новый день готовит,
то чуму.
Передел воюющего мира,
ни одной минуты тишины,
словно коммунальная квартира,
пере —

все миры —

населены.

И иголке некуда воткнуться,
я молчу уж — яблоку упасть.
Кто там кесарь нынче,
кто там нунций —
воля ваша, да не ваша власть.
То в подушку,
то в фейсбук рыдая,
лишь детей жалею — не людей.
...Хорошо, что я не молодая
и чем дальше,
тем немолодей.

* * *

Ты привези мне, дорогой,
из ваших мест
не мех, не перстень золотой —
он для невест.
Но есть на северной земле
цветок такой:
как он в единственном числе?
Жарок? жаркой?
Я не наивна, мой родной,
и не юна,
и мне не страшно быть одной —
я не одна:
мой запад весь и весь восток,
и то, и сё ...
Кто просит аленький цветок,
тот хочет всё.

* * *

Вот уж совсем не считаю тебя виноватым —
так и должно было быть
и, наверное, раньше.
Так что неважно — ни с кем,
ни куда,
ни когда там,
ведь в шалаше, хоть горшком назови,
но не рай же!
Вот оно, вот —
выхожу я одна на дорогу:
надо бы глубже — пока получается чаще.
Что-то случится —
не сразу пускай,
понемногу:
жизнь начинается там,
где кончается счастье.

* * *

Не спросясь, всё куда-то заныкали —
и отца, и Отчизну, и мать.
Жизнь промчалась, как будто каникулы —
не успела гербарий собрать.
Лишь успела два тоненьких деревца
посадить за оградой могил.
Спросит Бог: «А тепло ль тебе, девица?»
Я отвечу: «Ну ты и спросил!»
Тут зима, как змея подколотная,
и весна — ненамного добрей.
Сколько встретила в жизни народу я.
Сколько я проводила людей...
Но как в песне: «не надо печалиться»,
сколько б там ни осталось ещё.
Всё хорошее быстро кончается.
Всё кончается. Всё хорошо.

Юрий Осипов

Краткий курс мальтийской жизни с красивой женщиной

(или Большая Белая Акула Как Повод Для Гордости)

Данный текст не является путеводителем в известном смысле этого слова. Вы не найдете здесь чьих-то взглядов, наблюдений и утверждений, помимо авторских. Кроме, разумеется, географических фактов и исторических доводов. Некоторые из достопримечательностей и вех истории острова сознательно опущены или не упомянуты по причине того, что данный текст НЕ является пособием «Мальта за сорок минут». Это скорее записка с пояснением, что можно разогреть из холодильника, которую ваша мама прикрепляла к дверце магнитом. Имена некоторых персонажей изменены или остались за полями, потому что так хочет автор. Так же какие-то моменты мальтийского быта могут показаться утрированными и недостоверными, но именно такими он их увидел и запомнил. Все описываемые события действительно имели место быть, однако не стоит забывать, что их описание может не точно передавать те ощущения, которые автор испытывал в момент их возникновения. Потому что это уже не жизнь, а беллетристика.

Впервые побывать на Мальте мне довелось в составе рабочей группы, проводившей выездное мероприятие для туристов из России. В течение тех дней пребывания на острове я не только не успел познакомиться с кем-нибудь из местных жителей, но даже искупаться времени не нашлось.

Впрочем, нет, один из туземцев все-таки попал в поле моего общения, проявив себя не с лучшей стороны. Это был торговец разноцветным порошком, имитирующим песок различных расцветок (от тунисского красного до невозможного голубого), который он фасовал в стеклянные бутылочки объемом пятьдесят миллилитров. Суть проекта, ради которого мы оказались здесь, заключалась в вывозе группы российских туристов на острова Мальтийского архипелага, с культурной программой, которая включала в себя интерактивную экскурсию по столице, Ла-Валетте. Если вспомнить стихотворение лорда Байрона «Прощание с Мальтой», то можно найти в нем такие строки:

Осипов Юрий Сергеевич родился в 1985 году в Москве. Закончил философский факультет СПбГУ. Прозаик, сценарист корпоративных мероприятий. В 2012 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «малая проза». Живет в Санкт-Петербурге. В «ДН» публикуется впервые.

Прощай, смешная Ла-Валетта!
Прощай, жара в преддверье лета!
Прощай, дворец, пустой и скучный!
Прощай, провинциал радушный!
Прощай, торговец нерадивый!
Прощай, народ многоречивый!

Собственно, этими шестью строчками поэт охарактеризовал Мальту в целом (и столицу в частности) довольно подробно. Но я почему-то не последовал предостережениям Байрона и за это поплатился. Как я уже говорил, помимо банальных вылазок на пляж, ланч, послеобеденную сиесту, гостям острова была предложена интерактивная экскурсия. Интерактивная экскурсия — это разделенные на группы туристы, которые без помощи гида (но при помощи разнообразных подсказок) сами находят достопримечательности, фотографируются на предложенную тематику, а поджидающие их на некоторых точках аниматоры рассказывают им интересные факты из истории города. А чтобы находящимся в состоянии перманентного бодуна туристам было не скучно стаптывать шлепки на холмистом ландшафте Валетты («Прощайте, улочек ступени — по вам взбираться нет терпенья...»), нужны были промежуточные точки. На которых запыхавшиеся соотечественники могли бы: хлопнуть по рюмахе местного вина, угоститься закусками (оливками, чесночным хлебом, сырами), узнать пару нужных слов по-мальтийски (например, важной фразе «худуф сормак» — «пошел в жопу» туристов не научили, а зря) и получить на память сувенир. Одной из таких точек и стала улица Республики, примыкающая к собору Св. Иоанна — на ней располагались торговые лоточки с сувенирной продукцией. Нашего торговца-аниматора звали Виктор — типичный мальтиец с налетом арабщины вперемешку с итальянским стилем. И, конечно, «мальтийским» английским, с мягкими знаками и раскатистым звуком «рэ». Интерактивная станция на улице Республики включала в себя следующее: опохмеленные и благодушные (после дегустации) туристы находят нужного торговца, озвучивают пароль, получают чистые листочки бумаги, на которых пишут свои пожелания, после чего Виктор прячет листочки в склянки с песком и запаивает гипсом. Контингент доволен (на руках есть сувенир, а на следующей точке их ждет хорошо прожаренный мальтийский кролик), Виктор счастлив — за пару часов он выполнил недельный план по стеклотаре. Договор с ним был заключен на простых условиях: половину денег за расходные материалы и само участие он получил до экскурсии, остальное — должен был получить по окончании.

Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Уже четвертая группа (из шести) будущих обладателей разноцветного грунта столкнулась с нерадивостью торговца: подсчитав сумму аванса и количество уже розданных бутылочек, Виктор понял, что уже ушел в минус. И стал истерично требовать, чтобы ошалевшие от полуденного солнца туристы возместили его убытки и заплатили за сувениры. И группа, желая поскорее отделаться от экскурсии и отправиться на пляж, уплатила-таки столько, сколько требовал Виктор. Но следующая команда россиян оказалась не такой стоворчивой, так как состояла большей частью из женщин предпенсионного возраста, которые не лакали вино пивными кружками и с интересом прогуливались по Валетте, обращая внимание не только на надписи SALE. Дамы подняли крик, что, мол, путевка в дальнее зарубежье и так влетела им в копеечку и они не согласны платить 5 евро с носа за песок в шкалике.

У каждой из групп был телефон «поддержки», которым пятая группа не преминула воспользоваться. «Поддержкой» был я, и, услышав в трубке праведный гнев клиентов, поспешил им на помощь, оседлав велосипед. На мой резонный вопрос, какого мальтийского хрена ты, Виктор, творишь, торговец с достоинством отвечал, что он не для того боролся за независимость Мальты, чтобы его потом бессовестно обворовывали бледнолицые. Надо заметить, что Мальта приобрела статус независимости (от Великобритании) в 1979 году, о чем до сих пор повествует своими пустыми бараками заброшенная армейская база британцев на Северном побережье острова, прямо у магистрали Сан-Андрия. На вид Виктор был рожден примерно на десять лет раньше этого события. На мой вопрос, зачем тогда он дятлом кивал во время инструктажа, Виктор обиженно ответил, что не ожидал такой подлости от белого человека и рассчитывал, что за его бутылочки заплатят во время экскурсии. Чертыхаясь, я отсчитал этому прохвосту нужную сумму, чтобы не затягивать время экскурсии: пока я доехал до места событий и перетирал с Виктором, успела подойти еще одна группа туристов.

Торговца, безусловно, можно было понять — к нему приходят незнакомцы, рассказывают про какую-то «интерактивную экскурсию», приобретают несколько десятков бутылочек зараз — есть от чего сойти с ума, не правда ли? Никто, конечно, не собирался кидать его на деньги, но сам факт такого саботажа с его стороны не укладывался в голове. И ставил под сомнение умственные способности Виктора: ну, не понял ты половины сказанного на инструктаже, переспроси, вместо того чтобы второгодником кивать и говорить: «Понял, Мариванна, все понял».

Это был самый тяжелый эпизод за мероприятие, однако он произошел с утра и к вечеру почти забылся. К полуночи, завершив торжественную часть мероприятия гала-ужином для клиентов, мы дружной командой организаторов вышли из отеля, повернули на Санта-Риту и оказались в водовороте тусовочного района Пачевилль, где в клубе «Москва» распили несколько бутылок виски, оглохли от децибелов и почти потеряли друг друга из виду. И уже под утро такой же невыспавшийся, как мы, таксист на мультивэне отвез нас в аэропорт, едва успев на посадку. Опохмелились мы только в Вене, на пересадке.

И вот спустя ровно два года, опять в августе, я вновь ступил на мальтийскую землю, чтобы теперь провести на ней время до следующего лета.

Уже в здании аэропорта, несмотря на исправно шумящие кондиционеры, меня обожгло, будто я нырнул в заварной кофе. Я не помню, как проходила проверка на паспортном контроле в прошлый раз, но в этот мне показалось, что я прилетел по меньшей мере в Израиль. Не говоря ни слова (и даже не взглянув на меня) пожилая женщина скрупулезно сверила все закорючки на заполненных страницах паспорта, несколько раз обращаясь за помощью к сослуживцу в белой рубашке с разводами на груди и подмышках. Когда пасьянс сошелся, безглаголиво отдала мне мой аусвайс, так и не удостоив меня взглядом. Вся процедура заняла минут десять.

Я был раздосадован, пока не увидел табличку на стойке — это был пропускной пункт для жителей Евросоюза. Бедная женщина, наверное, пыталась найти мою родину в реестре стран и не могла. Шучу — конечно же, она хотела меня проучить, чтобы не лез без спросу, а стоял в очереди, как все.

У моей девушки, проходившей паспортный контроль на соседней стойке, все прошло гораздо напряженней. Ей задавали вопросы. На английском. Ответы на них она не всегда знала даже на русском. Ее мариновали в душном помещении больше получаса. За это время я успел получить багаж, так как был уверен, что девушку рано или поздно, но все-таки пропустят — страна, конечно, маленькая, но хватит на всех. Девушка появилась у выдачи багажа раздраженной и погрузневшей: она принимала все близко к сердцу и не желала, чтобы ее несправедливо подозревали.

В дальнейшем выяснилось, что такие санкции применялись в основном к гражданам бывшего СССР и бедным странам Восточной Европы. Особенно, к гражданам. Украинки, белоруски, казашки, русские, молдаванки, румынки, словачки, словенки, сербки — все они выглядели в глазах МИДа Мальты проститутками, непременными стриптизершами и будущими нелегалами. Коротче говоря, ко всем странам, что не входили в ЕС, но стремились в него, а также к недавно вступившим в Шенгенское соглашение относились с подозрением. И мальтийское правительство можно было понять.

Стрип-клубы были оккупированы выходцами из стран Восточной Европы. Реже — девицами с черного континента. Особо удачливые румынки (им везло больше остальных) пересекали по острову на новеньких мерседесах и БМВ и снимали апартаменты в центре Слимы или Сент-Джулиенса. Деньги в стрип-клубах зашибались (по местным меркам) просто отличные: вид оказываемых услуг был шире, нежели было указано в прейскуранте. Некоторым мадам удавалось перейти на содержание к зажиточному мальтийцу, итальянцу или ливийцу уже после пары сеансов привата. Ангажировать девушку на весь день и ночь стоило не меньше 1000 евро. Но в отличие от, скажем, тайских морковок, они не готовили, не стирали и не убрали в доме. Еще бы — белая женщина, венец творения. Такая может только совокупляться, выбирать по каталогу и ориентироваться в меню. Конечно, в ловле крупных рыб везло не всем, и конкуренция была просто дьявольская. Казалось бы, в силу природных данных украинки должны были быть в фаворитках. Но тут давала о себе знать полнейшая неосведомленность в элементарном английском. Еще бы: не входившие в состав СССР государства прививали господствующий язык своим гражданам с начальной школы. И даже последние маромойки знали, что без его знания есть верный шанс остаться на вольных хлебах дунайского княжества. Украинки (а это были в основном жительницы провинции, а не центральной части страны) с английским не дружили, так как дома — не позволяла занятость бытом, а в школах зачастую просто не водилось квалифицированных педагогов. Кое-какие навыки они получали в гостиницах, где останавливались иностранцы, или в частных чатах Live-chat, подолгу врубаясь, что значит «spread your legs wider, you slut». Дальнейшее изучение языка на территории, где он является государственным, осложнялось врожденной ксенофобией и просто не привитой тягой к знанию. Даже если это знание могло существенно поправить их материальное положение. Конечно, рано или поздно хохлушки осваивали азы английского, но к тому времени теряли свое малоросское обаяние. Сразу фартило в основном обладательницам большой груди. В итоге не шибко удачных граждан бывшей великой державы обставляли те, кто был менее развит

физически, но сумел европеизироваться. Русских девушек в стрип-клубах почти не обитало. Соотечественницы по большей части приезжали на остров учить язык и работали обслуживающим персоналом в ресторанах и барах. Если было разрешение — работали по специальности (в основном инструкторами по фитнесу, пилатосу и чему-нибудь такому). Или, когда заканчивался первоначальный капитал (если таковой имелся) находили итальянского (мальтийского, еще реже английского) любовника. Обслуживающий персонал получал ничтожно мало — редкий клуб или бар мог похвастаться ставкой выше 8 евро в час. Некоторые с горя прибивались к сутенерам.

Проституция на Мальте находится под строжайшим запретом — на обочинах никто не голосует, открытых борделей не водится. Нет, ясно дело, что есть и уличные мотыльки, и подпольные дома терпимости, точнее — этажи в жилых домах. Например, в городе Гзира. Или в городе Мсида, но это — со слов Марка, сам так и не удосужился проверить. Католическая церковь осуждает подобный вид услуг, и религиозность мальтийского правительства берет верх (не в пример находящейся в ста километрах от Мальты Италии) над пороком. По крайней мере, для видимости. Проститутки все равно существуют (куда ж без них) и околачиваются в клубах, преимущественно во «Floog 22», который расположен в единственном небоскребе на острове, стометровой башне Portomaso, на 22-м этаже. Из панорамных окон клуба открывался шикарный вид на море и сушу с высоты птичьего полета, и, чтобы им насладиться, требовалось заплатить входные 10 евро. Здесь собирались стареющие деревенские женщины (считается, что все населенные пункты, не являющиеся Слимой или Сент-Джулиенсом и не примыкающие к ним территориально, — это деревня; считается, разумеется, жителями этих двух городов), резервировали столы с диванами у окна буржуазные европейцы в бабочках и отплясывала золотая молодежь острова. К иностранцам в бабочках подсаживались пергидрольные или мелированные русские бабы, которых курировал коренастый сутенер с дивной гривой поседевших волос — эдакий увядающий супермен в возрасте. Иностранцам было плевать, на каком языке говорят эти бабы, само их присутствие рядом повышало статус мужчин в глазах тех, кому не хватило места за столиком. А бабы пили шампанское, не отказывались от кокаина, повелительно ожидали огня к сигарете, инстинктивно смеялись, когда того требовала ситуация, — словом, стоили тех денег, что уплатил за них господин в бабочке.

Естественно, что доходы «беженцев» из Восточной Европы не декларировались, что дико возмущало министра экономики Республики Мальта. Так что отлов нелегалов не прекращался. Но одно дело поймать и совсем другое — предъявить обвинение. Чтобы попасть в страну, достаточно было шенгенской визы. Но туристическая виза имела свои ограничения не только по срокам, но и по возможностям — устраиваться на работу турист не имел права. Для получения учебной визы (гарантирующей возможность проживания на время учебы) было два варианта — поступить в колледж или университет, либо записаться на курсы языка при любой лингвистической школе. Для обучения в ВУЗе требовались аттестат о среднем образовании, около 4000 евро за семестр и международный сертификат о знании языка, которым студент будет лизать гранит науки. Лингвистические школы просили за учебную визу от 90 евро в неделю, что было по карману даже официантам. Если, конечно, они снимали

квартиру втроем, вчетвером, как обычно и бывало. Вторым вариантом было проще, лингвистических школ была уйма, можно было оплатить визу и наслаждаться островной жизнью, практически не появляясь на занятиях. Полиция все понимала, но руки у нее были связаны. Однако тех, кто жил, что называется *under radar*, без визы, рано или поздно отлавливали и отправляли на родину-мать.

Получение рабочей визы было более сложным процессом: кодекс требовал страховки на круглую сумму, наличия заверенных бумаг о квалификации, письма от работодателя и прочей бюрократии. Так что этот вариант подходил далеко не всем барышням, прилетевшим вкушать дольче виты. Вариант женить на себе мальтийца или хотя бы попасть в категорию «партнерши», имевшей официальный статус, был проще и от бумажек не зависел. И если со свадьбой все ясно, то для получения статуса «партнерши» нужно было начинать с малого: при наличии согласного мальтийца «наезжать» на остров года два по приглашению (проживая месяца по три в полугодие), пока МИД не удостоверится в серьезности таких отношений. Но и такой поворот событий не всегда подходил пресловутым русским, украинкам, румынкам, молдаванкам и казашкам, которые бились в конвульсиях в предвкушении сиюминутного счастья.

Из всего вышесказанного становилось ясно, почему «нашего брата» (точнее, сестру) не слишком жаловали на островах, где, по преданию, нимфа Калипсо несколько лет ублажала Одиссея, пока тот жрал шашлык из своих друзей.

В аэропорту нас встречал старый друг моей девушки, коренной мальтиец. Познакомиться с ним мы успели еще в Петербурге, куда он заезжал вкушать местного колорита, то есть — поглазеть на красивых белых женщин.

Марк, так зовут нашего друга, мощный сорокалетний мужчина, в прошлом — мастер спорта по водному поло. Выйдя в тираж, Марк занялся карьерой тренера ватерполистов и весьма преуспел на этом поприще. Собственно, это было семейной традицией: отец Марка проделал такой же путь от стройного юноши в шапочке до грузного мужчины, орущего с бортика бассейна. Марк в кругу друзей не стеснялся самоиронии, когда определял водное поло как самый педерастический вид спорта: зрителям не видно, как соперники выкручивают друг другу гениталии под водой, удерживают за плавки, атакуют в промежность — делают все, чтобы не дать сопернику выполнить бросок или принять передачу.

Марк — закоренелый холостяк, у него несколько женщин в восточном полушарии. На острове обязанности его *fuck buddy* на тот момент выполняла румынская стриптизерша Марчелла, шикарная кукла двадцати лет. Но временами Марку хотелось не торгово-рыночных отношений, но разговоров по душам, и тогда он выписывал себе из чешского Брно бывшую модель Иветту, которой уже перевалило за тридцатник. Марку нравится окружать себя красивыми женщинами. На маленьком острове в Средиземном море наличие красивой женщины играет, как я уже говорил, огромную роль в твоём социальном статусе — тебя видно, когда ты выезжаешь в город со стройной, длинноногой блондинкой. Для многих мальтийцев, по словам Марка, размеры острова представляют угрозу для либидо: завести любовницу тайно от жены или друзей практически невозможно. Даже если завести ее на соседнем острове Гоцо, который мальтийцы используют как «дачу» в сезон, если переводить на российские ценности.

Мы сели в черный джип Марка, обязательно праворульный, и отправились в городок Нашар, находящийся в самом центре острова. Апартаменты в этой области мы нашли через сайт недвижимости еще в Петербурге, и Марк обо всем договорился с агентом, которым оказалась купчинская женщина Наташа, проживающая на Мальте. Апартаменты представляли собой нелегальную постройку о двух комнатах с кухней и туалетом на крыше трехэтажного жилого дома. Особым шиком жилища являлось то, что вся крыша (а это еще метров 50) была в нашем распоряжении. Часть крыши со стороны гостиной (половиной стен в которой были окна от пола до потолка) была отделана под террасу: обеденный стол со стеклянной столешницей, стулья, два лежачка, кактусы в кадках с мелкими камешками и гриб зонта, защищающего от солнца. В хорошую погоду с террасы видны очертания Сицилии, до которой всего 90 километров вплавь. А уж ночью разглядеть итальянскую территорию и вовсе не составляет труда — линия горизонта сверкает огнями, словно в той дали стоит на приколе целая флотилия пассажирских лайнеров. Со стороны спальни терраса была оборудована под бытовые нужды: натянуты веревки для сушки белья, выведен газовый шланг от кухонной плиты, ввинченный в съемный газовый баллон.

Почти все печки, плиты и обогревательные приборы на Мальте работают на газу, так как электричество здесь производится из нефти, которая полностью импортируется. Отсюда высокие тарифы на электроэнергию. Газовые баллоны нужно приобретать по утрам с грузовика, извещающего клаксоном о своем прибытии на твою улицу, как молоковоз во двориках Одессы. Пустой баллон обменивается на полный, с доплатой. Учитывая, что мы изволили проживать над третьим этажом, тащить многокилограммовую бомбу по лестнице было обременительно.

Электричество, помимо осветительных целей, используется для нагрева воды в ванной и кухонной раковине. У зажиточных ребят подогрев автоматический: захотел помыться — помылся. У экономных товарищей есть кнопка (как выключатель света), которой можно включить или выключить обогрев. У нас в квартире была именно такая система, и, чтобы помыться по очереди, необходимо было ждать около часа, пока вода нагреется до подходящей температуры. Но это все — издержки осени-зимы: с начала апреля бак, выходящий на крышу над ванной, начинал нагреваться после восхода солнца, и уже к полудню вполне можно было принять душ.

А вот чего действительно не хватало зимой, так это центрального отопления. Его просто нет, якобы — за ненадобностью, *welcome to sunny Malta*. Но в январе ветра настолько сильные, что без газового обогревателя не прожить — по вечерам змеи холодного воздуха проползают в квартиру и атакуют неутепленные участки тела. Как-то солнечным январским днем такой вот ветерок чуть приподнял стеклянную столешницу (размером 1х1,5 метра и толщиной с мизинец), что стояла на четырех ногах, и тут же опустил. А я потом битый час собирал по всей крыше маленькие осколки, коих набралось на целый полиэтиленовый пакет с ручками. Но стоило ветру стихнуть на одну минуту, как становилось жарко.

Расчетливые мальтийцы устанавливают на крышах домов солнечные батареи, и эта мера действенна в местности, где солнце палит с апреля по ноябрь.

Этой энергии хватает, чтобы снизить счета на электричество, но незначительно. И окупается такая батарея не за один год.

В свое время Сильвио Берлускони предлагал построить на Мальте электростанцию, но жители выступили с протестом, и «крестный отец» сдался.

Итак, нагретой водой из-под крана можно было намыывать тела или посуду — на этом ее функционал заканчивался. Для питья она непригодна, так как отдает запахом — ее искусственно опресняют в специальных установках, выкачивая из грунта или моря. Воду для питья можно купить в любом магазине за небольшие деньги, если брать упаковкой по 6 бутылок.

Что же собственно привело нас, меня и девушку, сюда, на эти рассыпанные между Африкой и итальянским сапогом крошки, представляющие собой мальтийский архипелаг?

Когда-то, во времена последнего ледникового периода, острова были соединены не только между собой, но и имели сухопутный мост до Сицилии. Поэтому обе культуры развивались синхронно, так как были по сути одной и той же местностью, населенной греками. А привело нас сюда (как и древних финикийцев, арабов и норманнов) солнце. Есть старая шутка, что петербуржцы отличают до 500 оттенков серого. По этой причине у нас и появилось желание избежать лютой ингерманландской зимы, добровольно заточив себя на острове, где остановилось время (но об этом — чуть позже).

Подробно расспросив Марка в его приезд в Петербург, я составил (с его слов) общую картину жития на Мальте. Сопоставив факторы отечественной осени-зимы и средиземноморского климата, я склонился к последнему. Девушка меня поддержала. Договорившись о переезде с Марком, мы расправились с нашими карьерными делами — я ушел в творческий отпуск, который мог себе позволить, будучи фрилансером. А девушка — просто уволилась, объявив нелюбимому начальнику средний палец с ухоженным ногтем. Нашей страховкой в том случае, если не удастся нелегально устроиться на работу, была двухкомнатная квартира у метро «Комендантский проспект», которую мы выгодно сдали в аренду. Я продолжил работу фрилансером, работая удаленно, этих денег вкупе с арендной платой нам вполне хватало на жизнь, как у среднего мальтийца. А шиковать мы и не умели.

Я давно взял за правило: в зарубежных поездках, если хочешь составить первичное мнение о народе, населяющем искомую землю, надо просить мало-мальски знакомого местного: «Опиши мне своих соплеменников». И получишь весь расклад, как в личном деле преступника. Ответ Марка был, наверное, самым искренним и объективным (себя от мальтийцев он не отделял) среди всех услышанных по миру:

— Man, they are simply not talented — было первой фразой Марка, он выпалил ее быстро, как заготовленную, словно знал о моем вопросе — Они не умеют создавать что-то свое, все заимствованное — у Великобритании, Италии, чертового MTV и прочих. Даже своего кролика знаменитого мы так готовим на вертеле, потому что так наши предки-рыцари жарили дичь в крестовых походах. Мы все принесли из походов, все привычки и особенности, или нам отдавали это очередные захватчики. Теперь эти походы заменил телевизор. Он заменил им все: мир за пределами Мальты для мальтийцев существует только на экране.

Марк долгое время жил в Лондоне и прожженных островитян не понимал. На мой взгляд, он был абсолютно прав в своей характеристике — прожив на острове достаточное время для изучения непосредственно жителей разных возрастов и социальных групп, я имею право на подобное суждение.

Жизнь на островах накладывает свой отпечаток. Но одно дело прочитать об этом в книге и совсем другое — почувствовать на собственной шкуре. Обязательно хотя бы раз в жизни, пусть на полгода-год, но вырвитесь из своей среды обитания и переместитесь на остров, анклав, со всех сторон окруженный водой. И пуститесь во все тяжкие, пусть со всех сторон журчит не родная речь, не повашему гудят клаксоны, а собаки лают, как на родине, без акцента. Перестаньте быть сити-боями и сити-герлами, получите статус *island dude*, изолируйте себя от большой Земли. И вы поймете, как человек привязан к той местности, где родился. Даже если он не испытывает явных патриотических чувств, то он в любом случае заедет домой похвастаться друзьям и бывшим девушкам своим загаром. На этом и строится космополитизм: чтобы по возвращению бравировать, как ты любишь мир, раз уж пришлось увидеть его целиком. Только убедитесь перед поездкой, что Евросоюз не изменил порядок начисления дней нахождения в себе любимом для граждан РФ.

Островитяне неторопливы и великодушны, они чувствуют себя хозяевами жизни, баловнями судьбы и отчасти — они правы. Остров имеет осязаемые границы, что помогает не терять ориентиры. Время течет так же заметно, как солнце по небу: оно замедляет ход, временами просто останавливаясь. Ограниченность пространства сказывается на генетическом фонде нации: все жители хотя бы в одном колене, но родственники. Кровосмесительные связи сказываются на внешности, здоровье и работе мозга. Поэтому внешность у мальтийцев на любителя. Тлетворное влияние Италии также подрисовывает свои штрихи к фигуре островитянина — пища жирна и подается огромными порциями. Глядя на мальтийских девушек, понимаешь, что девичье обжорство неизлечимо, так же как и женский алкоголизм. На их фоне упомянутые восточноевропейки выглядят богинями плодородия. Мальтийцы выглядят как насильно принявшие Аллаха итальянцы — они чернявы, восточноносы, они говорят на сицилийско-арабском народно-разговорном языке, который с гордостью называют мальтийским. Но десятилетние дети на местном диалекте уже не говорят, их родители уже обританились. В силу арабских корней (арабы, как всегда, пустили в мальтийцах самые крепкие корни) мальтийские мужи невероятно тщеславны и могут кичиться любой мелочью, хоть чуть-чуть возвышающей их над другими мальтийцами. Но белого человека уважают. Шушукаются за спиной, но чтут. Потому что в основном белый человек и приносит культуру на остров: Святой Павел дал острову свое покровительство, Караваджо одолжил одно из полотен, англичане оставили второй государственный язык и комика Билла Конолли, Голливуд — декорацию деревни для фильма «Папай моряк». И ко всему своему наследию мальтийцы относятся настолько ревностно, что зависть берет. Мегалитические храмы древности — повод для гордости всей нации. Но гордость эта не из-за красоты храмов (а они действительно прекрасны, потому что первозданны), а из-за времени постройки — они на пару тысяч лет древнее пирамид, согласно исследованиям. То, что большая часть этих храмов была уничтожена в 19 веке для увеличения пахотных земель, мальтийцы не вспоминают. Пожилой

мальтиец, с охотой перебивающий разговор квартета англичан на автобусной остановке у Золотой Бухты, на голубом глазу заявляет, что католическому храму Ротонда в городе Моста — три тысячи лет. Англичане недоверчиво смеются, но прощают старого человека. Нам бы такую нежность к собственной истории.

В качестве небольшого отступления: далеко-далеко, в Калининском районе Петербурга, на Минеральной улице стоит католический храм Посещения Пресвятой Девы Марии, внутри аскетично и по-настоящему духовно, в фундаменте похоронен сам проектировщик Бенуа. До 1938 года рядом с храмом располагалось кладбище, но после того, как последнего отца настоятеля храма расстреляли, из кладбища сделали полигон ГТО: добросовестные советские рабочие с винтовками и гранатами брали штурмом склепы, постройки 19 века, и метко били по могильным крестам, например, на могиле художника Бруни. Сам храм использовали под картофелехранилище. И только в 21 веке в сильно запущенном виде его вернули обратно католикам. Но и тут издевательствам не пришел конец: часть исконно храмовой земли вокруг часовни уже ей не принадлежит. И в соседнем помещении, через стенку храма, располагается — тададам-дадам — склад алкогольного супермаркета «Ароматный Мир», сама точка продажи тоже неподалеку. И вот уже пятнадцать лет, как католические священники пытаются эту землю вернуть и постройку отвоевать, но тщетно. Был бы храм православный — никто бы не посмел, после развала Союза, отжимать землю, а так — вербисты какие-то нерусские, что они здесь забыли. Нынешний отец-основатель, кажется поляк (или немец), отец Рихард, человек, при общении с которым понимаешь собственную мирскую убогость и на глаза наворачиваются слезы, не теряет надежды восстановить храм. Дай Бог ему победить русский кретинизм.

А на Мальте, если ты въезжаешь в дом, на фасаде которого имеется декоративная лепнина или по краям лестницы стоят монументы, а из стены под окном вылезает раковина фонтана (и таких домов огромное множество), то ты как съемщик или владелец обязуешься перед государством сохранить фасад в первозданном виде. И если из какой-нибудь богом забытой башенки, служившей опорным пунктом где-нибудь в Таффихе, на скале с видом на Ливию, попробуют сделать овощехранилище, то мальтийцы возьмут штурмом Дворец великого Магистра в Ла-Валетте и выкинут правительство к чертям, как Александр I в свое время выкинул Мальтийский орден из Российской империи.

В первый месяц, проведенный на острове, мы вели себя как туристы в статусе гостей. Сначала мы исколесили его вдоль и поперек на вездеходном автомобиле Марка, затем более детально — на скутере Vespa, как завзятые хипстеры: в кедах, с одинаковыми прическами «маффин», в очках с массивной оправой (у меня — с диоптриями, у девушки — с пустышками), не хватало только граммофона с играющей пластинкой. Прическа маффин — это выбритые виски и затылок, волосы зачесываются назад или вперед, в зависимости от длины и пожеланий носителя. Молодых людей в возрасте от 13 до 26 лет, носящих не такую прическу, можно было пересчитать по пальцам. Я выглядел, как все парни, девушка — как очень модная девушка, с которой так и хочется познакомиться. Меня успокаивало то, что маффин этот я взрастил еще до того, в Петербурге. Волосы мои были достаточной длины, чтобы уже через-пару тройку месяцев я мог забирать их в ананасный хвост на макушке, становясь все

больше похожим на дауншифтера. Борода тоже способствовала — без нее образ Робинзона был бы неполным. Девушке борода не нравилась исключительно тактильно, и в поддержку образа подруги Робинзона перестала гладко выбривать низ живота. И до пояса, снизу, стала похожа на героинь фильмов итальянского режиссера Тинто Брасса. Нужен был компромисс: мы сошлись на брутальной щетине на моих щеках и подбородке в обмен на «бразильское бикини» у девушки.

Микроскопичность острова, его небольшие городки, выросшие из рыбацких деревушек или поселений крестьян, настолько «подзабирают» уроженца мегаполиса, что первое время ему трудно смириться, что со своей террасы он может видеть его края.

Площадь столицы республики не достигает и квадратного километра. Летом от наплыва туристов самый популярный город Сент-Джулиенс трещит по швам.

Еще бы, в самом его центре находится район Пачевилль, где сконцентрированы ночные клубы. Внутри которых невероятно дешево (для русского человека) и неожиданно щедро льют алкоголь. Мальтийскую молодежь полощет в три ручья на всех прилегающих улицах. Я не раз наблюдал, как вкусно одетые девушки и дамы в вечерних платьях ползли на четвереньках по ступенькам переулка Санта-Рита — основной тропе, по бокам которой один клуб переходит в другой. Клубы однотипны и ничем друг от друга не отличаются. Ничем. Возможно, дело в том, что у всех у них один владелец — известный мальтийский наркобарон, его имя можно встретить в названиях заведений Пачевилля. А также в том, что молодежью как будто сознательно не занимаются. Их молодость пущена на самотек, они готовы каждый день плясать под одну и ту же музыку (нет, не мальтийскую народную, такой просто нет), эдакую «уц-уц-уц-колбаска».

Люди, которые отвечают за эту музыку в клубах, сами довольно нелепые персонажи. Диджей часто выполняет функцию ведущего, что в его понимании сводится к выкрикам «So sexy people», «Oh, sexy ladies», «VIP is shakin'». Один особо одаренный экземпляр перечислял названия известных ему стран (как бы намекая, что здесь, в клубе, представлены их жители) и восклицал «Oh, my god», за что и получил от нас прозвище Омайгадов. При посещении клубов не покидало то неловкое чувство, что мне уже не стать министром культуры Мальты. Остров укреплен, как форт, даже нацисты не смогли его взять, где уж тут проникнуть мало-мальски достойной культуре? Марк с видом знатока утверждал, что Мальта соревнуется в туризме (и в клубной культуре в частности) с Ибицей и Кипром. Люди, которые побывали на всех трех островах, говорят, что это бредни — Мальта находится в глубоком тылу этой культуры. Хотя для меня эта «культура» сродни огородной.

Внутри Пачевилля сложно не заметить маниакальное пьянство среди молодежи и людей среднего возраста: на моих глазах опрятно одетые ботаники накидывались вусмерть за несколько минут, а крупные особи теряли голову в первые полчаса. Культура питания отсутствует — берут дощечками, по 12 шотов крепкого на подносите. Литровая бутылка водки, виски, джина стоит неприлично мало, подается в ведерке со льдом и кувшинчиками сладкой колы на заливон.

Услышав, что я русский, мне тут же лили водку в стакан. Столичную. На

вкус она была лучше, чем большинство русских водок в петербургских магазинах.

В любом клубе в пределах Пачевилля можно купить кокаин средней паршивости за 50 евро. Для того чтобы получить нужный эффект, мне потребовалось употребить в туалетной кабинке целый грамм за один присест. В качестве трубочки я использовал свернутую карточку на один бесплатный коктейль — их раздают перед входом в любой клуб. Большая часть посетителей используют их для свертывания трубочек или как фильтр для джоинта. Мальтийское уголовное право приравнивает любое наркотическое вещество к тяжелому, поэтому даже за кропаль гашиша карает нещадно. Почувствовав наконец эффект от порошка, я для приличия спустил воду в унитазе и вышел из кабинки. Услужливый негр, расположившийся на табуретке в углу, у двери, предложил мне купить презервативы, флакон туалетной воды или попрыскаться из любого флакона, жестом показал разнообразие чупа-чупсов на подставке — все это за какую-то денежку. Толпившиеся в туалете мальтийцы брали леденцы и опрыскивались заграничными ароматами. И вот так, сытно разнуханными, вкусно пахнущими, с конфетой за щекой, выныривали обратно из светлой уборной в сумеречные дебри клубного помещения. Из женской уборной выбегали, пританцовывая, молодые и не очень мальтийки с конфетной палочкой во рту. Чупа-чупсовый флюс намекал на эротичный подтекст. Возможность для мужчины и женщины вступить в интимные отношения, познакомившись в клубах Мальты, довольно высока. Секс не является табу, как и полигамия. Арабская похотливость и итальянский темперамент превращают мальтийских самцов в кастрированных мартовских котов. И распускаемые ими флюиды оседают на всех, кто окунается в Мальтийское море. Менеджер одного из клубов, француз Самми, каждую неделю представлял мне новую девушку в качестве своей герлфренд. Англичанка Эмили, работающая барменом в одном из клубов, в свои выходные дни снимала в этом же клубе чернокожих для своих колонизаторских утех.

Девушки всех возрастов свободно трутся филейной частью о пах понравившегося мужчины, выполняя ритуальный танец, а через пару композиций уже наглаживают лицо совершенного другого кандидата на соитие. Мальтийские женщины не играют в игру «я не такая», они гарантируют понравившимся самцам возможность половой близости. И это честно — местным мужчинам (как и приезжим) совершенно не обязательно врать, чтобы затащить понравившуюся женщину в постель; ему не нужно говорить ей слова любви, клясться в верности и прочей чепухе — ей даже не будет обидно, если он уже забыл ее имя и вряд ли позвонит потом. Однако какие-то приличия и ритуалы все же сохранены — никто не хватается за руку первую понравившуюся девчонку и не тащит ее в свою крошечную Toyota Vitz (самая популярная марка автомобиля на Мальте). Достаточно предложить девушке выпить или продемонстрировать умение двигать телом в доступной близости от объекта вожделения. А потом все равно угостить ее алкоголем. И так — по всей Европе, с незначительными нюансами и поправками на местный колорит. Европейцы, преимущественно, конечно, молодые, трахаются как заведенные со всеми подряд, они знают, что секс — это здорово. Торжество промискуитета, не иначе. Моя великая Родина тоже постепенно раскрепостилась, но все же пока недостаточно. Хотя, может, что мальтийцу хорошо, то русскому — запрещено УК?

Молодежь жадно пожирала глазами мою девушку, с завистью или презрением поглядывая на меня. Спустя какое-то время девушка перестала краситься в темное время суток — слишком бурная реакция мальтийских парубков не доставляла удовольствия. Но поросль продолжала глазеть на нее и задирать меня. Впрочем, «задирать» — это громко сказано. Молодое поколение наследников ордена госпитальеров — трусы, чикены, как говорил про них Марк, они боятся вступать в открытый конфликт, предпочитая словесные баталии. А мы с девушкой предпочитали не реагировать, я был в ладах с собой и своей гордостью. Иногда, правда и мне случалось принимать участие в словесных перепалках. Здесь конкуренцию мальтийцам составляли итальянцы. В одной из таких перебранок я заявил вконец обнаглевшему итальяшке в расстегнутой рубашонке, открывающей татуировку Христа во весь торс (стычка началась по его вине — он грубо толкнул девушку и не извинился):

— Go fuck yourself!

— No, you go fuck yourself! — очень оригинально парировал набриолиненный макаронник.

— No, I am going to fuck her — я указал на свою девушку и перевел палец на итальянца — and you go fuck yourself!

Парировать юнцу было нечем, так что он разразился бранью на родном языке, от которой у его нарисованного Иисуса кровоточили стигматы. Стоит заметить, что даже если стайка ребят не боялась одного русского паренька с девушкой, то трусила при виде полиции. Копам нечем было заниматься в светлое время суток, и они восполняли нехватку работы по ночам, заполняя улицу Санта-Рита.

Одним словом, Пачевилль — это паноптикум. Не ходите туда, не уподобляйтесь этой скучной чуме.

Итак, клубы полны, кафе забиты, на частных вечеринках на виллах — полна горница людей. Очень своя атмосфера. Отдыхают хорошо. Конкуренция как таковая отсутствует — все ходят под одним хозяином, прямо или косвенно. Это убивает интерес и интертеймент как таковой. Программа у клубов не меняется — зачем чинить то, что работает?

С другой стороны, ходить мальтийской молодежи больше некуда: вне сезона (с октября по май) альтернативы Пачевиллю просто нет. Да и в сезон, в общем-то, выбор невелик, те же клубы, только на побережье. Хотя есть пара действительно достойных мест, вроде регги-клуба Zion в Марсаскале, на юге острова, где играют живую музыку, устраивают какое-то подобие общения зритель-артист, выдают немного конференса, много курят марихуану — клуб совмещает в себе площадку под открытым небом и бар с кухней в помещении. Мальтийская молодежь функционирует в дискотеках в любой день недели, а на выходных клубы открывают дополнительные этажи, чтобы не упустить ни одного желающего оглохнуть под водочку. Раз в месяц проходит очередной католический праздник, объявляемый выходным днем, и у мальтийцев случается маленькая пятница. В сезон к ним добавляются так же не знающие меры англичане, итальянцы, русские. То тут, то там звучит пронзительный русский мат. А от жившего на острове уже год казаха я слышал шикарное по своей эклектике утверждение «of course, на х...!» Вот она, тоска по родине!

С кино и театром дело обстоит не лучше. В кино показывают ту же голливудскую жвачку, что и в большинстве кинотеатров мира: сортирный юмор для подростков, знойные мелодрамы для их мам, лютые экшны для пап. Все, как в России.

Из-за отсутствия зрителя и авторитета католической церкви в кинотеатрах не показывают арт-хаусное кино (например, новый фильм Джармуша), а также фильмы на откровенно наркотическую и сексуальную тематику (и «Грязь» по Уэлшу, и «Нимфоманка» Триера одинаково прошли мимо). «Далласский клуб покупателей» предъявили публике только потому, что картина стала сенсацией на церемонии Оскар. Зато в качестве утешения посреди каждого фильма есть антракт, и народ выбегает из зала пописать, покурить и поесть.

А в это время всего в 100 километрах, в Италии, шел фильм «Трудно быть Богом» Германа, на который я просто не успел. Хотя стоило всего-то купить билет на паром до Сицилии.

Понятия «мальтийский театр» как такового уже не существует. Да, театр Манозль — второй старейший театр Европы. Я имею в виду здание театра, форму. Потому что о содержании можно забыть, если вы хоть раз бывали в Мариинке, Большом, Гранд Опера или Лондонской Опере. Исключение составляет филармонический оркестр Мальты, который дает в театре ежегодные концерты, а классическую музыку испортить невозможно.

Зато мальтийцы любят шоу, в любых его проявлениях. Будь то шоу мальтийских рыцарей, отбивающихся от войска турков, — там славно кормят. Или вокально-танцевальное кабаре Divas, эдакий бенефис эрзацев звезд 80—90-х годов, половина из которых является гей-иконами. Что не удивительно — главный хореограф данного шоу — Феликс, признанная звезда гей-сцены Мальты.

К геям отношение на острове неоднозначное. Насквозь католические мальтийцы, стиснув зубы, проигнорировали легализацию однополых пар, как того и требовал от них Европейский Союз перед вступлением. ЕС, правда, требовал изначально прекратить дискриминацию геев на рабочих местах, но с течением времени его требования по толерантности становятся все настойчивее. А проигнорировали мальтийцы-ортодоксы эту новость потому, что гей-пара получала те же права, что и семья проклятых натуралов, но официально ячейкой общества такая пара не признавалась. Такой вот компромисс: геи рады, что получили возможность становиться официальными «партнерами», а католики счастливы, что бесовские руки не коснулись уз брака. А правительство так просто в восторге — есть смысл развивать гей-туризм. Правда, клубов по интересам всего раз-два и обчелся. Подобий «Кабаре на Коломенской» и «Центральной станции» на Мальте я не встречал.

Август и сентябрь, пока не кончился сезон, мы провели как отпускники: как только вопрос с культуркой был выяснен, оставалось только нежиться на пляже, гонять на водных скутерах, нырять с аквалангом, пробовать свои силы в кайтсерфе и парамоторинге (на парашюте да с моторчиком Карлсона за спиной), есть, спать, reverse, repeat.

С закрытием сезона, когда купаться стало невозможно, перспективы открывались не самые радужные. Нет, чего греха таить — погода на Мальте почти круглый год стоит солнечная, и даже январские ливни и ветра воспринимаются как дань природе: давайте прервемся, подумаем о душе, пока за окном барабанят капли и развеваются листья пальм. Сначала выручала работа, коей перед Новым годом скопилось достаточно. Но после праздников и до марта наступил мертвый сезон. Остров Мальта, да и соседний Гоцо, были исследованы вдоль и поперек уже к ноябрю. Под «вдоль и поперек» я подразумеваю, что были посещены все достопримечательности из путеводителя, а также те, которых в нем не было, но показал Марк. Он также провел экскурсию по большинству лучших ресторанов, включая любимый ресторан четы Питт-Джоли в Валетте, начиная с мальтийской кухни, продолжая итальянской, затем мексиканской, далее индийской, китайской, греческой. В нескольких японских ресторанчиках выяснилось, что российские суши — самые вкусные из всех, что я пробовал. Новостью это оказалось только для меня. Как и во всех странах старушки Европы, пользовались спросом кебабницы, в некоторых можно было добавлять в питу с бараниной «русский салат» — картошку с морковкой под майонезом. Такой кебаб можно было рубануть, пройдя двести метров от нашего дома, и я поправился на несколько килограммов уже через несколько недель. Пришлось переходить на домашнюю еду — когда закончились неизведанные уголки острова, мы зажили обычной петербургской жизнью.

Обычная жизнь подразумевала достойное питание за умеренные деньги. Нам повезло — рядом с нашим домом находился аналог французского Carrefour, сети магазинов эконом-класса, супермаркет GS store. Я и на родине был равнодушен к гастрономическим изыскам, так что не брезговал покупать здесь недорогие и практичные консервы: тунец, тушеная говядина, фасоль в сладком соусе, кукуруза. В деликатесном отделе можно было отхватить вкусного сыра с паприкой дешевле, чем запаянную нарезку в сырном отделе. В алкогольном углу продавались замечательные вина по 5-7 евро. Довольно часто удавалось не оплачивать упаковку с водой — я просто провозил ее мимо кассы в продуктовой тележке с ручкой. Овощи и фрукты выгоднее и вкуснее было покупать с грузовичка фермеров, которые также останавливались по соседству. Из овощей мы варили отечественные супы, с гущей, потому что кремовые вариации за желудок не трогали и сил не прибавляли. Под Новый год мы со скидкой купили в GS двухсотграммовую банку красной икры. А к самому празднику приготовили оливье, рыбный и крабовый салаты.

Новый год для Мальты является скорее хронологическим праздником, нежели семейным. Для семьи у них имеется Рождество. Мы не планировали отмечать этот праздник по католическому календарю, однако Марк все решил за нас. И пригласил нас на рождественский ланч к своим родителям. Присутствовал также младший брат Марка Кит, его жена Рут и сын Джастин. Сам Марк был без спутницы, о чем он сильно переживал за столом, отбиваясь от подколов Рут о старческой дисфункции. Родители Марка произвели на меня впечатление: люди с живым чувством юмора, они провоцировали сыновей и невестку на родственные шутки, вежливо задавали нам провокационные вопросы и ругали правительство. И внезапно оказались расистами. Это потом мы уже выяснили,

что большинство (да почти все) мальтийцы за сорок — расисты по отношению к арабам и чернокожим. А тогда нам это показалось невероятным. Кит был приятным мужчиной за сорок, со стильной седой бородой и таким же ежиком на голове. Рут выглядела, как русская женщина 21 века — высокая, распущенные каштановые волосы, лисьи черты лица, она много курила и уже с начала праздника была слегка пьяна. Десятилетний Джастин не страдал дефицитом внимания, поедал лазанью, пил газировку и слушал, о чем шутят взрослые. А взрослые шутили о геях и гомофобии, об арабах и неграх, поведении мальтийцев за рулем, детстве Марка и Кита, взрослении Марка и Кита и о том, что Марк уже старый и его никто не любит. Наш друг не обижался на родню, воспринимая их слова с должной долей самоиронии, отвечая, что да, он не совершенен, но и лазанья подгорела. Хозяйка дома высказывалась по поводу нового правительства, за которое она голосовала. Разговоры о политике обычно меня раздражают, но тут следует сказать несколько слов о политическом устройстве Мальты и отношении к нему мальтийцев.

Начну с событий, произошедших уже после рождественских праздников и Нового года. В какой-то из весенних дней в Генассамблее ООН прошло голосование по поводу отделения Крыма и принятия его в состав России. Мальта проголосовала за «непризнание Крымского референдума». В то утро Марк заехал в гости и на полном серьезе стал расспрашивать меня: правда ли, что после Крыма мы примемся за Аляску? Он видел соответствующие фотографии в facebook.

Конечно нет, ответил я, впрочем, не очень уверенно. Моя великая Родина способна на все, как супермен. Ее, как поставленного над тобой в офисе руководителя, временами сложно понять. В популярном сериале о буднях американского правительства *House of cards* главный герой — идущий напролом к президентскому креслу конгрессмен Фрэнк Андервуд — почитывает на досуге «Государство» Платона, однако ратует скорее за «Политику» Аристотеля (было бы странно, если бы янки отрицал право на частную собственность), а поступает вообще по сценарию «Государя» Макиавелли. Но снаружи Белого дома его действия непонятны простому американцу. Но США — страна огромная, а Мальта по площади и населению меньше Род-Айленда, самого крошечного штата. И действия правительства видны как на ладони. Выборы правящей партии на Мальте — очень серьезное дело как для политиков, так и для простых горожан. Явка всегда не меньше 90%, кандидаты от партий не брезгают ходить по домам электората, по телевизору идут жаркие дебаты, на обочинах дорог стоят билборды с сатирой одной партии на другую и т.д. Именно в политических баталиях темперамент мальтийцев открывается полностью, как сообщил мой знакомый русского происхождения, живущий на Мальте уже несколько лет. Уже через несколько минут после оглашения результатов в 2013 году Слима и Сент-Джулиенс наполнились людьми с флагами, клаксонящими автомобилями, громкой музыкой. Ощущение было, как в Петербурге, когда «Зенит» взял кубок UEFA. В этот раз победили социалисты, составив большинство в парламенте. Христианско-демократической партии повезло меньше.

Социалисты недолюбливают ЕС, стараясь показать жителям Мальты, что решения правительства принимаются им самим, а не по указке Европы. И слава

Богу — ЕС упирает на то, что Мальта обязана принимать у себя всех беженцев с черного континента, выдавать им визы, работу и прочее. В ответ на это в августе 2013 правительство Мальты отказало в высадке сотне ливийских беженцев, которых подобрал танкер «Салами», идущий под флагом Либерии.

Ситуация такова, что, вступив в ЕС, Мальта стала перевалочным пунктом для бегунов из Северной Африки на Большую землю. До этого самым популярным трамплином в Европу для беженцев служил итальянский остров Лампедуза.

Тем не менее хотя правительство не сильно жалуется бегунов с «первой земли», они все равно проникают всеми возможными способами. В итоге, не желая, чтобы вся эта братия шаталась по острову, для них создали центр временного содержания Safi. По мнению Европы, этот лагерь — новый Бухенвальд. Им невдомек, что, пребывая за пределами лагеря, беженцы начинают портить показатели органам правопорядка — Мальта считается самой безопасной страной в Еврозоне.

Самые опасные типы на улицах — арабы, преимущественно ливийцы. Шикарные автомобили, от спортивных Феррари и Мазератти до элегантных Бентли, имеют арабскую вязь на номерах. Ливийцы, проживающие на Мальте, делятся на два типа: опасные и притворяющиеся. Первые, в случае уличного конфликта, могут пырнуть ножом — эта категория является чем-то вроде «братухи-борцухи» из кавказских республик. Вторые — притворяются, что они не такие, как первые. Держат себя в узде, пытаются создать видимость цивилизованного человека. Я знал двух ливийцев, Абдулла и Мухаммеда, которые принадлежали скорее ко второй категории, но легко могли сдать на первую. Абдулл выглядел, как пресс атташе Аль-Кайды: на фото в facebook он был запечатлен на фоне флага своей страны, в руках сжимал Ак-47, и только его безупречный дорогой костюм говорил о несерьезности снимка (или мне так казалось). Мухаммед выглядел, как актер Болливуда: плотный, даже тучный, с индийскими губами и носом, с распущенными до плеч черными прямыми волосами. Он скорее походил на арт-директора той же организации, что и Абдулл. Мухаммед рассекал по Европам, пребывая на Мальте не больше недели в месяц, при встрече здоровался со мной по-русски и докладывал, как чудно было в Амстере, а в Лондоне (вот тебе на!) шел дождь. Я живо представлял себе, как он вербует в свою организацию сивых бриттов в пабе на окраине Лондона. А Мухаммед коротал вечера в Пачевилле, пил Курвуазье и несколько раз на моих глазах сильно пачкал свои дорогие костюмы.

Опаснее арабов были только прилетавшие на уикенд англичане, обычно путешествующие грядкой не меньше десяти перцев. Эти захватывали бар-клуб, выпивали весь стаут, чередуя его с шотами крепкого, и шли искать приключения. И находили французов, к собственной радости. Французы, в отличие от мальтийских банд, не трусили, но проигрывали почти всегда. Иногда англичане встречали на своем пути русских с пустыми стаканами, что, как известно, — к беде.

За время жития на острове подраться на улице мне случалось два раза. Первый раз был полностью по моей вине, я выпил лишнего и вожжа попала под хвост: если бы не вмешавшийся таксист, ожидавший меня в кэбе, трое арабских молодчиков могли бы существенно исправить мне прикус.

Во второй стычке я виноват не был. Есть в Пачевилле, прямо у отеля Intercontinental, маленькая пиццерия под названием Eat me — I'm famous, работающая круглосуточно. За стеклянной дверью — прямоугольное помещение, четыре на два метра, на уровне груди — стойка уголком, как в шаверме на углу Невского-Литейного, чтобы облокотиться и поесть. Однако ночью все предпочитают заказывать у прилавка, выходящего на улицу, и поесть пиццу под открытым звездным небом. По ночам за главного тут невысокий, но жилистый бритоголовый мальтиец лет сорока, которого мы называли просто — Шеф. После полуночи в его заведении играли композиции Doors и классические альбомы Metallica. Опосля Пачевилльской долбежки это было словно уши после ванны почистить. На почве музыки мы как-то и разговорились, сошлись в музыкальных пристрастиях, и с тех пор Шеф делал нам с девушкой скидку на пиццу. А пиццу он готовил, на мой вкус, лучшую на острове. Он создавал ее у вас на глазах, собственноручно разминая и раскатывая тесто, придавая ему пышную форму, обильно посыпая ингредиентами, любовно устанавливая ее в печи прихватом с длинным черенком. Свежая пицца дымилась и обжигала нёбо. Иногда, в особенно многолюдные ночи, Шеф работал с помощницей, которая принимала заказы.

В ту ночь, мы с девушкой, возвращаясь откуда-то через Пачевилль, заглянули к Шефу на огонек. Перед нами в очереди стояла еще одна пара, которым мешал здоровенный негр — он что-то произносил в их адрес, мальчик с девочкой, дрожа, пытались его не замечать. Когда подошла наша очередь, выяснилось, что помощница Шефа пытается заставить черного верзилу заплатить за съеденное, а тот не реагирует. В конце концов она махнула на него рукой и приняла наш заказ, получила оплату и поставила на прилавок две тарелки с четвертинками пиццы, на которых еще кипело масло. Пока я отвлекался на сдачу, негр сделал первую попытку дотронуться до моей тарелки, но я вовремя заметил и отстранил его руку, показав пальцем — не надо так делать. Негр улыбнулся из-под козырька своей кепки и снова протянул руку к тарелке. Продавщица за прилавком еще раз напомнила ему об оплате, он опять сделал вид, что не услышал. Я во второй раз отвел его руку, пихнул его в грудь, забрал обе тарелки, и мы с девушкой отошли к столику на тротуаре. Пристроившись, мы обнаружили, что негр последовал за нами. Он вплотную приблизился ко мне и теперь глядел сверху, оказавшись на полголовы выше меня. Я в очередной раз, уже обеими руками вытолкнул его с тротуара на проезжую часть, все еще надеясь, что стычки можно избежать. Не тут-то было, негр остановился на проезжей части, поймал равновесие, сделал шаг ко мне, широко размахиваясь рукой от плеча. Я поднырнул под его руку, поймал его шею в локтевой сгиб руки, подсек правой ногой его опорную и повалил на асфальт. Не рассчитав, запутался в его ногах и больно ударился коленкой. Оказавшись верхом на оппоненте, я высвободил правую руку и несколько раз прицельно ударил его в глаз и висок. Потом чьи-то сильные руки подняли меня вверх и поставили вертикально. Немногочисленные посетители пиццерии решили-таки вмешаться в конфликт и разняли нас (и что-то мне подсказывает, что, будь негр в моем положении, они бы не вмешались).

Меня оттащили от противника на несколько метров, девушка была рядом: я вдруг понял, что это она кричала все это время Stop it!, испугавшись. Я пристально вглядывался в группу людей, поднимающих негритоса, нас разделя-

ло метра четыре, можно одолеть в один прыжок. Парень чернокожий поднялся, отпихнул помощников и всем своим видом показывал, что готов продолжить. И тут из дверей пиццерии выскочил Шеф, на ходу срывая с пояса фартук. Он оказался вдвое меньше негритоса, что, однако, не помешало ему в прыжке ударить кулаком по черному лицу. Негр почти упал плашмя, успев в последний момент принять упор лежа. И тут же получил носком моего кеда в переносицу. Кажется, мне самому было в этот момент больнее, чем негру. Шеф еще добавил ногой по почкам обмякшему телу, сплюнул, бормоча какие-то мальтийские ругательства, и вернулся через дверь на кухню. Девушка взяла меня под руку и потянула за собой в нужную нам сторону. Я обернулся назад через пару метров и обнаружил, что негр почти поднялся, пошатываясь, и мотал головой в поисках, видимо, своих противников. Вот это сила духа. Когда-нибудь чернокожие будут доминировать на всей планете, они более развиты физически, при желании — они победят. Все так, как и хотел Чарли Мэнсон.

В целом же Мальта действительно соответствовала титулу самого безопасного государства ЕС. И, как утверждал Марк, обладала самым ленивым полицейским управлением в мире.

Через какое-то время я как будто сам стал мальтийским служителем закона. Зимой на Мальте совершенно нечего делать — дуют ветра, идут дожди, рано темнеет и приходится занимать себя в домашних условиях.

Целыми днями я читал книги, которые за неимением бумажных аналогов, закачивал в ebook. Как раз вовремя меня настиг Сомерсет Моэм и его самоанский цикл, который и подтолкнул меня описать период жизни на Мальте. Только герои его малайских рассказов, белые миссионеры, относились к туземцам с большим пиететом, нежели я — к мальтийцам. В остальное время мы с девушкой пытались подтянуть свой английский и выучить итальянский (для последнего мы использовали скачанный с торрентов блок выпусков «Полиглота» от телеканала «Культура»). Скачивали новинки кино, иногда рублились в подаренную мне на Рождество Марком приставку Sony Playstation, занимались любовью, полдничали черным кофе в центре Нашара. Раз в неделю вместе с Марком стреляли по тарелочкам из ружья «Байкал» на полигоне и играли в боча (мальтийский вариант петанка), посещали казино и сауну при отеле Хилтон.

От однообразия дней я стал чаще курить марихуану.

Мой первый мальтийский джойнт я купил у таксиста. Это был морщинистый, лысенький, лукавый старичок, похожий на старого Пикассо, по имени Карлос. Карлос водил желтый кэб как остаток наследия англичан: всего на острове этих автомобилей застряло не больше десяти штук, а то и меньше. Кэб, как вид такси, нравился мне сравнительно больше остальных автомобилей с шашечками: в нем можно было вытянуть ноги или вчетвером сидеть напротив друг друга, как в карете. Мы часто пользовались услугами такси за неимением водительских прав, а Марк договорился со знакомой компанией, чтобы и плату с нас брали божескую. Однажды мы пришли на место подачи кэба и обнаружили, что водитель стоит снаружи и курит сигару. Я тоже достал табак и стал крутить себе папироску. Водитель, это был Карлос, живо заинтересовался, что это такое я курю. Табак, ответил я. Карлос участливо улыбнулся и сказал, что

курить ganja гораздо полезней. На том и порешили: в следующий раз Карлос привез мне грамм белой вдовы. Вдова была такая «злая», что удалось растянуть этот вес на неделю: я вставал с утра, наливал чай или кофе в чашку, садился в раскладное кресло на террасе с видом на море, включал музыку на айпоне, закуривал джойнт и закрывал глаза. Через пару часов шел завтракать. Если на улице гулял ветер, я проделывал все то же самое, но на диване. После завтрака мы выходили прогуляться в центр Нашара, поглазеть на местных с балкона кофейни или пополнить запасы продовольствия. Вторую папиросу я курил на лавочке у центрального собора, напротив располагался бар фанатов местного футбольного клуба «Нашарские Львы», у которого постоянно тусовались молодые люди в трениках.

Третий джойнт выкуривался после ужина, мы садились на диван в living room, выключали лампу, и единственным источником света становилась залитая огнем церковь соседнего городка Гхаргур. Города на острове плавно перетекают один в другой, как микрорайоны в большом городе: выходишь из ворот Валетты, обходишь фонтан Тритон, и вот ты уже во Флориане. Раньше, когда указателей местности не существовало, мальтийцы ориентировались по церквям. То есть церковь была (и есть) градообразующим учреждением. Внутри всех без исключения храмов на Мальте по-католически неуютно, меня всегда раздражали гигантомания или напускное роскошество. Но с этим можно мириться, если покурить перед входом и рассматривать храмы как арт-объекты.

В следующий раз я взял у Карлоса уже 10 грамм и решил снизить частоту потребления. Не помогло: даже если курить по чуть-чуть каждое утро, весь день находишься в состоянии АСМР: автономной сенсорной меридиональной реакции. Все чаще начинаешь испытывать приятное покалывание в мозгу, просто медитируя на кактус за окном или лампу, выполненную в форме dream machine Брайана Гайсина. Постепенно перемещаясь по квартире, я стал чаще присаживаться за Playstation и в считанный месяц деградировал. Не играйте в видеоигры, они отнимают уйму времени, ничего не отдавая взамен, кроме красных белков и бегущей строки в зрачках. Playstation я продал Карлосу за внушительную плитку гашиша, он все равно остался в выигрыше. Сидя в его кэбе напротив зеленого поля, этот старый мудрый Карлос рассказывал, как он терпеть не может своих ровесников таксистов, которые так и не удосужились нормально выучить английский. Что правда, то правда: пожилые таксисты говорили на английском чуть лучше, чем их сочинские коллеги перед Олимпиадой. Иногда они не понимали, что мне нужна сдача, или впадали в ступор от слишком сложной формулировки «на кругу направо», «остановитесь вон у тех ворот с цветами», и приходилось односложно управлять ими «налево, направо, вперед, разворот, здесь». Впрочем, иногда и поколение помоложе удивляло: для подключения к интернет-провайдеру требовался паспорт, я отдал свой документ операционистке, зачем-то в раскрытом виде на странице с последней визой. Когда утром мне позвонил мастер-установщик, который должен был принести роутер и настроить сеть, то я долго не мог понять, каким именем он меня называет. Когда же он появился (выглядел он как типичный сисадмин — крупный и в бороде) и подключил нас к сети, то выяснилось, что в договоре я значусь как Pietari Shenghen. То есть — Петербург Шенгенский. В другой раз курьер из доставки (мне пришла посылка от подруги из США) долго не мог понять, какую такую

посылку я хочу и где я нахожусь — при встрече оказалось, что он мой ровесник, а может и чуть младше. И уровень его английского был значительно ниже моего. Карлос усмехался, прибывая джойнт, и, соглашаясь, кивал, слушая мои наблюдения о жизни на острове. Когда он закончил процесс, мы вышли из кэба и закурили.

— Но знаешь что? — взгляд Карлоса повис над полем. — Мальтийцы, конечно, не сахар. Но зато мы не торгуем улыбкой, понимаешь, о чем я? Мы не слоняемся по улицам, растянув рот до ушей, и не делаем вид, что у нас в данный момент все гуд. Зато, если ты обратишься к любому мальтийцу на улице — я имею в виду, конечно, к человеку старше тридцати лет — за помощью, то увидишь, что мы всегда готовы помочь. Просто нам совсем не обязательно при этом всем своим видом показывать, что мы осчастливлены твоей просьбой, понимаешь, о чем я? Мы не имеем ничего общего с этими европейскими лицемерами, которые улыбаются, как идиоты, но проходят мимо твоей беды. Может мы и не первые на планете, но уж точно и не последние. И потом — Карлос хитро улыбнулся — ты знал, что самую большую в истории белую акулу поймали у берегов Мальты? Понимаешь, о чем я толкую?

Да, я понимал. Через неделю Карлос поведал мне, что его дилера сцапала полиция и травы какое-то время не будет, так что не могу ли я продать ему немного гашиша? Я отломил ему по-дружески, Карлос удивился и благословил меня, мою девушку и мой род. И пропал: больше я не видел его лица за стеклом на водительском сиденьи кэба, телефон его был выключен. Старый добрый Карлос, я надеюсь, с тобой все в порядке и ты не угодил в тюрьму, а просто ушел в тень на какое-то время. Оставшийся гашиш я продал по номиналу знакомым сербам из Пачевилля. Как я уже говорил, любые запрещенные вещества приравнивались к тяжелым, и сроки за них выдавали в два счета. Так что «Страхом и Ненавистью» на мальтийский лад никто не промышлял.

Зима прошла, прошмыгнул первый день весны, и погода постепенно становилась все жарче. Мы вернулись к обычным занятиям островитянина, не обремененного работой с 9 до 5. За месяц до официального открытия сезона погода выправилась настолько, что появилась возможность снова нырять с аквалангом. Моим первым инструктором был юноша по имени Тайрон, настоящий корифей своего дела. Тайрон был того типа людей, которые готовы на все ради адреналина. Он и внешне и внутренне напоминал героя Патрика Суэйзи из культового фильма *Point Break*: подтянутая фигура, длинные выгоревшие локоны до подбородка, медная кожа. Он быстро и внятно рассказал мне, как продвигаться и пользоваться кислородным баллоном, куда вставлять трубки, зачем нужны клапаны, о важности индикатора уровня кислорода и научил базовым знакам под водой, которые по первости многие путают. Например, поднятый большой палец вверх означает не «Все оллрайт», а «Я хочу всплыть». «Все оллрайт» — это кольцо, образованное большим и средним пальцами.

Мы облачились в гидрокостюмы, Тайрон помог мне повесить за плечи баллон, и мы прыгнули в воду, перед этим поплевав и размазав слюну по линзам масок. Я оказался слишком легким и ушел под воду только с третьей попытки, когда Тайрон пристегнул мне на бедра пояс с грузом. До этого я барахтался на

поверхности, нажимая клапан, который освобождал компенсатор от кислорода, чтобы наконец погрузиться. Плюс — мне было страшновато и непривычно дышать через акваланг, я боялся, что соленая вода проникнет под маску и разьет мне контактные линзы. Отчаявшись испытать опыт подводника, я уже готов был отказаться, когда Тайрон подплыл ко мне поближе и сказал дословно следующее:

— Слушай, ты же из России? Я видел по ТиВи, как ваш президент ныряет с аквалангом. Я не понимаю, почему он может, а ты нет?

Через несколько минут я осторожно преодолевал глубину в два метра, останавливаясь, чтобы стабилизировать давление, разрывающее барабанные перепонки. В тот раз мы опустились на тринадцать метров и пробыли под водой всего около получаса, из-за того что от волнения я слишком часто дышал и израсходовал кислород в баллоне раньше положенного.

Впоследствии я еще несколько раз совершал погружение в обществе Тайрона, но получить средний уровень подготовки не успел, не позволили погодные условия: у меня было два месяца в конце сезона и один в начале следующего. На заброшенном танкере, затонувшем буксире и немецкой подводной лодке я так и не побывал. И статую Христа на глубине в сорок метров тоже упустил. Ее установили на дне морском, в двух километрах от острова в честь Иоанна Павла II. За время, прошедшее с этого события, статуя поросла подводной флорой и стала похожа на партизана-бирюка. Чтобы потрогать ее шершавую поверхность руками, в начале моей дайверской карьеры мне не хватало опыта, в конце — не позволяла погода. Христос так и остался стоять на дне, протянув вверх руки, призывая к себе. А может быть, наоборот, обвиняя — я вам не декорация аквариумная!

Мои погружения носили скорее медитативный характер, нежели приключенческий. Под толщей воды необычайно тихо, звуки разносятся на уровне вибрации, и слышишь ты в основном только свои мысли и дыхание. Состояние невесомости, состояние открытого космоса — вот с чем обычно сравнивают погружение в глубины морей и океанов. Для меня же, психонавта с опытом, данная история была сравнима с вылетом на психоделическую орбиту. Времени не существовало: как и преграды пространства, оно осталось где-то над головой, в лучах солнца. Я опускался на 10-12 метров (именно на такую глубину разрешил мне опускаться самостоятельно Тайрон) и дрейфовал среди морской флоры и фауны. Морские ежи целились в меня своими иглами, мурены прятались в скалах, над головой разрезали поверхность воды скутеры, которых следовало опасаться, а я лежал на спине и ощущал все вибрации, помимо привычной дрожи мобильного. Наверху люди бьются за оффшор, пьют красное вино и тиранят своих детей, а я тут, вместе с Вечностью. Тысячелетия назад я вышел из воды и вновь в нее вернулся. Я был дома.

Как гражданин ЕС вы можете свободно перемещаться в пределах Еврозоны и даже, в некоторых случаях, летать за покупками через Атлантический океан. Эта свобода перемещения дорогого стоит, в буквальном и переносном смыслах. С недавних пор некоторые страны стали практиковать покупку гражданства. В момент моего нахождения на Мальте ее паспорт стоил больше полумиллиона евро. А чтобы получить вид на жительство, достаточно было приобрести недвижимость на сумму в триста тысяч. Еще вариант — получить разрешение на

работу. Но с учетом того, что Мальта вступила в ЕС хитрым способом и оставила за собой право выдавать разрешения на работу даже европейским гражданам, не-европейцу приехать и остаться катастрофически тяжело. Даже если он востребованный специалист. Коим ваш рассказчик не является.

Но черт побери, свободное перемещение по Старому свету пока тебе еще позволяет здоровье — это ли не кайф для рожденного в СССР?

Несколько раз мы с девушкой выбирались на Сицилию — в Термину и к вулкану Этна. Смена обстановки действовала, несмотря на очевидное сходство образа жизни сицилийцев и жителей Мальты. Сойдя с парома, мы сели на автобус и помчали по дорогам навстречу к вулкану. Открывающийся пейзаж комментировала русский гид Анна, обладавшая весьма экзальтированной манерой речи: что-то среднее между Ренатой Литвиновой и Ангелиной Вовк. Чтобы хоть как-то заинтересовать русского туриста, Анна делала акцент на историю Коза-Ностра, дона Корлеоне и Омерту. Турист все равно норовил уснуть, просыпаясь только на остановках для дегустации вина и сладостей. У подножья действующих кратеров ютились лавчонки с сувенирной продукцией, бижутерией, сладостями и спиртными напитками, работала закусочная. Пока девушка мерила блестяшки и цацки, продавщица лавки предложила мне стаканчик семидесятиградусной настойки, чтобы я, видимо, не скучал. На этикетке было изображение извергающегося Этна. После дегустации чуть не извергся я. Надышавшись разряженным воздухом и не потеряв ни одного попутчика, автобус повез нас обратно. Пройдет месяц, и капризный вулкан снова заявит о себе как действующий. И сотрет лавчонки с лица земли, без человеческих жертв. Извержение, точнее дым столбом, я наблюдал, потягивая сидр на нашей террасе.

Марк относился к сицилийцам скорее со снисходительной насмешкой, нежели враждебно. Почитал их вино, но как людей почему-то ставил ниже мальтийцев, о которых, как я уже говорил, тоже был не самого лестного мнения. То есть это был такой местечковый замес, что-то вроде отношения петербуржцев к Москве.

Отдав за экскурсию по Сицилии совсем небольшие деньги, мы стали присматриваться к авиаперелетам в другие страны Еврозоны.

И вот тут-то выяснилось, что визы у нас просрочены: каким-то образом мы наткнулись на изменения, которые ЕС ввел для российских туристов. Подсчет дней теперь велся по другому принципу. И по этому же принципу выходило, что мы уже почти нелегалы. Собрав совет, я, моя дама и Марк, решили оставить все как есть, главным было уехать до того, как закончится срок самой визы, а не количество разрешенных дней пребывания в ЕС. Собственно, в аэропорту предполагалось закосить под дурачков, которые и слыхом не слыхивали о принятом несколько месяцев назад изменении визового режима. А по старой схеме мы вписывались в рамки визы. Марк предложил получить мальтийскую учебную визу, но мы уже достаточно насытились его родиной и постепенно начинали скучать по родным краям. Правда, мы сделали одну смехотворную попытку получить не учебную, но постоянную визу. Марк подготовил анкеты и нашел знакомую женщину в МИДе. Мы вдвоем приехали в столицу, с понтом заглянули в визовый отдел и без очереди пробрались к столу нужного чиновни-

ка. Основанием для продления нашей визы было (Марк дословно сказал именно это) — в России сейчас холодно, можно они останутся хотя бы до июля? И, вы не поверите, этот вариант сработал бы, будь у нас мальтийский, а не финский шенген. Эта добрая женщина была согласна донести до своего начальства нашу «беду», если бы не финская виза, понимаете? Из МИДа мы выпали с хохотом, понимая, что еще бы чуть-чуть — и прокатило!

Так что из всех стран, которые мы могли бы посетить, проживая на Мальте, оставалась лишь Италия, до которой шел паромчик. Несмотря на то, что знающие люди утверждали, что на внутренних рейсах ЕС визы могут проверить в одном случае из ста, мы опасались быть пойманными, да еще и впустую потратить деньги на билет, например, в Париж. А так для любителей путешествий по низким ценам был открыт простор всей Еврозоны — можно было легко приобрести лоукостеры на определенные направления. При наличии визы, конечно, или при желании рискнуть и не оказаться этим «одним из ста».

Изнывая от скуки, мы искали хоть какие-нибудь мероприятия, которые можно было посетить, но тщетно: ничего не происходило. Концерты, выставки, шоу — все было настолько мелким, не талантливym, пустым (на взгляд человека из огромного города-музея), что хотелось даже не плевать, а так — не замечать. То есть любое событие, анонсированное на листе бумаги, приклеенном к известняковой стене, или на билборде у обочины, воспринималось не как «интересное» или «не интересное», а как «очередное». Пока однажды в недрах facebook я не обнаружил приглашение на концерт Патти Смит, крестной матери гребаного панк рока, который должен был состояться в актовом зале местного Университета.

Вот оно, воскликнули мы с девушкой и поехали в Валетту за билетами. Потом — целый месяц ждали, отсчитывали дни, предвкушали. За все это время я не увидел на острове ни единой афиши, сигнализирующей о прибытии культовой «бабушки», которая в свои 67 лет выглядела лучше многих старлеток рокапопса. Единственным знаком того, что концерт состоится, стал выброс на прилавок магазина Zaga женских маечек с принтом фотографии молодой Патти. Моя девушка конечно же купила себе такую. И облачилась в нее в назначенный день. Я же для соответствия надел тишотку с Дэвидом Боуи (или, как вы говорите, — Бауи).

Онлайн карта показывала, что у университета Мальты есть своя собственная территория, окруженная кольцевой автодорогой, — со спутника все это смотрелось довольно уютно. И мы решили подъехать на место раньше времени, чтобы погулять по территории студенческой обители до начала концерта.

Мальтийский университет является одним из старейших учебных заведений Старого Света. По слухам, во время дипломатических визитов к премьер-министру Мальты здесь изучал английский язык великий руководитель КНДР и яркая звезда Пэктусана Ким Чен Ир.

Если посмотреть на карту, то территория университета представляет собой желудок с кишкой тропинки, отходящей вправо, в сторону спортивных площадок. Площадь желудка невелика, для изучения местности требуется полчаса. Посреди кампусов, здания библиотеки, актового зала, студенческого центра и площадки для отдыха можно найти строения непонятного назначения в виде

каменных каркасов недостроенных корпусов. Точнее, это такая конструктивистская фишечка — просто голые стены с прорезями окон, через которые можно пройти, выглядит это так, будто отозвали финансирование и стройку забросили. Такой вот постмодернизм.

Гуляя по дорожкам, можно заглядывать в окна крошечных аудиторий, где у студентов вместо громоздких парт — стульчики с откидным столиком. На территории множество зеленых зон со сдвоенными столами-лавками, примерно на таких же в моем детстве «забивали козла» отцы моих дворовых товарищей. Учащиеся, заседающие на лавках, вином и домино не баловались, а сосредоточенно жевали свой meal, параллельно читая с мониторов своих лэптопов и планшетов.

Студенческая площадка выглядела лаунж-зоной какого-нибудь клубного сабантуйчика на природе: настольный футбол и аэрохоккей, диванчики, несколько плазм (одна для караоке, другая для просмотра футбольчика), звукорежиссерский пульт, колонки по периметру, тентовый бар с пивом и прохладительными напитками. Но даже здесь, казалось бы, в культурном центре острова играла музыка из Пачевилля — часть студентов все-таки осталась неисправимыми идиотами, несмотря на выброшенные за поступление деньги.

Подшло время концерта, территория университета стала заполняться приятно одетыми молодыми людьми с девушками, стареющими хиппи, длинноволосыми маргиналами, интеллигентными дамами в возрасте, в обязательных очках. Я не стал насиловать глаза, надевая линзы, поэтому остался в очках. Оттого чувствовал себя еще причастнее к событию.

Стоит заметить, что очкариков было больше половины сидящих в зале, который по размерам был меньше зала стандартного ДК на пять сотен кресел. Все билеты с местами, некоторые ряды кресел были полностью оккупированы очкариками. Мне стало жутковато — еще каких-нибудь пятьсот лет назад наши шансы на выживание с таким зрением были бы ничтожно малы. Теперь — мы были четырехглазыми повелителями. Никто не испытывал дискомфорта от ношения очков, никто не стеснялся своей оправы. Не знаю, дразнят ли очкариков в европейском детстве, но, видимо, нет — здесь очки являются атрибутом и аксессуаром. То есть никто не скажет: ишь, еще очки напялил, интеллигент! Вот не помню, за что дразнили Хрюшу в «Повелителе мух»: за очки или за вес? Или за то и другое?

Патти Смит уже на второй песне достала учительские очки, чтобы прочесть свое стихотворение из блокнота. Добро пожаловать в клуб, крикнули ей из зала, видимо, кто-то из очкариков. Мама панк-рока недоуменно посмотрела в ту сторону, приподняла брови над линзами очков и сказала: «Я этот клуб основала». Смех, овации, продолжаем.

Вообще постаревшая звезда андеграундной сцены Нью-Йорка, признанная поэтесса и сочинитель песен, мисс Патти Смит держалась просто великолепно. Невысокая женщина с пепельными вьющимися волосами до груди, в кожаных полусапожках с пряжками, легком тренче и потертых джинсах. Орлиный нос, сильно раскосые глаза и звук, звук, выходящий из ее диафрагмы. Чувственный, бьющий наповал, искренний, как песня в подземном переходе, которую никто не слушает. Патти вышла в сопровождении двух седовласых мультиинструменталистов, и эта троица поставила на уши аудиторию. Я ожидал акустического концерта, поэтических чтений под струнные и перкуссию, а получил полноцен-

ный сейшен с клавишами, басом, двумя гитарами и тремя голосами. Патти призналась, что на Мальте она в первый раз, ей здесь нравится, прочла стихотворение (не знаю, ее ли авторства) про Караваджо, который крадется узкими проулками Валетты. Попрощалась, ушла со сцены, чтобы вернуться на бис. Толпа у сцены заревела, затопала ногами.

Выйдя снова, Патти жестом приказала всем встать со своих кресел и приблизиться к сцене. Танцуйте, кричала она, и все подчинились. Нам с девушкой удалось попасть в первый ряд. Рядом с нами стоял мужичок лет шестидесяти, с татуированными кистями рук, он рукоплескал Патти и музыкантам. Было видно, что он выпил и расчувствовался. Словно ждал этого концерта всю жизнь.

Во время предпоследней песни она выдернула из толпы девочку лет пятнадцати в байковой рубашке и узких джинсах, вручила ей гитару, показала, какой аккорд надо зажать и продолжила выступление. Девочка неуверенно била по струнам, стараясь не смотреть в зал, музыканты ее подбадривали. Закончив хитом Ван Моррисона «Gloria», Патти напредила имена своих музыкантов, не забыв и про девушку (кажется, ее звали Марта), потом они взяли за руки, поклонились и удалились.

На выходе из здания стоял столик с напитками, можно было купить бокал красного или белого вина. Никто не расходился: кто-то пил, кто-то отрывал себе афишу со стены студенческого центра, все галдели и делились впечатлениями. Мы покидали университетский городок с грустью — впереди был последний месяц нашей жизни на острове, который, мы знали заранее, не будет богат на события.

День отъезда неумолимо приближался. И так, как я уже сказал, в аэропорту предполагалось прикинуться шлангами, которые не в курсе, что у них просрочены визы. Чем ближе подходило ко дню перелета, тем сильнее начинала нервничать моя девушка. Я уже пожалел, что продал весь гашиш сербам и успокаивал себя иллюзией приключения: меня, возможно, депортируют. Что заставило меня думать об этом как о приключении, я уже не могу вспомнить. Но все прошло как по нотам: никто не обратил внимания на наши просроченные визы. Человек, выдававший посадочные талоны, лишь проверил срок ее годности, и получалось, что он истекал через несколько месяцев. Получив посадочные и сдав багаж, мы взяли в дьюти фри бутылку кьянти и распили ее из горлышка. Нам удалось! Немыслимо! Слава всем богам! Я ожидал, что нас примут, оштрафуют, продержат в специальном заведении для нарушителей, пока будет решаться наша судьба, а потом вышлют из страны без права въезда лет на пять. Этого не случилось, нам повезло, мы покидали Мальту через парадный выход.

Салон авиалайнера был заполнен на треть, пассажиры рассаживались поудобней, занимая сразу все три места в блоке кресел. На взлете мы любовались огнями таящего в ночи острова, пытаясь угадать, какие именно населенные пункты виднеются внизу.

Что ж, Мальта, раз ты приняла нас,
Не мне бранить тебя за странность,
На духоту твою сердиться,
О, гарнизонная теплица!
Гляжу в окошко, озадачен,
На что сей остров предназначен.

Когда самолет набрал высоту, девушка переместилась через проход и свернулась калачиком на свободных сиденьях. Я изучал непроглядную темень за иллюминатором, слушая шум двигателей. В салоне, как говорится, не топили, и я согревался спиртными напитками. Передо мной на откидном столике стояли две пустые пятидесятиграммовые бутылочки из-под виски. И снова лорд Байрон:

Затем в моем уединенье
Беру перо, берусь за чтение,
Глотаю горькое лекарство
В усугубление мытарства,
Ночной колпак тяну на лоб...
О боже! Так и есть: озноб.

Я поднялся, открыл багажное отделение под потолком и достал из рюкзака бутылочку с красным песком. Вместо этикетки на стекле был ровными буквами выведен мой новый псевдоним.

В один из последних дней пребывания я оказался с какой-то оказией в Ла-Валетте. Прошелся по улице Республики, завернул к «Усекновению головы Иоанна Крестителя» в Собор Св. Иоанна. Картина была на месте, Саломея держит блюдо наготове, красное одеяние Иоанна растекается кровью по мостовой. Караваджо макает кисть в красную гущу ткани и подписывает полотно своим именем.

В помещении тихо, за мной приглядывает сонный охранник. Гений Караваджо не прижился здесь из-за своего крутого нрава и наклонностей, которые творцу можно и простить. Но госпитальеры ставили себя выше искусства, и бедному художнику пришлось тайком бежать по морю обратно в Рим. Вот и мне пришлось выходить из республики бочком, не привлекая внимания.

Я покинул собор через другой выход, выйдя на залитую солнцем мостовую. Скрутил себе папиросу, закурил и снова завернул на улицу Республики, чтобы пройти Валетту насквозь и выйти к форту Элмо, а оттуда к маяку, на волнорез.

У входа к полотну Караваджо, перед столиками кафе стоял торговый ряд, у которого толпились первые туристы, открывающие сезон отдыха на Мальте. Вспомнилось, что еще не всем моим друзьям подобраны сувениры. Тем, кто заказал вино и миндальное печенье, я уже приобрел желаемое. С одного из лотков торговали бижутерией и фенечками-браслетами, в основном не вызывающими доверия своей ветхостью. У меня на запястье и по сей день красуется скромный браслетик из ленточек грубой кожи, сплетенных в косу, — подарок с марракешского рынка, привезенный мне другом много лет назад. Я даже нырял с ним на глубину в пятнадцать метров, не забавы ради, просто забыв про него, он уже давно стал частью руки.

Побродив вокруг лотка, я купил какие-то фенечки (да простят меня мои друзья) и несколько вездесущих магнитов на холодильник. Оставалось купить мальтийские спички (с гербом ордена, например) для друга-коллекционера. Я уже собирался покинуть развал, как вдруг наткнулся взглядом на миниатюрные бутылочки с разноцветным порошком внутри. Я поднял глаза выше бутылочных горлышек и узнал в торговце Виктора. Он улыбался дежурной улыбкой:

— Хотите воспоминание о Мальте, сэр?

— Sure, — ответил я и выбрал наполнитель цвета песчаной бури с берегов Туниса. Виктор набрал песок в бутылочку и собрался подписать ее масляной краской. Я остановил его, достал билет на автобус, ручку и написал на обратной стороне то, что я бы хотел видеть на бутылочке. Виктор не стал вникать, быстро вывел буквы и стал закатывать горлышко в гипс. Закончив, он обменял поделку на протянутую купюру. Стал искать сдачу, но я отказался, и он был польщен.

— Спасибо, мой друг! Хорошего дня!

— You're welcome, Виктор. Прощай.

Прощай, обдуваемый всеми ветрами архипелага, потерявшийся во времени. Может быть, в следующее обледенение на планете тебе повезет снова поцеловаться с утраченной сицилийской сестрой. А пока наслаждайся своей отстраненностью, что бы там не считали населяющие тебя люди. Ты ни с кем не соревнуешься, ни от кого не отстаешь и никого не опережаешь, не идешь вровень и не поддаешься сравнению. Ты встала на пути апостола Павла, отсрочила его приговор и получила его покровительство. И я тебя не пропустил.

Что ж, как говорят выросшие в британской колонии обитатели Мальты:

Thanks for the memories, спасибо за эти воспоминания.

Искренне твой, Pietari Shenghen.

Александр Орлов

И мир блажен

* * *

Мело, мело по всей земле...

Борис Пастернак

Сугробов стройная гряда
Легла намедни.
Застыла в Яузе вода,
И день последний.

Москве нет дела до молвы —
Морозы внятней.
Ветра кочуют, как волхвы
Над голубятней.

Соединились все миры
Смиренно, хрупко,
И ждёт от голубя дары
В тиши голубка.

Под елью крохотный Христос,
Прижавшись к маме,
Объяття первые вознёс
Над куполами.

Орлов Александр Владимирович — родился в 1975 г. в Москве. Окончил медучилище, Литинститут им. А.М.Горького и Московский институт открытого образования. Работает учителем истории в школе. Автор трех книг стихов: «Московский кочевник» (2012), «Белоснежная пряжа» (2014) и «Время вербы» (2015), сборника малой прозы «Кравотынь» (2015). Лауреат Всероссийского конкурса малой прозы им. А.П.Платонова (2011), Всероссийского конкурса малой прозы и поэзии им. Ф.Н.Глинки (2012) и др. Предыдущая публикация в «ДН» — № 5 за 2015. Живет в Москве.

* * *

Как на подушке много тёплых вмятин.
Глубинный сон скрывает рай и ад —
В нём с нами пламенея, говорят
Былые дни. Их лик во тьме стократен.

С восходом суетливо и жестоко
Они привыкли нас в лучах бросать,
И заплетать мечты в рассвета прядь,
И пробуждать в безумстве кровотока.

Под возгласы архангельской трубы,
Не отпуская родовые вожжи,
С нас спрашивать уверенней и строже
И превращать в заложников косьбы.

Мы злаки, а быть может сорняки.
Нас ждёт момент великого покоса.
И мы горим, как рубленое просо,
И мы — крупица облачной муки.

* * *

Твои ветра настойчивы, грубы,
И каждый обмороженно злословит
И пустоту зимы весне готовит
Под россыпью мерцающей крупы.

Ты снова собираешься в бега,
Ты извлекаешь ветреные вклады,
И расставаньям нашим вечно рады
Хилеющие в приступах снега.

Ты превратишься в синеокий пар,
Безликий морок, робкую снежницу,
И ты покинешь хриплую столицу
При вялом свете жигулёвских фар.

* * *

Мы, словно два измученных паяца,
Оставлены впотьмах.
Нам суждено вслепую натекаться
На дрожь и страх,

На ощупь обнаруживать друг друга
Среди теней
И радость встречи с горечью испуга
В потоке дней

Тащить в себе по жизни коридорам,
Тайком храня,
И притворяться пылью, гарью, сором...
Кто нам судья?

Не меркнут одиночества посылы
В проёмах стен,
Но там, где свет, творят иные силы,
И мир блажен.

Башмачник

Мне слышно, как печалится дудук,
И видно — свет рассеялся у койки.
В руках умелых крутятся набойки,
И грустное разносится «тук-тук...»

А сапоги, ботинки, угли, кеды —
Свидетели рабочей тишины —
К нему, как люди, вечно холодны,
Не разделяют радости и беды.

Его друзья — насадки, щётки, кисти,
Растяжки, лапа, шило, гвоздодёр,
И с ними он ведёт свой разговор
О ненависти, счастье и корысти.

И так проходит двадцать первый век,
И снится по ночам ушедший папа,
Зовущий на вершины Хор-Ви́рапа
Жену и сына на святой ночлег.

Вадим Месяц

История моего спиннинга

Рассказы

Книголюб

Первая встреча с книгой произошла у меня через уголовно наказуемое деяние. Встретиться с хорошей книгой трудно. Даже опасно. Чем лучше книга, тем труднее ее достать. Надо увлечься или составить план — и тогда дело в шляпе.

В городе открылся ларек, где приключения и фантастику меняли на утильсырье. У Штернов была богатая библиотека. У Сашука — коллекция из нескольких брошюр, гордость которой составляла рыболовецкая книжка «Рыба за рыбой». У нас среди штабелей отцовских книг по импульсной электронике случайным гостем проживал Бабель кемеровского издательства. За Конан Дойлем я ходил к соседям Кутявиным. Посещал школьную библиотеку, но книги хотел не только читать, но и обладать ими. Возможно, мы с Сашуком пытались стать интеллигентней. К тому же книжки и впрямь бывают интересными. Особенно в молодости.

Как сделать из старых тряпок книгу, тем более хорошую, я не знал и до сих пор не знаю. Фуфайки, пеленки, потрепанные старушечьи рейтузы, штаны с начесом — никак не ассоциируются у меня с аккуратным блестящим томиком «Трех мушкетеров». Жизнь технологична. Технология таинственна.

Мы начали прореживать домашние кладовки и шкафы. Дедушка после инсульта катался в инвалидном кресле и в изысканном гардеробе не нуждался. Бабка отдала мне его поношенные вещи. Сашук тоже напряг родителей, но шмутья получил катастрофически мало. Материальный мир тех времен был сер и скуден. Мы должны были выдумать нечто революционное. Создать собственную сырьевую базу.

Вадим Месяц — поэт, прозаик, издатель. Родился в Томске. Окончил физический факультет Томского государственного университета, кандидат физико-математических наук. Автор около 20 книг стихов и прозы, редактор русских и американских антологий поэзии. Лауреат премии New Voices in Poetry and Prose (1991, USA), Бунинской премии (2005), премии им. П.П.Бажова (2002), финалист Букеровской премии (2002) и др. Организатор «Центра современной литературы» (2004) в Москве и руководитель издательского проекта «Русский Гулливер». Стихи и проза переведены на английский, немецкий, итальянский, французский, латышский, румынский, польский и испанский языки. С прозой в «ДН» публикуется впервые.

Пункт приема располагался на улице Фрунзе. Дощатое отсыревшее здание. Скрипучее крыльцо. Комната с потрескавшейся штукатуркой, плохо обработанным прилавком и несколькими рядами полок на стене. В магазин раз в неделю завозили по два-три новых наименования. Тематическая система отсутствовала. На доске объявлений вывешивались названия книг, которые скоро поступят в продажу, но прогноз работал из рук вон плохо.

Тряпье к вожделенному ларьку мы с Лапиным доставляли на рамах велосипедов в мешках из-под картошки и кедровых шишек. У меня был неубиваемый «Урал» с высоким самодельным рулем а-ля «Харли-Дэвидсон», собственноручно изготовленный на трубогибе в слесарной мастерской. На трубе под рулевой колонкой красовалась барышня с крышки финского сыра «Виола», примотанная дефицитным скотчем. У Сашука был то ли «Урал», то ли «Орленок» с колесами от «Камы». Велосипеды мы собирали из разного лома. Один раз угнали «Спутник» у Кутявиных и в тот же вечер изменили его до неузнаваемости, перекрасив раму и прицепив новый багажник.

Книголюбы оказались в основном дурнопахнущими мужчинами в засаленных болоньевых куртках. В нестройной очереди они стояли с мешками и сумками, полными пронафталиненной мануфактуры, и обсуждали новинки книжного рынка.

— Обещали завезти Козьму Пруtkова и «Вечный зов», — говорил один.

— Я, пожалуй, возьму Козьму. Классику надо знать, — отвечал другой.

Канторой заведовал аналогичный мужичка с редкой козлячьей бородкой и мрачным взором. Он взвешивал тюки материи на проржавленном безмене и выдавал людям талоны с круглой синей печатью. Количество набранных очков прописывал на талонах шариковой ручкой. Иногда ставил какую-то витиеватую подпись. Помню, что двадцать баллов давали право на приобретение «Двадцати лет спустя». Книжки Пикуля почему-то шли по двадцать пять. И так далее. Условная стоимость покупки определялась спросом. Странно, что в этот «джентльменский набор» затесался многоликий Пруtkов. Мы с Сашуком его творчеством не прониклись.

Любая книжка должна быть приключенческой. Я считал так в подростковом возрасте и, после многолетнего перерыва, считаю так и сейчас. Более того, добыча хорошей приключенческой книги должна сопровождаться недюжинным приключением.

В тот раз мы с Сашуком гробанули ближайший сельскохозяйственный техникум на предмет матрасов. Матрасы в смысле веса и концентрации наполнения — наиболее перспективный в этом деле товар. Он хорошо ложится на велосипедную раму, удобен в обращении, наполнен альковной предысторией. В любом старом матрасе есть загадка. Кто на нем спал? С кем? Что видел во сне? Сбылся ли вещий сон? До применения матрасов в формировании личных библиотек мог додуматься лишь молодой и свежий мозг.

Первая ходка прошла успешно. Три матраса сушились во дворе училища. Мы без труда перелезли через забор и сгрузили их на велики. Книготорговец Мельников принял у нас мокрый текстиль. Мы поняли, что утильсырье перед сдачей надо увлажнять, чтоб придать ему веса. Задача номер один была решена. В книголюбивой очереди мы приобрели репутацию «матрасников». «Болоньевые куртки» нам завидовали. Их старые тряпки, собранные по соседям, конкуренции нашему продукту не составляли.

Второй раз нам с Сашуком удалось пробраться на склад. Почему-то сделали это днем. Безнаказанность разлагает, вызывает расслабленность. Нас поймали. На выходе стоял здоровенный мужик похожий на десантника. С папироской в зубах. Завидев нас, он вынул ее изо рта и призывно свистнул.

— Подите-ка сюда, — приказал он.

Мы сбросили матрасы с плеч, но мужчина быстрым шагом подошел к нам и крепко взял каждого за запястье.

— Не шалить, — предупредил десантник. — А то остаток жизни будете работать на медикаменты.

Он служил директором этого учебного заведения. Провел нас в кабинет на втором этаже и закрыл дверь изнутри на ключ.

— Рассказывайте, — сказал он устало. — Что вас сюда занесло?

Мы начали мямлить про любовь к литературе. Валяли дурака профессионально. Нашей задачей было его растрогать. Мол, бедные дети. Тянемся к знаниям. Сюжетом нашей истории десантник заинтересовался.

— А «Виконт де Бражелон» у них есть? — спросил он.

— Пока нет, но скоро будет, — поспешил ответить Лапин. — Мы можем держать вас в курсе новинок.

— А живете где?

В этом случае мы наврали радикально, перенесли наше местожительство в далекий микрорайон Каштак. В действительности я жил метрах в трехстах от техникума. Мой дом был виден из окна и сейчас, скрываясь нижними этажами за трансформаторной будкой и татарскими декоративными кленами.

— Сообщать родителям или сразу обратиться в милицию?

Мы напряженно смолкли. В милицию нас забирали по весне за попытку осквернения памятника славы в Лагерном саду. В школе обстановка была накаленной. Очередной проступок мог бы стать жирной точкой в нашей многообещающей творческой карьере. Мужик усилил напор:

— Делайте что хотите, но чтоб сегодня же три моих матраса были на месте.

— Какие такие три матраса? — возмутился я. — Не знаем мы про ваши матрасы.

Мы детально ввели его в курс дела, рассказав, что похищением утильсырья занимаются сейчас все пытливые школьники города.

— Это придумал Витька Мазаев, — добавил Лапин изобретательно и плаксиво. — Он первым начал сдавать матрасы.

— Мазаев? — удивился директор. — Я знаю Мазаева. И мать его хорошо знаю.

— Безотцовщина — главная составляющая трудного детства, — подло вставил я.

Директор посмотрел на меня исподлобья.

— Так. Фамилия. Имя. Отчество. Год рождения. Номер школы. Имена и место работы родителей.

Он взял листок бумаги и удивительно изящным для пролетарской руки почерком записал ахинею, которую мы ему выдали. Я свои биографические данные выдумал полностью, сообщив при этом, что родился не где-нибудь, а в Улан-Удэ. Сашук назвал имя одного чувака из враждебной тридцать второй школы. Я пожалел, что не представился другим подонком оттуда же. Самым сложным оказалось придумать место работы родителей. Сашук пробормотал что-

то про Политехнический институт. Я рассказал историю своего родственника из Новосибирска.

— Отец... Он это... В органах...

Мужик зло усмехнулся и замедлил запись.

— В каких? — спросил он с разочарованием в голосе.

— В каких-каких. Полковник милиции.

Дядя Леня действительно был полковником и давал мне пару раз пощелкать из табельного оружия, предварительно вынув патроны. Бабушка воспитала и выкормила его наравне с остальными детьми во время войны, когда дед сидел в тюрьме. По непроверенным слухам он тоже был ее ребенком, но она удачно скрыла это от мужа. Так что я почти не врал: лишь немного переводил стрелки.

— Тридцать вторая школа. Тридцать вторая школа, — дважды повторил дознаватель. — А почему тогда живете на Каштаке?

— Так родителям дали квартиры в новостройках, — догадался я. — А нас оставили в прежней школе. Друзья, любимые учителя. Вы ведь тоже педагог. Должны понимать. Сочувствовать.

Он недоверчиво посмотрел на меня и записал что-то в свой протокол.

— Так, товарищи. А теперь повторим все сначала. Без шпаргалки, пожалуйста, — прикрикнул он, заметив, что Сашук косит глазом в его записи.

У нас была хорошая память. Мы верили в то, что говорим, больше, чем в истину. Я бы на месте этого верзилы тут же поверил. Но он продолжил свое дознание и неожиданно спросил:

— Ну и как вам жилось в Улан-Удэ, Эрик Васильевич?

— Ну а что тут скажешь? — артистично удивился я, поняв, что не знаю ни имени, ни фамилии этого папика. — Буряты они и есть буряты.

— И все?

— А что еще? — я на секунду замаялся. — Осколки татаро-монгольской орды. Наши люди. Копал однажды червей. Ко мне подошел бурят и спросил, ты их есть будешь? Представляете, как у них голова работает? Мальчики в классе часто пукали. Нет чтобы в открытую. По-честному. Хоть посмеяться можно. Так они исподтишка... исподтишка... Хорошо, что мы сюда переехали.

Я удивился, заметив, что лицо директора неожиданно просветлело.

— Иди-ка сюда, — сказал он и, когда я подошел, дал мне громкий болезненный щелбан по лбу указательным пальцем.

Повторил эту же процедуру с Сашуком.

— Если не принесете мне «Виконта де Бражелона» на следующей неделе, завожу на вас уголовное дело. Распишитесь. Да, именно здесь.

— А вы матрасы со склада сдайте, — сказал Сашук. — Сами не ведаете, каким капиталом обладаете. Можете все у Мельникова купить.

— Марш отсюда, — скомандовал он, подошел к двери и повернул ключ.

Назад мы уходили так же, как пришли. Через забор, у другой стороны которого стояли велосипеды. Мы видели, что директор курит в открытое окно и с вдумчивым интересом следит за нами. Я помахал ему рукой на прощанье. Он не ответил.

Дней через десять Мельников провел в своей лавке талонную реформу и наши квитанции о сдаче тряпок аннулировались. У нас хватало на Дюма, Жюль Верна, Фенимора Купера и даже эротического Мопассана, которых вот-вот обещали завезти, но талоны больше не действовали. Мы с Сашуком подумывали

облить ларек бензином и спалить его к чертям собачьим. Сколько трудов, умственных усилий, отчаянных жестов! Наши библиотеки увеличились книжек на десять, но до масштабов Кутявина и Штерна явно не дотягивали.

Я решил действовать в одиночку. Ночью, в тайне от Лапина я проник на территорию техникума и размотал тонкую стальную проволоку, которой вместо замка запирался склад. Я довольно быстро перекидал матрасы через забор, хотя занятие — не из самых приятных. Они не поддавались, вырывались из рук, неуклюже борясь с моей воровской читательской страстью. Я перевез их на велосипеде в подвал нашего дома, складывая на раму по две штуки. Свалил на заплесневелый бомжовский диван, стоящий на пути к кладовкам. Никому, кроме меня, они нужны не были. За их сохранность можно было не волноваться и доставлять их в пункт приемки по одному хоть каждый день.

Мои труды были вознаграждены вторым томом «Графа Монте Кристо» и «Белым клыком» Джека Лондона. Остальных наименований не помню потому, что вскоре мы с Сашуком увлеклись грампластинками. Под музыку хорошо танцевать медляки с девушками, а маленький диск Апрелевского завода хорошо ложится за фалду пальто.

Трусость

Старшеклассники трясли с нас водку. Не деньги на водку, а именно водяру. Такой вот кодекс дворовой чести. Другую неприятность являли собой блатные. Школа располагалась в районе под названием Париж, а мы жили в Треугольнике. Полная психологическая несовместимость. Неприязнь и вражда.

Почему мы с Сашуком и Штерном оказались крайними, не знаю. Наверное, были слишком заметными на общем фоне: каждому хотелось вписать нам по шкварнику. Существовала и третья сила. Авторитеты. Что-то типа воров в законе. Она была представлена Павлом Ларионовым, который никогда с нами не связывался, но решал вопросы в кулуарах. В конце этого учебного года он попросил у меня поносить здоровый стальной перстень с буквой «І», который я купил в Ташкенте. И через неделю вернул. Позаимствовал нож с выкидывающимся лезвием и вернул его тоже. Ларионов был порядочным человеком. С ним можно было иметь дело.

А пока что месяц назад мне исполнилось четырнадцать лет. Мы вернулись из Одессы, где с ровесниками из Минска подсматривали за голыми женщинами через чердачные окна в душевых. На обратном пути заехали к другу отца в Галерканы. Там я встал на водные лыжи, проехал круг по озеру и не упал. Сильно разодрал себе локоть об асфальт, чуть было не врезавшись на велосипеде в чью-то виллу. Страдания перенес стойчески. В родной город приехал в приподнятом состоянии духа. Подрался с мальчиком, который плюнул в меня слюнявой бумажкой из трубочки. Победил.

— С Симаковым ты махался? — спросил меня Ларионов в раздевалке.

— Ну я. А что?

Паша посмотрел мне в глаза, накинул плащ и ушел. Через неделю Козлов и Еловигов вызвали нас троих за школу. Во время мирного разговора Еловигов неожиданно ударил Сашука в солнечное сплетение и, пока тот изгибался и кашлял, сказал:

— С вас три бутылки водки к праздникам.

У него была репутация садиста. После школы он сел за дедовщину в стройбате. Козлов ухмыльнулся и поддакнул:

— По одной с рыла. Нам с Эдиком в самый раз.

По дороге домой мы бодрились, ерничали, но все трое понимали: связываться с этой бандой нам нельзя. Уроют.

— Я могу позвать Серегу Голова со Степановки, — сказал я неуверенно. — Приедут на мотоциклах. Наведут шмон. Степановку все боятся.

— Нам здесь оставаться, Сема, — ответил Штерн. — Да и хер они приедут.

С Головым мы дружили. В июле ездили вместе на Обь на его «Иж-Юпитере». Он мог поднять деревенских, но мы сомневались, что они по первому свистку смогут нагрянуть в город.

Водку Еловикову мы отдали, но было ясно, что просто так от них не отвяжутся. Они вернутся. Или придут другие. У них был большой сплоченный коллектив.

Я сидел на кухне, обедал. Иногда поглядывал в окно. Напротив горел двухэтажный деревянный дом, где жил Витька Мазаев. Я знал, что он сейчас на тренировке и особенно не волновался. Пожар начался недавно: в четырех окнах от его квартиры. Пламя вырывалось сквозь открытые створки, пробило крышу. Шифер в этом месте потемнел и начал с треском лопаться. Пожарные еще не подъехали, но народ у здания собрался. Из окна появилась тетка в пестром халате, покричала, но прыгнуть вниз не решилась. Я подошел к окошку и отщипнул отросток зеленого лука, произрастающего в пол-литровой банке. Вой пожарных сирен заглушил звонок телефона.

Я поднял трубку. Звонила Лора Комиссарова. Событие, превышающее по масштабу любой пожар. Мы с ней были едва знакомы. Она была на два года старше. В компании Еловикова и Козлова была своей. Совсем своей. Волчицей. Нечто вроде атаманши из «Бременских музыкантов». Я насторожился.

— Как поживаешь? — спросила Лора тоном старой приятельницы. — Скучаешь? — Она загадочно рассмеялась.

Я рассказал ей про пожар. В этот момент я был благодарен бедствию за то, что оно подбросило мне тему для разговора.

— В принципе это красиво, — сказал я бодро. — Сначала все шло, как в немом кино. Сейчас приехали каскадеры. Ползают по приставным лестницам. Спасают женщин и детей.

— Приехать что ли, посмотреть?

— Ты знаешь, где я живу?

— Знаю.

Я похолодел. Откуда? С другой стороны, меня разбивало любопытство. Комиссарова была девушка красивая, статная. О ее раскрепощенности по школе ходили слухи.

— Как бы я хотела, чтоб моя хата тоже сгорела, — вдруг сказала она. — Тогда, может быть, дали бы квартиру в нормальном доме. Пойдем погуляем?

Я шуганулся еще больше. К чему бы это? Пробормотал что-то про контрольную по немецкому. Она хохотнула и сказала утвердительно:

— Пойдем погуляем.

Встретились на трамвайной остановке. Комиссарова была в длинном сером пальто и бежевых сапогах на высоком каблуке. Выглядела предельно взрослой.

Макияж, маленькие золотые серьги, серьезные глаза. Она была без шапки, чтобы показать прическу. Осень вступила в стадию загнивания, забродила брагой. Вот-вот должны были ударить холода.

— А я здесь живу, — ткнула она пальцем в желтую пятиэтажку с продовольственным магазином на первом этаже. — Заходи в гости.

Мы пошли по аллее, идущей параллельно трамвайным путям. Разговаривали о пожарах, домашних животных, о всякой ерунде.

— Ты хорошо прыгаешь в длину, — сказала она. — Я приходила к вам на соревнования.

— Казаков прыгает лучше, — отозвался я. — На полтора сантиметра.

Она опять похабно рассмеялась.

— А я не могу ни бегать, ни прыгать. Прошла флюорографию. У меня каверна в легких. От курева. Теперь Петр Иванович меня бережет.

Вечером позвонил Штерну. Рассказал про пожар. Выслушав его человеческонавистнические шутки, упомянул о прогулке с Лорой.

— А что... Это выход... — задумчиво протянул он. — Не обижайся, конечно. Но это выход. И девушка она клевая. Рельефная.

Я не ожидал от него такой реакции.

— Ты дурной что ли?

Женька детально изложил мне свои воззрения на баб. По его мнению, они мало чем отличаются друг от друга. Я не должен упускать такой шанс. Хотя бы в интересах нашей дружбы.

— Подумай, — закончил он.

С Лорой мы встретились еще несколько раз. Сходили в кино на «Золото Маккенны». Детям до шестнадцати лет. Нас пропустили. После кино она позвала меня в гости.

В общежитии они с матерью занимали две комнаты, соединенные изнутри широким проходом. Проникнуть в квартиру можно было как через дверь с номером «19», так и с номером «20». Преимуществ в такой планировке Лора не видела. Когда мы вошли, поставила чайник на электрическую плитку.

— Может, сгонять за вином? — спросила она.

Мы купили бутылку «Кавказа», выпили по глотку. Она — из граненого стакана, я — из фарфоровой чашки. Пока я ходил в туалет в конце коридора, убрала фотографию какого-то бородатого мужчины, стоящую до этого на книжной полке. Переделась в легкомысленный халат, но осталась в колготках.

— Ну и что мы будем делать? — засмеялась она неестественным голосом, притянула меня к себе и протяжно поцеловала.

Комиссарова положила мою руку к себе на колено и быстро придвинулась, чтобы рука оказалась выше. Я зарделся и вздрогнул как дурак. Посмотрел на ее приоткрытый рот в размазанной помаде, на умные глаза в пробуждении радостного бесстыдства.

— Лариса, можно я приду завтра, — сказал я хрипло. — Мне нужно...

Я не знал, что придумать. Лора еще не поняла моих настроений и продолжала ласкаться. Она пыталась управлять моей рукой, распахнула халат, показывая белый застиранный лифчик, начала быстро целовать мои лицо и шею. Она была намного живей и опытней моих сверстниц.

— Мама все равно в больнице. А ты такой милый.

— Лариса, — я встал с постели, и она инстинктивно взяла меня обеими руками за ремень джинсов. — Понимаешь...

Она убрала руки с моих брюк и презрительно смирла меня взглядом.

— Из-за нее? — спросила она, повывсив голос. — Из-за этой сучки с идиотским именем?

Мой роман с Иветтой в те дни только начинал разворачиваться. Я не мог предать ее, хотя до дрожи в коленках хотел сейчас остаться с Лорой.

— Я тебе сделаю то, что она тебе никогда не сделает, — закричала она. — Никто не сделает. Никто в этом сраном городе.

Она упала на подушки и очень по-настоящему зарыдала.

На следующий день Василий Козлов мастерски саданул мне по скуле в школьном сортире. Второй удар мне удалось заблокировать. Он сплюнул, выругался и вышел вон. В актовом зале начинались танцы. Мы с Сашуком и Штерном хрюпнули перед ними «Каберне» в гаражах на улице Гоголя и сейчас скрывались от физрука, который учуял запах. На дискотеку подвалила шобла из Парижа. Они толклись в скверике перед школой и выдуривались друг перед другом. Шура-акробат, удивительно спортивный и борзый паренек невысокого роста, ходил перед толпой на руках. Он передал через Лапина, что ему нужно поговорить со мной. Парижских было человек десять. В школу их не пускали. Здесь мне хватало Еловикова с Козловым. И физрука с его нелепыми претензиями. Они загнали меня в ловушку, даже не стовариваясь. Я слонялся по школьным этажам, не решаясь подняться на танцы. Во втором отделении я должен был лабать «Plantanion boy» на ритме. Выступление, похоже, отменялось.

В коридоре я встретил Иветту, явно чем-то раздраженную. Она стояла с маленьким зеркальцем в руке и выщипывала пинцетом брови.

— Прячешься, — констатировала она насмешливо. — Я бы на твоём месте тоже пряталась. — Иветта разочарованно вздохнула. — Я не знала, что ты такой трус.

Я посмотрел на нее и увидел то, чего не видел раньше. Ее слова пронзили меня больней грядущего мордобоя. Я подумал, что я действительно трус, но лишь потому, что не осмелился вчера остаться у Лоры Комиссаровой на ночь. Штерн был прав, когда сватал ее ко мне. Сегодня не было бы всего этого. Никаких проблем. Никаких метаний и обид. У нас с друзьями была бы другая жизнь. К тому же целуется Лора гораздо лучше.

Из школы мы вышли с Ларионовым. Шпана расступилась.

Когда у Комиссаровой умерла мать, я зашел к ней в общежитие с букетом красных гвоздик, но Лариса со мной даже не поздоровалась.

Перово

В школе напротив шел выпускной вечер. Девчонки в кружевных трусах танцевали канкан на сцене актового зала, и я долго смотрел в окна на четвертом этаже. Со времен моей юности ничего не изменилось. Бальные платья, неуклюжие костюмы, перезрелые девы, всклокоченные юнцы. Город благоухал тополиными почками и отечественными духами. Молодежь выходила из здания группами и, прячась за мусорными баками, прикладывалась к спиртному. Парни

шутили и смеялись над своими шутками, девушки повизгивали. Школьный ансамбль в актовом зале наяживал Эдит Пиаф, иногда переключаясь на Марсельезу.

Я вспомнил наш школьный бал. Было нечто подобное, но без французского акцента. Мы учились в немецкой школе и по закону жанра должны были напевать «голарио голо». Не напевали. Не хватало сознательности. К вечеру готовились заранее, пряча водку и шампанское в разных концах города, чтобы угоститься напитками во время прогулок. На бутылку, зарытую в Лагерном саду в прошлогодних листьях, кто-то за время нашего отсутствия справил большую нужду. Праздничному пиршеству происшествие не помешало. Даже девушки не смутились. У нас были барышни, лишенные брезгливости и буржуазных предрассудков.

Прощание со школой проходило натужно весело. Перед танцами убежали к Лапину выпить бренди с культовым названием «Наполеон», который берегли к случаю. Лапин, будучи меломаном, включил Баха, потом Пинк Флойд. Коньяк не шел, музыка раздражала. Светского раута в пиджаках не получилось. В глубине души мы не торопились становиться взрослыми. Совершеннолетие встречали с романтическим надрывом, почерпнутым из эстрадных песен.

Сегодня приезжала Мэри. Нечто вроде первой моей любви. Упущенная возможность юности. Боевая подруга, вечная любовница. Она попросила меня встретить ее в аэропорту. Я ничего не ждал от этой встречи. Она вносила некоторое разнообразие в мою жизнь, но принципиально ничего не меняла. У меня перед глазами стоял образ Мэри времен ее последнего появления. В залитой солнцем комнате она стояла голая и разговаривала с матерью по телефону. Мы только что вылезли из постели: сперма стекала по внутренним сторонам ее ляжек. Она с улыбкой размазывала ее по коже и рассказывала маме об успехах в аспирантуре. Она была худая и стройная: таких теперь фотографируют для журналов моды.

Рейс приходил ранним утром. Часов в пять-шесть. Общественным транспортом не доберешься. Я решил не спать: погулять по городу вместе со школьниками или хотя бы понаблюдать за ними со стороны. Во дворе сыграл молодежи несколько песен Майка Науменко, но впечатления на девушек не произвел. В моде временно были другие исполнители. Я зашел в винный на Ленинском, где взял десяток «Жигулевского» и пару фляжек коньяка. Посидел на детской площадке. Дошел пешком до Новокузнецкой.

Город был тих и безлюден. В моем немосковском сознании Каширское и Варшавское шоссе являлись одной улицей. Я уехал на станцию «Южная», где с неудовольствием обнаружил, что прямой путь на Домодедово открывается не здесь. Метро уже закрылось, я взял такси.

— Покажи мне город в весне, — сказал я водиле, который взялся подвезти меня. — Мне некуда больше спешить.

Он включил музыку, я открыл пиво. Мы не спеша выдвинулись в теплую придорожную ночь. Километров за пять до аэропорта я попросил шофера остановиться, решив пройти пешком. Хожу я быстро. Алкоголь придавал мне сил и грел душу позвякиванием в рюкзаке. Минут через сорок я добрел до импровизированного цыганского табора, раскинувшегося под железнодорожной насыпью. Выбросил последнюю пивную бутылку, отхлебнул «Дербента». Ко мне подошла полная баба в засаленном фартуке и беззубой девочкой на руках.

— Погадать? Ты приехал сюда встречать любимую девушку.

— Ошибаешься, — сказал я. — Я приехал сюда встречать двоюродного брата.

— Дай денег.

— Подари мне бусы.

Она неодобрительно посмотрела на меня и высморкалась в платье дочери.

— Ты приехал сюда за девушкой, — повторила она. — Ее зовут Марией.

Она говорил правду, но чары экстрасенсов на меня не действовали. Я презирал низший астрал. Считал, что одной ногой стою в нем, хотя и не придавал этому значения. Я запел ей по-цыгански, но не для того, чтобы войти в доверие, а чтобы разрядить обстановку.

— Раз поешь по-нашему — значит плати деньги, — нашлась цыганка.

— А ты говоришь по-нашему, — рассмеялся я. — Гони бусы.

Мы сторговались за бесценок. Я рассказал ей, что живу сейчас с полуцыганской женщиной, проведеншей младенческие годы в таборе.

— Ее носили в корзине, — говорил я. — Она у меня маленькая. Маленькие женщины для любви, большие — для работы.

Я оставил Азалии глоток «Дербента» и мы расстались друзьями.

— И все-таки ты встречаешь девушку, — крикнула она на прощание.

— Как ты догадалась?

— У тебя торчат цветы из рюкзака.

Мэри плюхнулась на заднее сиденье такси и растянулась, как на пляже. Она никогда не занималась спортом, но имела спортивную фигуру от рождения и навсегда. Легкий человек. Во всех отношениях.

— Всю дорогу мечтала разогнуться, — протянула она, зевнув. — Дай плотнуть. Нам в Перово, — скомандовала она таксисту и положила голову мне на колени. — У меня появился офигенный мужик, — объяснила причину своего приезда. — Прикольный чувак. Тебе понравится.

— Рад за тебя. Я думал, мы поедем ко мне на Шаболовку.

— Потом на Шаболовку. Сначала в Перово.

Избранником ее оказался фарцовщик с пшеничными усами, похожий на подкулачника из кинофильма «Тени исчезают в полдень». Юра, Юрий, Юрочка. Когда он знакомился, изгибал ручку, как для поцелуя. Делал губки трубочкой и по-вурдалачьи причмокивал. У него был музыкальный центр с двумя огромными динамиками, видеомагнитофон. Все дела. Он подарил Мэри коробку с розовым бантиком на крышке.

На шум голосов из спальни вышла полная блондинка с томным взглядом. В ее помятости чувствовался недавний разврат. Она была рада приезду Мэри, но смеялась излишне весело. Она пригласила нас на кухню и открыла шампанское собственноручно. Она буквально свернула голову бутылке, изрыгнувшую в щелчке жидкую холодную пену.

Перед употреблением вина Юрочка вынул пенсне из пошарпанной джинсовой жилетки. Я провел рукой по волосам. Мэри присвистнула. Пили за вечную молодость. Тост предложил я, разглядывая подругу детства.

Только мы опорожнили бокалы, за стеной раздался яростный стук отбойного молотка, словно кто-то пытался долбить ход в квартиру. Его яростный грохот то стихал, то нарастал с садистской страстью. Блондинка попросила Юрия сходить к соседям. Он молчаливо кивнул и удалился. За время его отсутствия мы

с Мэри допили шампанское, чтобы залить горе шумовых помех. Юры не было минут десять, но когда он вернулся, отбойник продолжал работать. Теперь к нему подключился второй источник шума — то ли дрель, то ли перфоратор. Две гитары за стеной.

— Я не смог дозвониться, — сказал Юра, и я задумался, что же в нем прикольного. Чувак как чувак. Пластинки, видеофильмы, импортные сигареты. Разве что прикид. Джинсы от Wrangler, жилет, черный батник с накладными карманами. Пенсне никак не облагораживало его крестьянской рожи. С другой стороны, я впервые видел живьем человека с моноклем. Может, он был филателистом? Нумизматом?

— Ёмоё, — сказала Мэри разочарованно. — Я же не спала всю ночь. Юрочка, сделай что-нибудь. Или купи мне беруши.

На бой с соседями отправилась белобрысая дама. Через мягкость повадок в ней проступало нечто удрученно решительное. Она ушла со шваброй в руках. Через несколько мгновений все стихло. Юра увлек мою одноклассницу в спальню. Я остался на кухне слушать бодрое радио. Блондинка вернулась, сделала приемник тише и сообщила, что тоже хочет спать.

— Вчера как-то не получилось, — добавила она с торжеством в голосе. — Не получилось поспать.

Я кивнул головой, соглашаясь с ее решением. После ее ухода отхлебнул «Дербента» из фляжки, послушал последние известия. Наши войска уходили из Афганистана. Я был скорее за, чем против. Двое из моих друзей там погибли. Те, кто вернулись, нещадно пили. Я помянул товарищей и прошел в комнату к даме. Она устроилась на диване в гостиной, напротив телевизора. Из спальни раздавались сладострастные стоны Мэри, знакомые до дрожи. Я прилег к женщине и взялся за изучение ее ночных рубашек. Пеньюар был сложным. Кажется, она надела сразу несколько халатов. Дама радостно вздохнула, так и не открыв глаз. Я добрался до предмета поисков и разложил ее ноги по подушкам. Девушкой она оказалась абсолютно стационарной. Перевернуть ее в какое-либо положение мне не удалось за все время проживания в Перово. В этом было что-то монументальное, последовательное, даже оригинальное. Почувствовав на себе мужчину, она охватывала его шею двумя руками и начинала шептать нежности. Меня она звала Юрой, что было вполне закономерно. Я ее имени не запомнил. Во сне вспоминала какие-то романтические моменты на Черном море.

— В Алушту. Мы едем в Алушту, — бормотала она, не просыпаясь.

— В Алушту, в Алушту, — поддакивал я.

Проснулись мы поздно, после закрытия винных магазинов. Нам с Мэри хотелось выпить. Более воздержанные москвичи нас поддерживали, но разве что из солидарности. Понимая, что с «прикольного Юры» взятки гладки, за вином пошел я. Быстро нашел бутлегера у гастронома, узнал, где тут ближайший таксопарк на случай, если ночью понадобятся крепкие напитки. Мы сходили к мужику на квартиру, и он даже пропустил меня в прихожую, пока ходил на балкон за тремя огнетушителями вермута. Я поздоровался с его женой и малолетней дочерью, которую та держала на руках. Женщины с любопытством осматривали меня. Видимо, я не был похож на обычных ночных клиентов.

Так мы прожили два дня. В Перово мне нравилось. Хозяйка хорошо готовила плов, проблем с алкоголем не было. Вся компания оказалась платежеспособной и легкой в общении. Мы изучали хозяйскую видеотеку, пили и

трахались. Чтобы моя пассива вызывала во мне какие-нибудь чувства, я просматривал перед любовью сцену оргии в «Калигуле». По несколько раз. Барышня испуганно охала и закрывала глаза. Долго это продолжаться не могло. Я ждал, когда Мэри, наконец, насладится своим прикольным Юрием и мы поедем ко мне на Шаболовку.

Кончилось все неожиданно. Я в очередной раз отправился за вермутом к своим новым знакомым, но когда вернулся домой, мне не открыли. Я названивал в дверь с настойчивостью ревнивого мужа, стучался ногами и руками. Наконец появилась белобрысая. Она недовольна открыла дверь и уставилась на меня, как на незнакомого человека.

— Что надо? — спросила она голосом, готовым перейти в крик.

— Любви, — ответил я резонно.

— Кабак закрыт, — отозвалась дама.

Мэри вместе с «прикольным Юрой» она выставила за дверь, не выдержав психологической нагрузки. Я и не подозревал, что все это время жил в ее доме, а молодых любовников она впустила к себе по неведомому мне контракту. Вещей в квартире у меня не было. Я игриво сделал ей ручкой и направился к лифту. В это же мгновение за стеной раздался стук перфоратора.

На Шаболовке я потушил мяса с красной капустой. Блюдо получилось странно твердым, но для вермута вполне подходящим. В окнах школы до сих пор виднелись шары и гирлянды прошедшего выпускного вечера. Белое накрахмаленное платье, похожее на свадебное, висело на ветке дерева у входа. Я прошел в спальню и обнаружил на кровати раскрытую книжку Маркеса, оставленную кем-то из моих недавних гостей. «Сто лет одиночества». «Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндия, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лед». Я погрузился в чтение и не заметил, как уснул.

История моего спиннинга

В Америку я уехал, потому что заболел чесоткой. Ельцин мне был неприятен, Бурбулис и Хасбулатов казались смешными, но доконала меня именно чесотка. Друзья провожали меня, как на тот свет. Я был уверен, что все проще, и никаких эмоций не испытывал.

Присутствовали старший следователь прокуратуры Андрей Лебедь, юрист Михаил Штраух, Боба и штук пять таксистов из 12-го таксопарка. Штраух привез раков для прощального банкета. Основную их массу мы сварили, но несколько штук удрало за холодильник. Было решено, что они там зимуют.

Перед отлетом я побрился, обрызгав себя американской туалетной водой «Old spice» — входил в образ. Положил в ящик письменного стола черный пистолет, понимая, что на границе его отберут. Улетал налегке — в Южной Каролине всегда хорошая погода. На всякий случай взял с собой спиннинг. Мне подарил его когда-то Джим Томпсон, приезжавший к отцу на конференцию. Снасть хранилась до сих пор в запечатанном виде.

Важность момента осознана не была. Она не прочувствована до сих пор. В самолете я тут же облил соседа-американца теплым пивом «Туборг». В случив-

шемся обвинил датского производителя. В JFK на вопрос какого-то жизнерадостного встречалы ответил, что лечу в Каролайну.

— Сколько уже здесь наших фирм, — горделиво заметил он.

В долгом пути до конфедератов я написал несколько искренних писем девушкам, но приземляясь в столице штата — городе Колумбии, положил их в карман впереди стоящего кресла. Письмо найдет своего адресата, подумал я.

С рыбалкой в Америке дело обстояло неважно. Платить за лицензию не хотелось. Я проезжал мимо живописной горной Салуда-ривер и вспоминал Хэмингуэя с его форелью. Спуска к реке так и не смог найти. Надо было ехать в какой-нибудь заповедник. Рыболовная американская проза откладывалась на неопределенный срок.

Скучая по обществу, стал общаться с неграми.

— Мой дедушка был рабом, дай доллар, — говорили они.

— Мой дедушка тоже был рабом, — отвечал я. — Рабом Иосифа Сталина.

Один раз мне пришлось пожалеть, что я оставил пистолет дома. Я шлялся по рельсам, разглядывая привязанных к шпалам и обезглавленных товарными поездами кошек, когда повстречался с африканцем моего возраста и телосложения. Мы чудно провели время с King Cobra-ой. Отмечали день Мартина Лютера Кинга. Он пригласил меня в гости и привел на воровскую малину. Из хижины вышли пять парней моего возраста и телосложения. На инвалидной коляске выехала необъятная мамаша с целлофановым пакетом на голове и смачно произнесла:

— I'm Ma Baker, put your hands in the air!

Доллар за столетнее рабство пришлось отдать. День рождения Мартина Лютера Кинга — не каждый день.

Меня предупреждали, что в Америке меня ждет культурный шок. Его я испытал один раз, когда, проснувшись рядом с любимой, не понял, где и с кем нахожусь. Я побродил по квартире в кромешной тьме в поисках туалета и ударился головой о подвесной шкаф. Второй раз шок настиг меня, когда в супермаркете мне не продали пива. Я показал советский паспорт, чтобы подтвердить свое совершеннолетие, но кассирша ответила, что с таким документом незнакома.

— Я въезжал по нему во Францию, Германию, Италию, — горячился я.

— Ты мог все это подделать, — невозмутимо повторяла южанка.

В Колумбии я крестился в лютеранство. Русских церквей в городе не было, а мы с подругой подумывали обвенчаться. Ее друзьями были в основном католики и лютеране. Из них еще не выветрился дух аристократизма. Я посещал их дома в викторианском стиле, говорил о музыке и поэзии.

Нил Салливан научил меня пить красное вино за рулем, наливая его в пластиковые стаканы из «МакДоналдса». Он же отвез меня на Хантинг-айленд на границе с Джорджией. В те времена фауна острова еще не была раскурочена ураганом. Я узнал, как выглядит рай. Протяженный песчаный пляж Атлантического побережья со спускающимся к воде хвойным лесом, тропическая лагуна с аллигаторами в ее заболоченной части. Здесь господствовал теплый Гольфстрим. Если бы не комары, картина рая была бы исчерпывающей.

Сидя под пальмой, нависшей над тихой заводью, я поймал свою первую американскую рыбу. Она была невелика, полосата и малосъедобна. Ее место было в аквариуме, а не на кухне.

Я бросил ее в пластиковый контейнер и с удивлением услышал, что оттуда начали раздаваться злобные дребезжащие звуки. Я сидел на стволе поваленного дерева и слушал ее треск: рыба разговаривала со мной. У моих ног совершали стремительные перебежки маленькие голубые крабы, лагуну в час отлива шерстил какой-то хищник, выбрасывая из воды на воздух стайки мальков. Рыба продолжала трещать. Я слушал ее в течение получаса, потом вспомнил сказку о рыбаке и рыбке и швырнул обратно в воду. Рыбалка не удалась. Я вернулся на пляж и обнаружил, что кто-то спер у меня кулер с пивом. На обратном пути у машины оторвался глушитель, и я въехал в Колумбию под неприличный рокерский грохот мотора.

Вторым моим трофеем оказалась черепаха. Рептилия зацепилась за блесну на lake Mungee, куда мы поехали на пикник с одним грузином. Кусаящаяся черепаха. Маленький панцирь в виде костяной ермолки, длинные морщинистые ноги с когтями, страшная змеиная голова. Черепаха заглотила позолоченную рыбку с четырьмя крючками, которые глубоко ушли в ее глотку. Достать их было невозможно. Я отрезал леску и отпустил черепаху на волю. Они живучие. На подъезде к городу у меня на полном ходу спустило колесо. В темноте, на скорости под девяносто миль в час.

Месть тортилы этим не ограничилась. Под рождество у меня возобновилась чесотка или какое-то иное кожное заболевание. Руки от предплечий до локтей покрылись язвами, которые чесались и кровоточили. Попасть к врачу во время праздников было невозможно. Я записался на прием к местному эскулапу, и он принял меня дней через десять. Врач осмотрел меня как диковинного зверя. Он кружил вокруг меня с увеличительным стеклом: маленький, толстый. Боялся ко мне прикоснуться. На мне могли гнездиться споры сибирской язвы — мало ли чего еще ждать от русских. Он перенаправил меня к дерматологу в соседний город. Пришлось ждать еще неделю.

На этот раз меня принял индус в белоснежной чалме. Он предположил, что я неправильно питаюсь.

— Что вы обычно едите на родине? — спросил он.

— Копченую рыбу, — ответил я.

Индус был разочарован. По его мнению, это очень нездоровая пища. Мне надо было питаться рисом. В Южной Каролине копченой рыбы в продаже не было, а если и была, то в ограниченном ассортименте. В этнических кошерных отделах. Whiting. По-русски мерланг или мерлуза, хотя я подозреваю, что это — хек. Близость Атлантического океана не влияла на содержимое тамошних рыбных прилавков. Лосось, тунец, филе акулы. Всяческая мороженная дрянь типа креветок и гребешков. Устрицы продавались уже очищенные: требуха в пластиковых банках. Я ел whiting.

Я рассказал ему про говорящего окуня и месть доисторической черепахи.

— У вас псориаз, — незамедлительно отреагировал он. — Это наследственная болезнь. Неизлечимая. На всякий случай начните с диеты.

Дома я поел овсяной каши и намазал руки вазелином, который мне прописал доктор. На следующий день экзема исчезла. Я приехал к нему за разъяснениями, но он пробормотал что-то про загадочную русскую душу и отпустил на все четыре стороны. Черепаха сняла с меня свое проклятие.

Прошел год. Мы засобирались на родину навестить родителей и друзей. Задумались о сувенирах. Гуляя с дочерью моей подруги по блошиному рынку,

я заметил чудную игрушку в виде пластмассового дерьма. Мы смущенно захихикали и бросили жребий, кто первым подойдет к прилавку. Я проявил мужество, и вскоре пластиковая фекалия лежала у меня в рюкзаке в подарочной обертке. С ребенком мы дружили. Я в те времена изображал на людях ее папашу. Так хотели и она, и ее мать. Ездил в школу на родительские собрания, познакомился с директором школы, от которого с интересом узнал, что девочка хочет быть стюардессой.

— Чтобы летать к бабушке с дедушкой, — объяснила она.

В Москве было холодно и неуютно. Я боялся пересечь Донскую улицу из-за большого движения. Начал говорить с людьми с шепелявым южным акцентом. Путался с отечественной валютой. Единственное, что меня вернуло на место, это то, что у ножки письменного стола я обнаружил початую бутылку виски, которую потерял за сборами в дорогу. Черный пистолет лежал там же, где я его оставил.

Я зашел к Мишке Штрауху и подбросил пластиковое дерьмо ему в постель. Через несколько месяцев он прилетел ко мне в Колумбию и проделал то же самое.

Раки в Америке были крупнее, чем в России, раз в пять. Мы устроили традиционное пиршество. Пили за сближение континентов и культур. Поехали на рыбалку. Я боялся, что спиннинг принесет какую-нибудь новую беду, но смог преодолеть предрассудки. Рыбы мы не поймали, но наловили на куриную ногу крабов. В ресторане под Чарльстоном уронили чучело водолаза со свинцовым грузом. Водолаз отшиб Мишке ногу своим огромным круглым шлемом. По пути в Вашингтон, куда мы отправились на экскурсию, машину снесло в кювет, но мы отделались легким испугом. Спиннинг продолжал свою подрывную деятельность.

Из Каролины я переехал в Нью-Джерси, потом на Лонг-Айленд. Жил в Юте, Миссури, Калифорнии. Спиннинг повсюду таскал с собой. Пересекшись с Томпсоном лет через десять, похвастался, что до сих пор храню его подарок. В подробности вдаваться не стал. Спиннинг давно смешался с остальными снастями и удочками, хранящимися в гараже.

Мишка два раза приезжал ко мне, привозил сувенир, который стал теперь символом дружбы между нами и противостоящими друг другу континентами. Я соответственно возвращал незамысловатую игрушку в Россию. Говно перелетело тысячу миль туда и обратно и стало объектом современного искусства. Ни я, ни Мишка этим не гордились. Мы выполняли свой долг. Потом Штраух умер при невыясненных обстоятельствах и унес тайну пластмассового дерьма в могилу.

Полеты во сне и наяву

17 мая 97-го года я спрыгнул с поезда Лонг-Айлендской железной дороги, отходящего со станции Вавилон. Поезд стремительно набирал скорость, и я долетел до самого конца платформы, приземлившись в нескольких сантиметрах от бетонного столба. Потрогав его шершавую поверхность, я понял, что остался цел чудом. Нужно прыгать на секунду раньше, сказал я себе, еще не ощущая разрушительного действия обманутого нутряного страха. Нужно научиться все рассчитывать. Даже самые нелепые ходы должны быть выверены, продолжал

рассуждать я, наблюдая бойскаутов, спускающихся со ступенек виадука. Я был абсолютно трезв. Причин для самоубийства не было. Романтика давно выветрилась из головы. Сумасшествие вышло из моды. Я знал, что есть люди, испытывающие себя, но к ним не относился: у меня не хватало для этого силы сухожилий и нервов.

Я попросил сигарету у старушки в джинсовом комбинезоне. Она протянула мне сразу несколько штук тонкого «Винстона» с ментолом. Я благодарно посмотрел ей в глаза, но закурить не успел. Подошла следующая электричка, и я был увлечен в нее потоком пассажиров вместе со старушкой и отрядом юных разведчиков. Я поглядывал на них всю дорогу. Они смотрели на меня с любопытством и осторожным детским уважением. Казалось, мы знаем какой-то секрет, но о нем не распространяемся.

Дела мои обстояли неважно. Контракты с колледжем, где я тогда служил, подходили к концу. Новой работы я не нашел, дружил со странными, полукриминальными людьми, спал со случайными женщинами. В Америке мне больше было делать нечего. В России тоже. С другой стороны, во мне жила уверенность, что я что-то понял. Сформулировать свое знание я бы не смог даже под пытками. Но это знание держало меня не только на плаву, но и на лету.

С поезда я спрыгнул потому, что сомневался, что он идет в нужном мне направлении. Идиотская мысль. Куда могут идти поезда из Лонг-Айленда, если не в город? И тут вдруг щелчок, короткое замыкание — и я у фонарного столба на перроне. Кризис среднего возраста (если он действительно существует) притупляет инстинкт самосохранения.

Я возвращался от подруги, с которой познакомился недавно на одном джазовом фестивале. В перерыве вышли на улицу покурить, обменялись телефонами. Дядя Вова, с которым я жил в те времена в Нью-Джерси, посоветовал сразу предложить барышне секс.

— А если она не по этой части?

— Она именно по этой части.

Он не ошибся. На следующий день мы встретились у нее на квартире на Ист-сайте. Потом она пригласила меня на Лонг-Айленд, но домой пока не позвала, предложив остановиться в беленьком флигеле на берегу Атлантического океана. Каникулы оказались короткими. Из командировки вернулся ее муж, и я был вынужден отправляться восвояси. Я не расстраивался, считая произошедшее мелочью жизни. Женщина считала, что с поезда я прыгнул от переизбытка чувств. Мне это льстило.

Я вышел на Пенн-стэйшн и машинально протолкался к выходу. Этим вокзалом я пользовался чаще, чем Центральным. Мне нравилось шляться по привокзальным лавкам, слушать разговоры бомжей в кабинках общественного туалета. Сегодня было не до этого. Я вышел со станции на улицу, клубящуюся киношным паром, и побрел к Таймс-сквер в пестрой толпе. Мне всегда казалось, что город чувствует мою оторванность и подспудно старается мне помочь. Миф о грубом и жестоком Нью-Йорке я не воспринял. Если он и был жесток, то ровно в той мере, насколько мне это было надо.

Я остановился в каком-то кафетерии и выпил двойную порцию Amaretto Di Saronno, дамского ликера, к которому не прикоснулся бы ни при каких иных обстоятельствах. Напиток не взбудрил, а пролился в глотку сладким лекарствен-

ным сиропом. Я понимал, что совершил очередной идиотский поступок, но ничего не мог с собой поделать. Более того, я чувствовал, что поступки эти начинают подступать ко мне лавинообразно.

Я добрался до Джерси Сити, пришел домой. Дядя Вова искоса посмотрел на меня, почувствовав неладное.

— Ты убежал от мужа по веревочной лестнице? — предположил он. — Я пристрелил его на дуэли.

Вова холодно усмехнулся.

— И все-таки ты что-то замыслил.

Он оказался прав, хотя никаких специальных планов я не строил. Мы поели вареной картошки с селедкой из местного русского магазина. Он предложил водки, но я отказался. Страх настигал меня непостижимым образом: вроде бы ничего не изменилось, но я уже стал другим человеком.

— Что случилось? — спросил дядя Вова тревожно. — Ты не хочешь водки?

— Я прыгнул с поезда, — сказал я. — Я прыгнул с поезда на станции Вавилон.

— Ты деградируешь, — сказал дядя Вова. — Скоро ты начнешь резать себе вены и травиться димедролом. Тебя надо изолировать от общества.

К нам зашел Большой Василий, мгновенно оценил обстановку и повез меня обратно в город, как он сказал, развеяться. Я повиновался. Мы посетили несколько русских ресторанов. Встреченные знакомцы как один сообщали мне, что я очень изменился.

— Ты замерел, — говорили они, но это вряд ли можно было считать комплиментом. Как вообще можно повзрослеть за два-три часа?

Вскоре я пел, как «ночью прыгал из электрички», бахвалился, мечал налево и направо окурки и оскорбления. От запоздалого страха я почувствовал обретение каких-то особенных прав. Слово «Вавилон» наполнилось для меня смыслом, отдающим непролитой кровью и предсмертным знанием языка, которым пользовались люди до момента его безжалостного распыления. Общение с людьми происходило теперь на фоне вечности, которая вроде бы на мгновение показала мне свои горизонты. Человеческие лица слились в неприятное пятно, прикосновения к знакомым и незнакомым женщинам приобрели покровительственный характер. Любое освещенное помещение представлялось родным домом. Судьба взглянула на меня сквозь пальцы и на этот раз — оставив меня вновь живым и невредимым.

В «Русском самоваре» мы встретили Сельму Вирт с ухажером, профессиональным карточный игроком. Мы прошли в помещение и расположились у них за столиком.

— Я сделал предложение твоей Сельме неделю назад, — сказал я Борису, здороваясь. — Теперь жду, как решится моя судьба.

— Я в курсе, — сказал картежник. — Она обдумывает твой почин. Я выступаю в роли психоаналитика.

В его словах звучало что-то обидное. Мои слова тоже были не очень вежливы. Мы угостились клюквенной настойкой, подняв тост за безумство храбрых. Я сходил неровным шагом на поклон к хозяину ресторана. Тот обнял меня и попросил вести себя потише.

В ресторане ужинал российский театр «Современник». Когда-то в подростковом возрасте я встречался с ними в уютном провинциальном городке на

берегу реки, мое будущее казалось мне бескрайним и светлым. Я заканчивал десятый класс. Труппа театра приехала на гастроли в наш родной город. Отец дружил с актерами, они приходили к нам в гости. Табаков звонил по телефону и кричал голосом мультипликационного персонажа «Генка! Генка!» Его жена Люся Крылова делилась планами о покупке нового гаража. Галина Волчек задвигала монументальные тосты. Красавица Неелова называла меня красавцем. Пьяная сентиментальность подступила к горлу, я подошел к одному из столиков.

Я рассказывал историю совместного отдыха с Олегом Табаковым на туристической базе, куда мы отправились с отцом и его товарищами на выходные. Осетры, снятые с самоловов, плясали на дощатом столе, врытом в землю на берегу Оби, спирт лился из алюминиевых канистр по алюминиевым кружкам. Я говорил не об общении со знаменитостью, я вспоминал черты утраченного рая.

— Утром я шел из барака в сортир, — говорил я, — и повстречал вашего Шелленберга. — Вы туда, а мы оттуда, — сказал он.

Меня брезгливо слушали, приподнимая иногда полунаполненные бокалы. Тогда, на реке, я пожаловался, что с некоторых пор боюсь прыгать в воду вниз головой: прыгал в детстве и получил травму.

— Ну и не прыгай, — ответил он мне философски. — Я, к примеру, не умею плавать и вовсе не хочу этому научиться. Оставь силы на что-нибудь другое.

Я пробрался к знакомому таперу и попросил сыграть Вертинского. Взял микрофон и заголосил «Ваши пальцы пахнут ладаном», но забыл слова после «дьякон седенький». Пригласил проходящую мимо женщину на медленный танец. Она была в желтом, шуршащем платье, дородная, выше меня на голову. Сказала, что собирается издавать в Нью-Йорке модный журнал «Птюч».

— У вас удивительно пустые глаза, — сказал я ей, танцуя.

Василий увел меня. Когда они с Борисом вышли на улицу покурить, Сельма сообщила мне серьезным тоном, что ее парень выражал искреннее беспокойство за мое психическое здоровье. Он сказал ей, что ему меня жалко. Что он хочет мне помочь, но не знает как.

— Глубокие соболезнования? — переспросил я издевательски. — Принимаются! Вот она, настоящая мужская солидарность. Скажи, что я им горжусь.

На обратном пути до Нью-Джерси я швырял из окошек Васькиной «Хонды» копии своего первого романа. Книжки лежали у него на заднем сиденье на случай, если нужно произвести впечатление. Они шлепались на асфальт возле пожарных гидрантов в виде бесплатной рекламы. Из России мне прислали их целую коробку. Всем, кому можно, я их уже раздарил. Больше желающих не было. Я делал все, чтобы вжиться в образ и оправдать жалость карточного шулера. Я играл в мученичество, имитировал тоску по родине и славе, но не принимал всерьез ни жизни окружающих меня людей, ни своей. Я мог сказать, что перебежусь и одумаюсь, но по большому счету всегда оставался в здравом рассудке. Что бы я ни делал, болтался по старым девам или прыгал с поезда, я смотрел на себя со стороны. Моя счастливая жизнь временно протекала там, где я ее оставил. И я всегда мог вернуться обратно в отличие от моих множественных друзей и знакомых.

Васька остановил машину у нашего парадного. Я попрощался с ним и уселся на ступеньках крыльца. Стояла теплая майская ночь. В мусорных бочках

вдумчиво и медлительно рылись опоссумы. К этим гигантским крысам я уже привык: в заброшенном здании напротив их гнездилися целый выводок. Горбатые, облезлые, с низко опущенными безобразными мордами, они вели ночной образ жизни и уже не раз доводили женщин до истерики своим видом. Глядя на них, я подумал, что можно одновременно иметь и жалкую, и устрашающую внешность.

Ко мне подошла собака с оборванным поводком на шее и уткнулась мордой в живот. Поджарая, светлая, она казалась до неприличия голой. Я погладил ее рукой по голове, прочесал за ушами, выуживая блох в свете тусклого фонаря. Дядя Вова застал меня за этим комичным занятием.

— Тебе звонила какая-то Хильда. Та самая? — он запустил пятерню в свою патриаршую бороду. — Ты ей понравился.

— Какая разница, Володя, как обмануть судьбу? — сказал я ему, сбивая блоху щелчком указательного пальца.

На секунду я сформулировал легенду своего существования. Моей задачей стало дойти до высшей степени непредсказуемости.

— Оставь силы на что-нибудь другое, — Володя добродушно повертел пальцем у виска.

Я попытался подняться, но не удержался на ногах. Вдохнул, прижал собачью морду к своей груди. Она пахла псиной и дачной плесенью. Я лег на тротуар, вытянулся, как и она, всем телом и заплакал.

Наталья Полякова

Жизни целое число

* * *

Это земля прозревает. Это она
Темнеет и мокнет, как свежие рваные раны.
Не семена прорастают в ней — времена
И новые страны.
Смерть догонит осколочно и картечно,
Растеряет свои отары
Так безжалостно, так беспечно
Задремавший погонщик старый.
Только осколок памяти слеповатый,
Только обмылок знакомой речи —
Всё, что останется нам от жатвы
Жалости человечей.

* * *

Дни заносишь в красную книгу —
Тепла исчезающий вид.
Собранную чернику
Свекольный сахар хранит.

Свет узнаёшь по блику,
По привкусу — летние сны
И ночь добавляет чернику
В манную кашу зимы.

* * *

Снег пришёл, и яблони уснули,
Яблоки под снегом залегли.
Прилетали птицы. Гули-гули...
Поклевали ягоды с земли.
Я им хлеба белого подкину,
Я им пшёнки сытной наварю.
Как они, жива наполовину:
Не замёрзну в зиму — воспарю.
Так живу, как раньше не умела,
Птичий дом и птичье права.
У судьбы в запасе то и дело
Новые находятся слова.

* * *

За просто так, за здорово живёшь
Ложится хлебом под армейский нож.
Расходится по страждущим рукам,
Ломающим его напополам,
Насущный день, присыпанный мукой.
Другим он быть хотел, но он другой:
Запёкшийся, с начинкою сырой,
Весною порастающий травой.
Так было присно и осталось ныне —
Молитва матери о муже и о сыне.
Из всех возможных и иных судеб
Не надломить с сырой землёю хлеб.

* * *

Пока легка для путника тропа,
Пастушьей сумкой порастает поле,
Где жизнь травы — смятение и борьба
И слово «жаль» нашло себя в глаголе.

Но посмотри, как много дел в саду,
Плоды сочатся сладостью земною.
И дом стоит у солнца на виду,
Что часовой с винтовкой за спиною.

Смотритель комнат, сторож пустоты
И междуречий шороха и скрипа,
Пока хранят портретные черты
На простынях «Влюблённые» Магритта.

* * *

Ноги держали в траве,
А голову клали на камни.
Пройдя Кара-Даг,
Разбредаемся по городам.
Но иногда мне кажется...
Кажется иногда мне...
Камень на камне
И сердце на сердце
Оставили там.
Так остаются
Отметины ножевые
На влажной коже
Сонных ещё берёз.
Так падают дети замятво
И тут же встают живые,
Боевые ушибы
Рассматривая всерьёз.

* * *

Ангел пролетает стороной
С готовальной и пером гусиным.
Он парит в просвете тёмно-синем,
Белый тубус виден за спиной.

Проводов натянут нотный стан.
Ласточек летающие ноты,
Чередую такты и длинноты,
Август разрезают пополам.

Это жизни целое число —
Стало дробью. Ты её числитель.
Беспокойный близорукий житель,
Будь здоров. А прошлое прошло.

Сергей Дмитренко

Старушки и старички

Рассказ

Шел Володя по коридору, а навстречу начальник.

— Попался ты мне, Владимир Степанович, как нарочно. Только что о тебе говорили.

— Даже интересно.

— Ничего интересного. Немцы тебе командировку закрыли. Так обтекаемо написали, что чувствую: по твоему проекту у нас с ними полный швах. Попадает под санкции тютелька-в-тютельку.

— Ну и хрен с ними. Апрель на носу, на даче делов полно.

— На даа-аче! Только-только к пенсионерам приписали, а туда же... Отец-то, небось, работает?

— Это он так, консультантом, после смерти мамы. Чтоб не затосковать. Я ж не на пенсию уходить собираюсь, а на дачу ездить...

— А в Германию, значит, не хочешь?!

— Да был я в Германии. Исколесил, можно сказать.

— А я бы съездил еще. Ты зайди ко мне к концу рабочего дня, обсудим ситуацию.

— Зайду...

Хотя чего обсуждать?! Все ясно. Санкции тоже не их партнеры придумали. Да и вправду поездил он по Германии за эти-то двадцать лет.

Двинул дальше.

По тому же коридору, как тогда.

И тогда шел Володя по коридору, никого не трогал. Его бы не тронули, поскольку по научно-исследовательской надобности тащил он в своих объездах здоровенное устройство из армейского зенитного прожектора. А тут навстречу тогдашний директор института вместе с этим немцем. Стандартным, между прочим, совершенно немцем: Фридрих по имени. То есть как Фридрих Энгельс, почти Карл Маркс, ну, там до кучи Фридрих Шиллер и Фридрих Ницше, его книжки стали тогда часто издавать... Да и фамилия у немца без этого самого

Дмитренко Сергей Федорович (1953) — прозаик, историк русской литературы. Служил в ВВС. Окончил семинар прозы Литературного института имени А.М.Горького и его аспирантуру. Кандидат филологических наук, доцент Литературного института. С 1993 года работает в издательском доме «Первое сентября», ныне — шеф-редактор журнала «Литература». Лауреат премии «Нового Журнала» (Нью-Йорк) за лучший рассказ (2001), финалист премий «Русский Декамерон» (2003), «Нонконформизм» (2011), международного Волошинского литературного конкурса (2015).

«фон» — не обошлась, то есть фон Вальгенау. Орднунг мусс зайн, как у них принято.

И директор этому немцу, про которого Володя еще и не знал, что он немец, сказал, тем более, по-английски (а инглиш у него был почти ломаный — Володя не только все понял, но потом директора, где надо, и дополнил); сказал директор, что вот, мол, еще один наш сотрудник, еще одна светлая голова.

А это, битте-дритте, наш гость из Федеративной Республики Германии. Сам-то он искусствовед, но зашел в их НИИ по просьбе старшего брата, который как раз электротехник и, пользуясь теперешней гласностью и конверсией, хотел попросить русских коллег о разыскании уникальных электромагнитных пускателей тридцатых годов. Мол, в электротехническом музее при их фирме таких пускателей — хотя бы одного пускателя — очень не хватает.

Само собой, первым делом Володе захотелось искренне удивиться и спросить, неужели никто из соотечественников уважаемого искусствоведа и его электротехнического брата не прихватил с собой парочку этих пускателей, когда гостил у нас в первой половине сороковых годов.

Но наяву Володя ответил, что хотя вопрос непростой, он, ради дружбы народов, мира во всем мире, в объединенной Германии и в независимой России, постарается один пускатель раздобыть. Когда камрад, то есть герр уезжает?

Герр уезжал на следующий день, и Володя наутро этот пускатель ему притащил и вручил, не предлагая подробности. Этому Фридриху фон Ницше-Энгельсу ни к чему было знать, что пускатели им искомые до сих пор там и сям у нас работают. Володе его даже снимать ниоткуда не пришлось — из склада запчастей взял. Запчасти у нас имеются, хотя в наличии дефицит тотальный. Суди как хочешь: то ли пускатели эти такие хорошие, что менять их не надо, то ли мы такие-сякие, что нам даже не до модернизации пускателей.

Словом, брат своего брата уехал на родину с пускателем чуть ли не в обнимку и вприсядку, а Володя сразу обо всем этом забыл.

Но не забыл Фридрих и, что особенно удивительно, его не видимый еще брат. Примерно через год директор сообщил, что Володю разыскивает брат Фридриха, этот самый электротехник с очень, разумеется, оригинальным немецким именем — Вальтер.

Оказалось, что подаренный пускатель настолько очаровал Вальтера, что он решил познакомиться с этим чудесным русским и приглашает его в гости в Германию. А поскольку они с ним коллеги, предлагает совместить туризм с работой (или работу с туризмом, подумал Володя) — обсудить перспективы российско-германского сотрудничества между нашими фирмами.

Фирма Володи была прежде полузакрытый институт, в героических муках пытающийся пережить конверсию, а фирму этого Вальтера он вскоре увидел и стал в ней частым гостем.

Сам Вальтер провел несколько месяцев на Восточном фронте, счастливо получил тяжелое ранение в ногу — и в конце концов уцелел. Они с братом потом говорили Володе — сдержанно, без похвальбы, но с достоинством: в их семье не любили Гитлера. И вообще не любили военных. Их дело — изобретать, производить... Брат Вальтер, по этой своей традиции и стремясь к окончательному искуплению вины за кровопролитие между нашими народами, решил создать несколько совместных фирм и поставлять в Россию всяческую электротехнику с видами на развитие. И стал Володя при нем вроде эксперта-консультанта.

«Вы — честный», — однажды объяснил ему простодушно свое благорасположение Вальтер.

А как ему не быть честным и независимым по отношению к немцам?! Его, Володин отец — даже если не вспоминать других родственников мужского пола, да и не только мужского, — его отец с января сорок второго по май сорок пятого находился в боях, если не с самим Вальтером, то с соотечественниками Вальтера. И не только с соотечественниками, но и с вальтеровыми союзниками: в последний раз отца в госпиталь — тогда плечо *зацепило* — отправили венгры под городом Сегед.

С другой стороны, надо полагать, никому другому уже из Володиных соотечественников Вальтер подобного странноватого комплимента сказать не смог, иначе почему на деньги Вальтера по Германии ездил именно Володя?!

А ездить он туда и там ездить стал часто. Оказалось, командировки эти нужны и полезны не только для немцев, которые их организовывали. Не только для Володи полезны, который из них кое-что привозил, благодаря хорошим командировочным. Даже их институту появлялась заметная польза. Хотя ездил-разъезжал он как-то полугуристически. Немцы подробно показывали ему электротехнику, они обсуждали, подходит ли она для России и что в ней нужно изменить... Дальнейшее согласовывалось уже с другими людьми — если согласовывалось. А он ездил. Хотя, когда предложил ему Вальтер в первый раз, Володя ответил, что надо подумать, много и в России работы (при том что работы было так, шалей-валяй), а сам вечером позвонил отцу в Окуловку, где жили родители, и рассказал, что вот, мол, немцы приглашают приехать к ним в командировку — полностью за их счет.

— Езжай, — сказал отец.

— А как ты к этому относишься? — спросил Володя прямо.

— Никак, — честно признался отец. — Это же по работе тебя пригласили, а наших военных тайн, знаю, ты не выдашь, не так ли? — Здесь в голосе отца продребезжала ирония. — У немцев есть чему поучиться.

— Ты бы поехал? — совсем впрямую спросил Володя.

— А я там уже был, — теперь с какой-то даже, как показалось Володе, игривостью ответил отец. — И хорошо все помню. Вот в Венецию я бы съездил. А мама в Барселону хочет... Насмотрелась этой... «Рабыни Изауры»...

— Так Барселона — это же Испания...

— Каталония, — с учительской въедливостью уточнил отец. — Куда ей в Барселону... То сердце, то ангина... Нам бы поближе, в дом отдыха какой... Да где сейчас... Нет, если бы возможность была, я бы в Африку южную прокатился, на жизнь зулусов посмотреть... Поплыть туда на корабле каком-нибудь... — вдруг он оборвал свои словесные путешествия. — Поезжай — потом нам расскажешь.

После такого разговора стал Володя ездить — не тужить. Ну покупал родителям подарки, марки-деньги давал — правда, вдруг мама проговорились, марки эти она не тратит, а откладывает — на похороны! Себе и отцу на похороны. Ну надо же... Еще только семьдесят стукнуло, а уже готовятся! Никаких вам марок, стал Володя давать рублями, хотя инфляция страшная... А чаще всего продукты привозил-передавал... Вещи. Отцу — плащ и портфель (он все работал), маме — тостер, вещь европейская. Потом электрочайник...

Но вот отец его напутствовал — ехай! — однако от поездки к поездке стало Володю все больше задевать одно наблюдение.

Ведь он не просто в Германию ездил, но и по Германии. По фирмам, заводикам — из города в город. Вальтер ему составлял маршруты, снабжал билетами, как говорится, контактными телефонами и всем прочим необходимым.

В сравнении с нашими расстояниями страна небольшая, но все же поезда, переезды... Два часа едешь, а то и все четыре.

И вот Володя едет. А ездил он, понятно, не летом — в другие, рабочие сезоны. Немцы летом, как положено, отдыхают.

Едет Володя, разумеется, поездом. Самое удобное и быстрое. А поезда у них, как у нас электрички, — не по заплеванности, конечно, а по расположению: в вагоне ряды сидений, понятно, не драных, хотя часто с этими самыми граффити, размалеваны дурацкими рисунками и словами. Но краска не мажется, особая, что и говорить, краска. Иногда, правда, бывают вагоны и с купе — на шесть человек, места опять же сидячие. Первый класс, второй...

Само собой, ездил Володя во втором классе, отличий, в общем, не было, всматриваться надо, чтобы различить, а по цене — заметно. Хотя, наверное, немцы могли бы ему и первый класс оплатить, если бы он обосновал. Но для чего?

Во втором классе он ехал с народом, как есть, не с белыми воротничками. Те, впрочем, чаще на самолетах: не только в Америке время — деньги, и в миниатюрной Германии они его экономят всюю. Даже Володя однажды сподобился — из Франкфурта в Мюнхен понадобилось быстро перелететь. Билет оказался даже в бизнес-классе, где стюардессы за время этого перелета-перескока успели им всем разнести и раздать по банке пива с сэндвичем, то бишь с бутербродом, где не только *бутер* было, но и колбаса, и сыр, и лист салата.

В поездах соседями Володи чаще всего оказывалась молодежь. Ее было заметно и слышно, шумные, хотя и не наглые, куролесят согласно занятым местам, а на соседские — ни-ни, только: бла-бла-бла без контроля децибел.

Бывали также старушки и старички. Не только одинокие старушки, которых тоже хватало, но и со старичками. Такие благообразные парочки, чистенько одетые, и даже с претензией на классическую моду. Их было заметно много, и вскоре Володя стал не только обращать на них внимание, но едва ли не считать их. Так... на перегоне Дюссельдорф—Кельн насчитал четыре пары... А вот в Тюбингене вместе с ним сели две, такие бодрые, дед чемодан тащил, как молодой, ему и колесики не очень нужны были... Впрочем, чемодан у таких пар был редкость. Чемоданчики, саквояжики... Стюард везет по вагонам тележку со снедью, обязательно остановят, кофе закажут... эти самые бутерброды опять же...

Володя-то еду с собой возил. В поезде дорого, а так наберешь в супермаркете «Альди» или в «Плюсе» (цены почти как в «Альди») колбасы, сыра для тостов, хлеба нарезанного и так далее, вот тебе — дешево и душевно. Тем более, что там и пиво, и шнапсу всякого можно взять — почему бы не продегустировать? — и даже виски, например, из штата Кентукки. Понятно, не элитные сорта, но все же за качеством немцы следят. Пьется бурбон! и еще как пьется!

Тогда, в конце октября, Володя опять отправился в командировку. И в тот день с утра он вначале ехал до Кобленца. В Кобленце у него была пересадка на Гейдельберг, который Володя уже привык произносить по-немецки: Хайдельберг. Говорили: красивый город. Вот Володя туда и ехал в первый раз, с

ночевкой, то есть с видами не только с делами разобраться, но и городишко посмотреть. Замок там какой-то на горе, очередной.

На этот раз педантичные сотрудники педантичного Вальтера снабдили его не просто билетами, а билетами с местами. Рассчитали маршрут от и до, только кататься. Хотя Володя предпочитал ездить в вагонах с общим салоном, в поезде на Хайдельберг у него оказалось место в вагоне с купе. Но коль с местом, значит, с местом.

Хотя пассажиров в поезде вообще было немного, Володя решил сесть по билету, потому что немецкому контролеру-кондуктору едва ли объяснишь, даже если бы у Володи был достаточный словарный запас, почему занял не тот плац, который у тебя в бумаге пропечатан, а угнезвился на свободное место.

Со всех сторон купе для него было не очень удобно. И перекусить в купе не очень-то ловко. Восседай, среди других пассажиров зажатый. «Альди» Володя в Кобленце не нашел, купил в каком-то магазинчике, тоже не очень дорогим, колбасы нарезанной упаковку, сыра для тостов, хлеба также нарезанного, неплохого, с семечками, то есть с зернами подсолнечника, бутылочку апельсинового сока... Тут же в магазине соорудил несколько бутербродов, чтобы по месту потребления не возиться. Володе на удивление сортов хлеба в Германии оказалось множество, и вкусных! Хотя Вальтер просил, чтобы Володя всегда привозил ему одну-две буханки бородинского. Он и привозил, но без подробностей: а хороший бородинский и в Москве на каждом углу не купишь, поискать надо бородинский, а то и в Черемушки съездить, в магазин при комбинате, где настоящий бородинский. Но пока что Володя с удовольствием отведаст и простого немецкого хлеба с семечками.

Выпить у него уже было, вчера взял бутылку бурбона, ноль-семь, двести выпил вечером в гостинице, остальное перелил во пластиковую фляжку из-под водки «Финляндия», удобная штука, он ее давно возил, с первого раза, когда эту самую «Финляндию» приобрел на борту самолета, у стюардессы с тележкой всяческого спиртного, зачем выбрасывать, весу никакого — удобная тара для последующих пополнений.

Уже на вокзале Володя сообразил, что когда он проголодается и возьмется за свои бутерброды, отхлебывать бурбон из фляжки «Финляндии» будет полная дикость для немецких-то глаз. Поэтому Володя быстро принял мудрое решение. Потратившись на банку кока-колы из автомата, стоящего рядом на перроне, он тут же ее осушил и, сидя на решетчатой скамеечке, непринужденно залил порожнюю бурбоном. Во всяком случае жидкости по цвету схожи. Даже перестарался немного, и чтобы не плескалось очень, пришлось бурбона уже из банки ему отхлебнуть. А пока раздумывал, не хлебнуть ли еще, для верности, и поезд его подошел.

В своем шестиместном сидячем купе Володя обнаружил лишь одну немецкую девчонку, наверное, студентку. Их сразу узнаешь по какой-то балахонистой, неглаженной разностильной одежде. Ну, студентка — это нормально. Порадовало, что его место у окна и прямо перед ним столик. Повертев в руке банку с надписью «Coca-Cola» — мучила человека жажда на перроне, и вот он купил себе безалкогольного напитка и, поздоровавшись с соседкой, Володя первым делом поставил банку на этот пустой совсем столик. Даже установил, чтобы она ненароком не перевернулась, когда поезд понесется вдоль Рейна.

Уселся и сам. Но недолго он воодушевлялся отсутствием пассажиров. Еще не начались свистки перед отправлением, как в купе появились как раз

старичок, ведомый старушкой, возраста, похоже, его родителей. Сверившись с местами и радостно обменявшись какими-то своими немецкими репликами, закатили и свой зелененький чемоданчик на колесиках. Растерянно огляделись: как бы его закинуть на багажную полку, оба ведь были не только в возрасте, но еще и росту небольшого, даром что немцы. Что ж, гражданин страны-победительницы поможет, даже и без просьбы, с учетом почтенных лет дорожных соседей. «Битте шен?» «Я-я, данке шен». «Абд гемахт — дело сделано», — прокомментировал свои действия Володя, водрузив чемодан на положенное ему место.

На этом его словарный запас к случаю и стимулы к разговору были исчерпаны. Он вновь занял свое место и устался на перрон Кобленца, надеясь, что доукомплектации их купе не произойдет. Девушка сидела рядом с ним на среднем месте, старичок и старушка напротив. Остались свободные места справа и слева от входа. Может, из этих тоже кто-то скоро выйдет. Поезд тронулся.

Старичок незамедлительно завел оживленный разговор с девушкой. О чем они там говорили, Володя не вслушивался, да если бы и вслушивался, при его-то знании языка... Он уже отметил словоохотливость немцев, что поначалу для него с представлениями о нордическом характере, почерпнутыми из сериала о Штирлице, казалось странным. Вроде они обсуждали что-то из биографии девушки, фатер-муттер и прочее. Володя достал сборник детективов, прихваченный из Москвы, и взялся за чтение.

Но очередная история от тетушки Агаты шла плохо. Старичок, точно, был приткий. Хотя девушка, надо признать, к красавицам не относилась. Немки, как известно, славны не лицом, а фигурами и ногами, видимо, из-за приверженности к передвижению на велосипедах. А старичка соотечественница, конечно, сразу взяла своей юностью. Его старушка, вся в кружевных шалих, обшлагах и воротничках, слушала щебет супруга внимательно, но благосклонно молчала. Плащи свои они, понятно, сняли, аккуратно повесили на крючки, посетовав, что нет плечиков. Это Володя понял — чтобы с плечиками, надо в первом классе ездить... или с собой возить. Старичок тоже одет не дешево, и ткань серенького вроде костюмчика ничего себе, и пошит соответственно, и платочек беленький треугольничком из нагрудного кармана выглядывает, словно не путешествует, а на концерт или в кирху свою собрался... Рубашка опять же белоснежная, галстук пестренький, шелковый, совсем не стариковский, а вот и запонка блеснула...

В Бингене купе заполнилось. Села немолодая, но моложавая пара: вероятно, муж и жена.

Освоились они быстро. Обсудив что-то между собой по-польски (это Володя мог различить), пара незаметно присоединилась к разговору девушки со старичком — уже на языке страны пребывания — и не успели доехать до следующей станции, как беседа стала общей. Молчал только Володя — что он мог им сказать по-немецки? Хендэ хох? Цурюк? Фройндшафт?

Худошавый поляк, довольно-таки затрапезно одетый, вдруг, извинившись, обратился к Володе на довольно чистом русском языке. Спросил, не из России ли он. Володя, всецело упакованный в шмутье немецкого производства, причем купленное на заработанные марки, а не подобранное в центрах гуманитарной помощи, куда его, впрочем, тоже водили сердобольные камрады, было огорчился, что поляк его вычислил (а ведь Вальтер ему недавно сказал в порядке комплимента, что выглядит он как совершенный немец, что-то в этом роде, секретарь переводила), но следом догадался: книга! Книга-то на русском.

Впрочем, что, немец не может читать Агату Кристи по-русски?! Теоретически возможно.

Ладно, поляк. Сдаюсь. Раскусил. «Да, я из России». Даже из Москвы. Путешествуете? — не отставал поляк. По Европе мы путешествуем на танках, — вертелось на языке у Володи. Какого черта! Что, русских не видел? Судя по языку, очень даже видел, не мимолетно видел. Так и быть, признаюсь, не военную же тайну выдаю. «Я здесь в деловой поездке». Володя говорил с поляком, как со своими соотечественниками, то есть речь не замедлял, слова попроще не выбирал. Лови смысл слета, поляк!

Поляк спросил, будет ли теперь хорошо в России, принимает ли народ перестройку. Володя дипломатично ответил, что народ примет любую власть, если власть помогает народу или хотя бы ему не мешает. Поляку ответ понравился, он засмеялся, его спутница или жена едва кивнула. Поляк посмотрел на нее и пояснил Володе, что она все понимает, но не хочет разговаривать. Полячка кивнула — на этот раз с полной определенностью.

Володя пожал плечами, показывая, что он не совсем понимает, что ему сказали, но, во всяком случае, ему нет нужды о сказанном раздумывать.

Девушка что-то скороговоркой выпалила старичку, но тот понял и внимательно посмотрел на Володю. Володя ответил ему столь же внимательным взглядом, так что старичку пришлось уставиться в окно.

Володя взял свою банку, повертел в руках и отставил ее чуть дальше от старичка. Надо бы перекусить. Хотя бы кто-то из них начал, а он бы тоже достал свои бутерброды.

Но поляк не унимался. Спросил, не боятся ли они в России, что коммунисты могут вернуться.

«А они пока никуда не уходили, без раздумий ответил Володя. — Просто спрятали партбилеты и продолжают свои дела. Распределяют. Ваучеры придумали. Суда над коммунистами не было, и они опять в Москве стрельбу устроили».

Его самого порадовало, что он свободно говорит все это чужим людям, иностранцам, ему наплевать, кто это слышит и как истолкует.

«Да, сказал поляк. — Вам нужен свой Нюрнбергский процесс. Иначе может вернуться Сталин, новый Сталин».

Полячка сидела с неподвижным лицом.

Девушка, как видно, переводила старичкам то, о чем они говорили. Володя понял, что она тоже понимает русский язык.

«Или новый Ленин, — ответил Володя поляку, боковым зрением наблюдая за старичком, который также украдкой наблюдал за Володей. У него явно отработан такой взгляд, блестящие юркие глазки. Вероятно, еще недавно не пропускал ни одну юбку, да и теперь — наблюдает. — Какой может быть Нюрнбергский процесс, если у нас миллионы были в коммунистах. Кто будет судить?» И в упор, даже перебивая, спросил девушку, понимает ли она по-русски.

Девушка не смутилась и сказала, что жила в восточной Германии. Именно так, не в ГДР, а в восточной Германии. «У нас все учили русский язык». Теперь она студентка в университете Фрайбурга, но третьей специальностью взяла славистику. Любит русскую литературу. Особенно Паустовского и Тургенева. Правда, Тургенев для нее сложнее.

Володя не понял, что такое «третья специальность», но сказал, что, конечно, русская литература стоит того, чтобы читать ее в подлиннике. И даже похвалил

девушку за самостоятельность. «Впервые встречаю немку, которая не назвала Достоевского своим любимым писателем»

«Вы, наверное, пока что мало встречали немок», — улыбнулась девушка. Она пояснила, что изучает экономику и надеется, что с русским языком легче получит место в какой-нибудь совместной фирме.

«Если в Россию не вернется Сталин, засмеялся поляк. — Вместе с Лениным», — прибавил он и подмигнул Володе.

Девушка вновь прилежно переводила старичкам.

Полячка была неподвижна, лишь вздрагивала от качаний вагона разогнавшегося поезда. Володя внимательно следил за банкой на столике («Может, отхлебнуть?»). Но лишь поправлял ее, когда она начинала ползти от окна к центру столика.

«Ленин тут же займется мировой революцией и прежде всего dokonчит в Европе то, что не успел в прошлый раз», — Володя старался произнести это так, чтобы поляк и девушка поняли: он шутит.

Полячка что-то вполголоса сказала мужу, и он развел руками.

«Просит закончить этот разговор, честно признался поляк. — Она выучила русский язык в вашем лагере, ей неприятно вспоминать об этом времени».

Полячка тихо, почти сквозь зубы проговорила еще несколько слов, а Володя, благодаря тому, что она вступила в разговор, смог получше рассмотреть черты ее лица, и сейчас отмеченные красотой то ли благородства, то ли достоинства, несмотря на то, что они были резковаты. Да, она была красива.

«Как же вы там оказались? — почти искренне удивился Володя. — Ведь вы... молодая».

Полячка опять молчала.

«После войны, — пояснил поляк. — Когда у нас были ваши. Арестовали, обвинив в антисоветской агитации, и отправили в лагерь. В Сибирь. Она была совсем девчонка».

Володя краем взгляда заметил, что старичок у окна, слушавший перевод студентки, застыл, вжался в свой угол. Его старушка сидела величественно, то ли опустив взгляд, то ли полузакрыв глаза.

Володя вздохнул. Он, по правде, мало что знал о Польше, о том, были ли там наши войска после войны. Знал, что, когда началась «Солидарность», Брежнев обошелся без ввода войск. Может, Афганистан помешал.

«Я не знал об этом, сказал Володя. — Не знал, что поляков тоже репрессировали. У нас много писали про прибалтов...»

Что ты оправдываешься, сказал он сам себе и вновь посмотрел на банку. Нет, сейчас не время.

«Вы, наверное, жили на спорных территориях, обратился он к полячке, как будто это что-то могло оправдать. — Западная Белоруссия, Западная Украина».

Ответа не было. Наконец ответил поляк. «Она из-под Быдгоща. Это далеко от вас». Вздохнул и повторил: «Простая девчонка из-под Быдгоща поехала в Сибирь. В Восточную Сибирь».

Студентка прилежно перевела.

«Бромберг», — произнесла старушка. Голос у нее оказался очень низким, но совсем не старческим.

Услышав, старичок вздрогнул и вопросительно посмотрел на старушку. Та утвердительно кивнула.

«Да, почему-то торопясь, — подтвердил поляк. — Немцы называют его Бромберг».

Студентка прилежно перевела. Володя, не совсем поняв насчет названий, хотел спросить у студентки: город находился в Восточной Пруссии? Однако поезд, опять прибавив скорость, заложил вираж, банка поехала по столику, он ее подхватил, повертел в руку и отхлебнул. Да, закусить бы бутербродом, но остальные словно забыли о возможности и даже необходимости перекусить в дороге.

«А я не люблю кока-колу, — сказала студентка. — Совсем не утоляет жажду». Последнюю фразу она произнесла очень чисто, как будто долго отработывала ее, готовясь к уроку русского языка.

«Я тоже не большой поклонник этого напитка, — согласился Володя, не слишком поворачивая голову в сторону студентки. — Но на вокзале не было ничего подходящего».

Девушка пожала плечами, ей, кажется, было неловко за свое замечание. Какое ей дело, кто что любит.

Но поляк, обрадованный, что тема сменилась, а разговор продолжается, ткнул пальцем в отставленную Володей банку. «Американский напиток, — сказал он и добавил: штучный», но тут же поправился: «искусственный».

Его русский был очень неплох, и хотя он вставлял иногда польские слова, нередко поправлял сам себя.

«Вы прекрасно говорите по-русски», — сказал Володя, чтобы сделать ему приятное, просто так. Но все же прибавил: «Надеюсь, учили язык не в тяжелых обстоятельствах».

«Наверное, — согласился поляк. — Я жил в народной Польше. Учил русский, как она». Как-то подбородком указал на студентку. Мы же не знаем, как зовут друг друга, подумал Володя.

Поляк посмотрел на жену. «Потом меня направили учиться в город Куйбисhev...»

«Теперь он называется Самара, — радостно сообщил Володя. — Возвратили старое название».

Студентка молчала, не зная, переводить ей или нет, но старушка что-то коротко сказала ей своим тяжелым голосом, и она стала переводить.

«Вот видите, не все у нас было плохо, — мягко сказал Володя. — Вы у нас учились...»

«Да, — сказал поляк и обнял жену. — Встретил ее».

Почему он не называет имени? — подумал Володя.

«Помог ей из России выбраться», — поляк посмотрел на жену, а она пристально посмотрела на Володю и так же свободно отвела взгляд. Именно! Красивая женщина даже сейчас.

«Это было... — Володя замялся, но посмотрел на полячку. — ...после вашей реабилитации?»

«Да, — ответил за нее поляк. — Она уже была освобождена. Но началась какая-то жизнь, свои сложности».

Жена положила свою ладонь на правую руку мужа, словно стараясь придержать ее,двигающуюся в разные стороны при его рассказе. Володе подумалось, что в этой паре суровая дама не очень-то управляет постоянно улыбающимся, говорливым своим супругом.

Зато он не мог сказать, какие отношения сложились у этого щегольского

старичка с его басовитой старушкой. Тот полностью вжался в свой угол, замер, не издавая ни единого звука. Даже взгляд его был неподвижен, хотя глаза при этом ярко блестели.

Володя вдруг увидел, что лицом немец похож на его отца. Та же округлость при довольно глубокой ямке на подбородке, те же несколько нависшие надбровья... Но ростом немец не вышел. И сидит отец совсем не так. Никогда Володя не видел, чтобы отец так сворачивался телом.

«Едут, — думал Володя, вновь и вновь отхлебывая из банки мелкими, лишь смачивающими горло глотками. Они здесь едут, а его родители сидят в своей Окуловке, рубли пенсий и отцовской получки по кучкам раскладывают».

Володя хотел представить все это. Увидел невеликую родительскую кухню при унылом свете старой шестидесятиватки, спрятавшейся к тому еще в большом стеклянном колпаке, расписанном красными цветами. Вот сидит отец, без очков, до сих пор они ему почти не нужны... впрочем, как видно, и этому старичку. Рядом мама. Пьют чай из больших бокалов, которые он им не так давно привез. Бокалы с изображением Эйфелевой башни. Купил, правда, в Москве, на вещевом рынке в Дорогомилово. Мамин, или считалось, что мамин, вскоре чуть треснул — дрянцо товар! — но мама не расстроилась, сказала, что теперь у каждого из них, то есть у нее с отцом, будет своя чашка. А с чем они его пьют? — стал предполагать Володя. С сахаром вприкуску? Наверное. При том заварка — одно название. Тот приличный чай, что он привозил, наверняка закончился...

В коридоре раздался колокольчик поездного буфетчика. Старичок радостно вздрогнул, но, открыв очи, опасливо посмотрел на Володю. А Володя взгляд не отвел — напротив, вновь хлебнув, постарался глазами высверлить старичка до глубин его нутра.

Верно от этого, не без труда отворив уста, старичок все же постарался так оживленно пригласить старушку перекусить, что та несколько опешила. А затем быстро заговорила, определенно показывая глазами на кругленький, хотя и не очень большой живот старичка. Но старичок не сдавался, и когда буфетчик возник за стеклом двери, он с возгласами стал подавать ему приглашающие знаки обеими руками.

Обрадованный Володя, давно ощущавший необходимость закуски при этой нервической выпивке, полез за своими бутербродами, и пока старички выбирали свое (старушка понабрала не меньше старичка), начал еду. Оказалось, что и у гордых поляков снедь была припасена своя, и бутылки с каким-то ягодным йогуртом, и у студентки был небольшой багет в фольге. Правда, она еще взяла у буфетчика зеленый чай.

Неторопливо жуя бутерброд и продолжая делать глотки из своей банки, Володя не оставлял раздумья о родительском чаепитии в родной их Окуловке. Наверное, сейчас они чай не пьют. Или пьют? Володя посмотрел на часы. Скоро четыре. У них, значит, шесть.

«У вас пересадка? — спросил поляк, прожевывая откушенное им от чего-то рулетоподобного. — Мы пока опаздываем на три минуты».

«Мне до Хайдельберга», — ответил Володя со всем возможным безразличием, тем предлагая и поляку быть безразличным к причинам, по которым он смотрит на часы.

«А у меня в Хайдельберге пересадка на Фрайбург, — включилась студентка. — Но они не отправят поезд, пока не придет наш. Все на одном перроне.

— Она немного задумалась, а потом почти выпалила: «Перебегу!» И улыбнулась Володе: «Правильно?».

«Парфэ!» — кивнул Володя, вновь прикладываясь к банке. Даже некрасивые девчонки становятся почти красавицами, когда так улыбаются.

«У меня по русскому языку всегда была единица», — похвасталась студентка, а Володя не сразу вспомнил, что у немцев единица — высшая оценка, наша пятерка. А когда вспомнил, тоже улыбнулся.

Старичок, трудившийся над сосисками с картофельным салатом, вновь ожил и, видно, спросил у девушки, о чем дискуссия.

Девушка подробно стала пересказывать последствия беглого взгляда Володи на часы. Что-то добавлял поляк, включилась и старушка.

Володя был оставлен в покое. Нет, родители будут пить чай попозже, понятно. И вообще с чего он взял, что вприкуску. Подумал бы еще, что пустой. Варенья, повидла, джемов у них полно. Клюква уже есть, брусника, костяника. Север севером, а ягоды такие, что здесь и не видывали с их драй-фрюхтен! Отец не так давно, летом, сказал ему: «Производство упало, зато экология улучшилась!»

— Вы говорили, что теперь Самаре вернули имя? Как она сегодня? — спросил поляк, сворачивая в хрустящую бумагу несъеденное и, очевидно, приняв к сведению, что Володя тоже управился со своими бутербродами, а также опустошил свою кока-колу.

— Я в этом городе, к сожалению, не бывал, — Володя достал из сумки бутылку с апельсиновым соком. Поляк посмотрел на нее с некоторым удивлением. — Но по нашей стране поездил. У меня отец — агроном.

Девушка, потягивая свой пакетиковый чай, продолжила переводить старичкам, длившим свою трапезу.

— Я тоже бывал в некоторых ваших городах... — жена поляка посмотрела на него темным взглядом, и он замолчал.

— Отец — агроном, и мы жили в маленьких городках. Иногда в селах.

— Вам это нравилось?

— С друзьями было трудно расставаться, когда уезжали. Но у отца редкая специализация, он во многих местах был нужен. Куда он, туда и мы с сестрой и мамой. Зато страну посмотрели.

Володе было наплевать, что там эта студентка старичкам переводит, хотя, впрочем, интересно, почему лицо старушки оставалось непроницаемым. Старичок-то, склоненный над своим нескончаемым салатом, украдкой выстреливал в Володю испуганным взглядом.

— У вас есть что посмотреть, — сказал поляк. — Жизни не хватит.

Эти слова он произнес жестко и четко, а затем в упор посмотрел на Володю.

Володе это очень не понравилось, и он также уперся взглядом в лицо поляка, передавая ему безмолвное: «Хочешь спросить, почему нам у себя не сидится, почему все норовим за границы вылезти?! А это у нас называется всемирная отзывчивость. Читал Достоевского?!»

Поляк резко повернулся к окну, потом сказал, обращаясь к старичку:

— Der Zug kommt schnell, aber zu spat.

«Поезд идет быстро, но опаздывает». Это и Володя понял — по-немецки поляк говорил с сильным славянским акцентом. А старичок почему-то радостно закивал и затем, глядя на Володю, развел руками.

— Zug kommen nach Fahrplan, — проговорила старушка не поворачивая головы.

— Поезд придет по расписанию, — перевела студентка, понятно, для Володи, но и это он сам понял.

— У вас по России удобнее летать самолетами, — сказал поляк Володе.

— По-разному, — возразил он. — Например, в гости к родителям езжу поездом. Всего шесть часов, даже меньше.

Студентка продолжила перевод.

— Шесть часов! — воскликнула старушка. — Это как от Кёльна до Берлина! Через всю страну.

— Где же они у вас живут? — спросила студентка и перевела старичкам свой вопрос.

— Между Москвой и Петербургом. В Новгородской области, — спокойно произнес Володя. — Думаю, вы знаете эти города. — Улыбнулся.

Девушка перевела. Старушка выслушала, кивнула. Ответила. Старичок посмотрел на нее и кивнул тоже.

— Мы летаем самолетом, — перевела девушка.

— У нас другие самолеты, — что ж, рассказывать им, что даже в Новгород Великий у них самолеты не летают. Да и от Новгорода до маленькой Окуловки полторы сотни верст, это небось, как сейчас — от Кобленца до Хайдельберга. — Поездом удобнее.

Старичок вдруг заговорил, а когда закончил, посмотрел на студентку с настороженностью.

— Он говорит, что у вас в России другой... другие... — она замялась, ища слово, показала, сводя и разводя раскрытые ладони, — другой размер рельсов...

— Колея, — подсказал Володя, поняв. — Да, у нас железнодорожная колея шире, чем в Европе.

Девушка радостно закивала головой.

— Мне рассказывали, — поляк хмыкнул, — что это придумал ваш царь Николай. Хотел отделиться от Европы.

— Это была военная хитрость, — уточнил Володя и посмотрел на старичка так же пристально, как недавно смотрел на поляка. — На бронепоездах к нам так просто не въедешь.

Старичку перевели, и он вздохнул и вновь развел руками. Хотя ведь мог бы и напомнить Володе, коль такой разговор завелся, как они въезжали к ним в сорок первом году.

— Впрочем, размеры колеи никогда не мешали нам въезжать в Европу, — сказал Володя.

— Мы знаем, — вдруг низким красивым альтиком проговорила полячка и закрыла глаза, откинувшись на диванную спинку.

Старички ждали перевода, но девушка молчала.

Вагон заметно мотало — поезд с шумом увеличивал скорость, как видно, машинист действительно стремился вновь войти в расписание.

Володя сидел, глядя на столик с пустой банкой из-под кока-колы и видя также сидевшего перед ним неподвижного старичка, который наконец закончил свою трапезу.

Если бы здесь оказался отец... сидел бы с ним рядом вместе с мамой — студентка переседает, а поляков — долой... Так сказать, встреча на Рейне. Где этот старичок воевал? или не воевал все же?! Нет, по возрасту должен был, у них в

конце войны всех подгребали, Володя уже знал, по рассказам немцев. Отец, между прочим, по-немецки говорит прилично еще со школьных времен, учительница из дворянок была, с образованием, удалось укрыться у них в станице. Был этот знаток русской колеи в России или нет? На этом, как они называют, Восточном фронте? И все молчит — слушает. Отец бы тоже, наверное, молчал. Потом бы высказался, само собой. Но как — Володя догадаться не мог. У этих агрономов на все свой взгляд... И мама тоже сидела бы молча, но старушку, то есть, понятно, почти ровесницу свою разглядывала бы — она умеет это делать незаметно. А потом, оставшись со своими, показала бы ее, жеманящуюся. Что делала эта нынешняя старушка в сорок пятом году? где жила в Германии? Мама в сорок пятом училась в мединституте и служила медсестрой в госпитале...

Ну надо же было оказаться настолько хамом, что ни разу не предложить родителям съездить в Германию! Да что там предложить?! До сих пор не выправил им загранпаспорта. Не повез их в тот же Шверин, где после войны служил отец, когда город англичане передали нашим. И сам бы посмотрел, отец говорил: очень красивый город среди озер, и почти не бомбили его тогда...

Но так получилось (что «так получилось?!» — очень плохо получилось), что никуда и никогда в Германию он родителей так и не свозил, и вообще никуда они не съездили.

Вот и мама умерла.

А тогда, как положено, голос с вершин купе объявил, что через несколько минут поезд прибудет в Хайдельберг.

Студентка посмотрела на часы. Сказала старушке:

— Zeit.

Вовремя.

Та величаво кивнула.

Студентка пропела известное немецкое «Tschuss!» и упорхнула из купе.

Володя тоже встал, готовясь выйти. Пришлось, его пропуская, встать и полякам — впрочем, и они выходили, а в коридоре и вовсе возникла очередь тех, кто высаживался в Хайдельберге.

Володе торопиться некуда, он уже приехал сюда — до завтрашнего вечера. Это поляки, выйдя, тут же канули в густом воздухе октябрьского вечера — им предстояла пересадка на другой платформе, а времени между поездами все же считанные минуты. Володя почему-то стоял, осматривался — хотя его встречать никто не должен. Застучали автоматические двери, и состав их тронулся.

Володя неторопливо пошел вдоль вагонов, и вдруг над ним вовсю открылось окно купе, в котором он ехал, а из него даже не высунулся, а выскочил старичок со своим платочком в нагрудном кармане.

Увидев Володю, он с детской радостью замахал ему обеими руками, потом сцепил их над головой и с такой же радостью затряс. Володя видел, что старушка крепко держала его, обхватив туловище.

— Россия! Горбачев! Карашо! — закричал старичок громко и молодо. Поезд уносил его вперед, но он, оборачиваясь к Володе, крикнул еще раз:

— Харашо! — и умчался навсегда из Володиной жизни.

Хотя — отчего же навсегда? Может, он еще жив, как жив и Володин отец, и, кто знает, может, им еще суждено встретиться, хотя бы втроем, если не в Германии, так в России.

Аркадий Смолин

Рассказы

Чужие слова

Дни теплые, вязкие, бесконечные. Они материальны, как сенбернары, как какие-то гигантские мясистые сенбернары.

Ира встречается с депутатом в кафе. Верхний этаж, открытая веранда. Можно курить, наслаждаться отстраненным, почти бесшумным миром московских крыш. Стерильное пространство, очищенное от автомобилей, людей, мусора. Натянуть бы крепко тросы — и перекатываться с крыши на крышу на велосипедах.

Депутату лет пятьдесят. Губы едва шевелятся — выдавливают слова сквозь сомкнутые челюсти, как неумелый чрево вещатель. Он говорит с ленивой протяжностью таким низким голосом, что кажется, сейчас обязательно пошлость скажет. А он раз — и не говорит. Уютный.

Депутат достает из портфеля распечатки, и на его блестящем лысом черепе пятном растекается свет из окна. Он снова говорит о премиальных, бонусах, пропусках. Но все это не важно. «Компенсация — в другом. В причастности к формированию государственной политики, идеологии, воздействию на массовое общественное сознание. Словом, в причастности к государству. Из-под твоего пера творится мир».

Ира удивляется — вот человек дистиллированную хрень говорит, а она не может оторваться. А ведь ей уже 27. Ее, наверно, ничего уже не сможет удивить, кроме таких вот волнующих моментов — когда не удастся сразу определить: идиот человек или не совсем.

«Смотришь, все симптомы налицо. А потом вдруг проскакивает фраза, слово, усмешка — и думаешь: ну нет, что-то тут не то, притворяется, наверно. Потом идет снова ровный поток — нет, померещилось, сам за него мысли додумал, полный все-таки кретин. И вдруг опять — РАЗ! — выход в трансцендентность». Ира пишет другу в личку, пока депутат спускается к выходу.

Аркадий Смолин — прозаик, эссеист. Родился в Сочи в 1982 году. Окончил географический факультет КубГУ и Литературный институт им. А.М.Горького (семинар прозы С.П.Толкачева). Участник VI и VII Форумов молодых писателей России. В 2014 и 2015 году входил в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «эссеистика», в 2015-м — включен в лист почетных упоминаний жюри. Живет в Москве.

Их чат — как записная книжка: Маркин почти всегда офлайн. Сложив пополам распечатки с полученными вводными, Ира набирает понравившуюся фразу депутата: «Если мы подберем правильные слова, то все утрясется. И вся проблема, что мы не знаем, как назвать те или иные социальные феномены, и из-за этого блуждаем в потемках». Ей хочется сыронизировать, но боится сфальшивить.

Ира не возвращается в редакцию. Сначала она вызванивает Маркина. Уже три года они готовятся эмигрировать в Ригу, все готово для открытия бизнеса, осталось собрать вещи. Но пока они снова встречаются в излюбленном баре.

«Меня такие вот мерцающие идиоты иногда завораживают до умопомрачения. Слушаю его, вижу каждую эту его автоматическую попытку разводок, все эти заученные финты. Он такой жалкий, неуклюжий... но милый! Я смотрю на него — и думаю о том, что люди напоминают потемкинские деревни: чем больше они скрывают, тем яснее видно, что скрывать в общем-то нечего».

Ира всю жизнь работает в государственном информагентстве, и потому государственников на дух не переносит: каждого по отдельности и в целом как явление. Издевки над ними — основная тема ее блога. Эта идиосинкразия не мешает ей зарабатывать на их внутренних разборках. На упреки в конформизме она отвечает: «Ну вот такое я говно... Давайте лучше выпьем».

За обедом Ира с Маркиным обсуждают, как гнетет иллюзия, что все люди вокруг тебя — не говно. Какие глупости готов сделать, чтобы ее поддерживать. «Вот откроешь наш сайт. Смотришь, ровным плотным потоком оно, родимое. Только успокаиваешься, как вдруг натыкаешься на человеческую руку. А потом понимаешь — нет, померещилось. Выбрасываешь туда сам какой-нибудь слив из АП — и такое облегчение, будто нырнул в эту прорубь с головой». Маркин поддакивает, что это очень важное и нужное чувство — понимать, что ты ничем не лучше других, местами даже хуже. «Только так можно хоть что-то исправить». Остается только дожидаться, когда абсолютно всех примет этот поток. И вот тогда все начнет вскрываться.

Ира делает пересадку на станции «Киевская». В час пик мужику удастся спать на лавочке. Небритый брюнет в дорогом пиджаке. К груди он прижимает зажатую в кулаке пачку сигарет. Страшная картинка выглядывает из-под пальцев, но склоняться над спящим Ира стесняется. По дороге на курсы французского она гадает, что на пачке могло быть написано: «одиночество», «бogoоставленность», «экзистенциальное отчаяние»...

Ира вспоминает запись передачи Капицы, которую смотрела вчера. Он говорил: скорость сжатия времени достигла предела — уже непонятно, что существует, а что нет. Ира ощущает: достаточно сейчас закрыть глаза — и этот мир исчезнет, а когда откроет, появится уже совсем другая картинка. Захочет — эти кавказцы растворятся, захочет — это будет не Москва, захочет — не будет ничего.

В аудитории духота. Наглухо закрытые окна, кондиционер перегорел. Ира подбирает слова, чтобы возмутиться. Но она снова не делает этого — не может представить, что будет дальше: как ей жить, если сложившиеся отношения с преподавателем и сокурсниками изменятся. Французская речь клонит в сон. Ира вспоминает, что все великие гипнотизеры были французами: Мессмер, Шарко, Деррида...

Забрала ребенка из школы. Обратно решили добираться на трамвае. Когда

трамвай въезжает в осенний парк и ветки царапают по стеклам, у Иры захватывает дух. Поэтому она и повторяет этот крюк каждый вечер.

Ира думает о том, что ей почти удалось полюбить Россию. Можно уже и не уезжать. В этом ей помогли лекции про Райха, Гласса — всех этих ребят. Она полюбила минимализм. А потом — Россию. Это ведь одно и то же. Композиторы отнимают у слушателя память, ведь эту музыку не с чем сопоставить, и ожидание — в ней ничего не происходит, она просто длится себе и длится. Как Россия. И вот когда Ира поняла, что развития нет и не будет, ей кажется, она начала думать совсем иначе. Точнее — не думать, а просто быть.

Мелкий дождь. Под фонарями кажется, будто по свитеру сына распылена алмазная крошка. Вода капает с кончика носа и ресниц Иры. Вода проникла даже в карман куртки, куда она неосмотрительно положила сигареты. Ира чувствует, как они распадаются в темноте сырой ткани — ее пальцы приканчивают их одну за другой.

* * *

В отделе снова заменили половину редакторов. До обеда Ира пытается наладить контакт с новыми подчиненными. Это какие-то люди, скачанные из сети битыми файлами. Они говорят так, что сквозь звук их голосов просвечиваются графические паразиты. Одна расставляет между фразами невидимые смайлики — по несколько подряд и без двоеточий. Другой разговаривает транслитом. Ира задумывается — а сколько она сама ставит пробелов между словами? Главное, не сорваться на капслок.

Иру просят пройти в службу безопасности. Спрашивают, почему она подписывается вымышленными именами. Мало того, что в соцсетях, так еще и в новостях. Ира не может не знать про новый закон. Аргумент про пять лет, на протяжении которых она привыкла распределять задания по разным именам, не работает. Ире говорят, что она арестована. Ей грозит двадцать лет.

На сбор вещей дают три дня. Бежать не советуют — прятаться уже некуда, а сын отправится в детский дом, ведь ее родителей выселят из квартиры.

Ире повезло, никаких 20 лет колонии. Только переселение в моногород, и семь лет трудовой терапии. Зато вместе с семьей.

В столовой на столике остались четыре стеклянных стакана после чая. Таджики, которые громко ругались и подводили баланс на картонке от чулок, ушли. До туалета нужно идти мимо кухни по полуцилиндру коридора. В дальнем конце поет уборщица. Таким противным голосом, что коридор кажется бесконечным. Звуки песни отражаются белой потрескавшейся плиткой. Кажется, что это вытянутый внутренний орган, ороговевшая трахея.

Вокруг голое поле, разделенное по диагонали ЛЭП. Дальше начинаются фабрики с рельсовыми путями, от которых рыжеет пожухлая трава. Фоном бледно-голубое, почти серое небо — мутное, как глаза алкаша.

Ночью на небо накатывают сиреневые тучи, и тогда кто-то в семье меняется в лице. Припадошный пытается придушить всех, до кого дотянутся руки. Его стараются не покалечить, просто отталкивают. Две ночи подряд Ира отбрыкивалась от сына. Сегодня с ума сходит мать. Ира прячется на кухне, фонари за окном погасли. Створка окна не закрывается, она отваливается и остается в руках. Снаружи на Иру ползут сгустки темноты.

Вернулась в комнату, и тут Иру настиг страх: она поняла, что находится во

сне, который видела уже бесчисленное количество раз. И никогда не перестанет видеть его. Ира ясно ощутила, что все проиграно, все кончено, что больше ничего нет, этот сон — единственная реальность, в которой она всегда будет видеть вязкие облака на сером небе. Ощутила это трезвым, патологически спокойным умом.

Ира почувствовала, как ее выкидывает из сна. Она понимает, что сейчас ей будет стыдно. Она проснется лицом на рабочем столе, в окружении новых коллег. Наверняка, она еще и кричала во сне. Заказ депутата все еще не выполнен. «Ну и черт с ним». Все неважно — это такое приятное, опьяняющее ощущение стыда. Самоуничтожение как спасение.

Но нет, Ира не просыпается. Она в однокомнатной квартире, за стеной громко матерятся пьяные соседи. За окном гудит ЛЭП.

Двери на этажах и в подъезде выкрашены в более темный, нежели стены, зеленый цвет. Возможно, это налет от натыкающихся на них тел. Во дворе в лужице мочи отражаются огни, горящие на перекрестке. Три фонаря освещают скамейки, стройку, туалет между общежитий.

В фабричном цеху холоднее, чем на улице. По цементному полу уборной течет струйка воды, как ручей. Мох по углам потихоньку впитывает воду и свет.

Ира думает: надо же, я ведь всегда знала, что так и будет. Вся юность, весь этот уют мелких забот, поездки и мечты о переменах, смешанные со страхом, желанием, чтобы все осталось как прежде — что все это ненадолго. Это был даже не сон, а какой-то горячечный бред. И ничего, кроме этого барака, на самом деле нет, и не было.

Ира думает, что она всегда боялась — стоит только подпрыгнуть, как тонкая пленка цивилизации треснет и провалится в Страну чудес, где все тебе хамят не потому, что они гусеницы и королевы карточной колоды, а потому что они хамы. Но оказалось, достаточно просто лежать без движения на этой тонкой пленке льда, чтобы она растаяла и исчезла без следа.

Красота

Оттепель кончилась, четыре градуса и ветер в лицо. Возле магазина пятно крови — сразу за цепью, закрывающей проезд. Края пятна растрепаны: должно быть, йорки и мопсы на утреннем выгуле слизывали кровь с асфальта.

«Через три-четыре года ученые научатся стирать память. Еще пять лет — и такие клиники откроются во всех странах. Тысячи, миллионы медицинских контор за доступную плату будут выборочно удалять информацию о любом явлении, каком я попрошу».

Николай думает о том, как попросит стереть все воспоминания об осени. Потом он выйдет из клиники — и впервые, в свои тогда уже тридцать пять, увидит желтые, красные листья, почувствует морось на лице, странные сгущения воздуха. И забудет о том, что впереди зима.

Из магазина Николай возвращается через стадион. В сумерках бегун в белой куртке нарезает круги. На трибуне, сползая по перилам, сидит человек. Время от времени он подносит ко рту бутылку. Ее почти не видно, но понятно,

что бутылка пуста. Степень ее опустошенности позволяет мужчине лишь беззвучно открывать рот и показывать проходящим девушкам палец.

Николай понимает, что когда-нибудь он снова увидит эту картину. Предчувствие сдавливает мозг. На секунду становится больно — настолько, что почти удается разглядеть себя со стороны. Не сегодняшнего, а того, каким он станет через несколько месяцев, лет, когда снова влипнет в этот кадр. Николай боится увидеть себя постаревшего, уставшего, испуганного. Но видит кое-что похуже — точную копию. Николай моргает.

Дома на кухонном столе лежит огромный сом. Одиннадцать килограммов. Пока Николай отсыпался днем, его принес тесть-рыбак. Рядом с рыбой сидит жена. Бледная, в волосах на виске застряла белая крошка. Вместо того чтобы потрошить рыбу, жена пересказывает события дня.

Брала интервью у режиссера мелкого театра. Он назвал себя человеком известным. «Известен не окружающим, а известен самому себе». Жене понравилась эта мысль. Режиссер пояснил, что люди за жизнь не успевают практически ничего о себе узнать. «Потому что играют по чужим и притом довольно примитивным правилам».

Николай присаживается на корточки. Жена хочет погладить его по голове, но он поворачивается к столу. Николай заглядывает в тусклый глаз рыбыны. Он поражается, что не может извлечь из этого зрелища никакого человеческого смысла.

* * *

Метро ночью. Около двух часов в туннелях зажигается освещение. Приходят службы метросооружений, службы связи, электромеханические службы... Толчея, каждый движется в своем ритме. Весело и светло; фонарики, сырость и гул. Как в Новый год на площади. Полная иллюминация, Николай идет по туннелю — от станции к депо.

В ста метрах от платформы у него назначена встреча с Инной. Несколько раз завтракали вместе после работы, но она до сих пор не пригласила его к себе домой. Николай знает, что Инна живет одна, он замечает все более яркие платья на ней. И красную помаду. Но он молча ждет.

Николай видит Инну. Проектор освещает ее со спины, просвечивает платье. Оно как вуаль. Николай думает, что пройдет три, четыре года — и появятся специальные симстим-костюмы. Еще пять лет — и Инна днем будет надевать устройство, считывающее сигналы ее нервной системы. Вечерами они станут обмениваться флешками с этими записями. Николай думает о том, как подключится к сенсорику Инны. Часами сможет сидеть и чувствовать, как она ходит, моется, спит.

Инна уже рядом. Он говорит: «Твои глаза». Он говорит: «Они такие зеленые». Инна спрашивает Николая: «Как твои дела?» Он думает о болезни жены, о сокращениях, что начались в его отделе, о новых кредитах... А еще о разговоре девушек в троллейбусе. Они обсуждали сложности съема квартиры в центре. Они говорили как раз про тот район, где живет он. Сколько людей мечтало бы оказаться в его условиях, что бы они за это отдали? Но он там просто родился. И когда-нибудь придется платить за то, чем ты так и не воспользовался, что оказалось тебе не нужным.

Николай молчит и улыбается. Он рассказывает про сома. «Знаешь, я бы

хотел иметь домашнюю акулу. Я бы приходил домой, шел в ванную, ложился на ее шершавую спину, обнимал плавник и говорил: «Вот такая херня, акула».

Николай рассказывает, что у соседа его родителей взломали квартиру. Грабители сняли со стен картины и помочились на них. А еще — засунули кота в микроволновку. Но не включили ее! Они ушли, ничего не украв. А ведь могли бы, например, порезать кота на семьдесят два кусочка и выложить из них коллаж. Могли бы дождаться хозяина — и проломить ему череп, как кто-то сделал в соседнем подъезде годом ранее. В этом можно было бы найти какой-то смысл. Но они только помочились, а полиция даже отказалась брать мочу на ДНК.

Николай говорит: «я понимаю, что мне, скорее всего, никто не проломит череп». И кота у него нет. Но эти новости... Реальность будто вибрирует. Это как инфразвук — напоминание, что в ней возможно вот это вот все. Какая-то предательская реальность — халтурно слепленная, второпях. «И как посоветуешь мириться с этой реальностью?»

Еще Николай думает о том, что купил новую посудомоечную машину, но распространяться по этому поводу выше его сил.

«Поехали на море», — говорит он. Инна улыбается, а спустя пять часов приглашает Николая к себе домой.

* * *

Из квартиры Инны Николай выходит уже в полдень. Он чувствует себя как в семь лет. Как в то июньское утро, когда мир вдруг опустел у него на глазах, и Николай почувствовал, как долго ему еще предстоит жить.

В вагоне метро пять человек. Николай сидит в углу. От дальнего сиденья к нему медленно катится пустая бутылка. Затем, через весь вагон, обратно. Там парень свесил через поручень локти, голову, сумку. Ива над рекой. Длинной веткой торчит рука. Бутылка докатывается до нее, рыбой тычется в пальцы: будто пытаюсь вернуться домой — туда, откуда начала этот циклический путь.

Николай выходит на Курской. Поднимается на мост. Под ним в разные стороны разбегаются линии железнодорожных путей. Он пытается проследить за одной из них, ведет ее до горизонта, у Николая кружится голова. Он снова начинает отслеживать движение линии рельса, вспоминает жену, как ее впервые вырвало в самом начале болезни. В очертаниях лужицы рвоты у порога туалета можно было разглядеть форму головы. Грибной суп-пюре, смешанный с желудочными соками и темными шариками шоколада. Он вступил в эту лужицу и оставил след на темно-синем кафеле — удлиненные линии пальцев, будто от рук, а не ног.

Когда губы жены перекашивали спазмы рвоты, Николаю казалось, что ее тело пытается выскользнуть через прореху рта. Ему казалось, что внутренний мир жены мечтает слиться с его квартирой, с ее оранжевыми стенами, бурым полом. Чем сложнее Николаю удавалось находить деньги на ее лечение, новые лекарства, тем красивее ему казались перемены в лице жены. Она похудела, кости натягивали кожу, теперь можно было просто любоваться ею — без всяких порывов.

Николай снова путается в линиях рельсов и начинает отслеживать их сначала. Ему кажется, что они похожи на обрыв. Но хочется не прыгнуть, хочется скользнуть по этому геометрическому узору, без возможности свернуть.

На платформе Николай подходит к проводнику. Спустя две минуты тот пересказывает ему слова японца, который вчера приехал на этом самом поезде в Москву из Владивостока. Турист восторженно благодарил проводника за пережитый опыт: «Сначала сосны, сосны, сосны, потом березы, березы, березы. Чистый дзен». Они смеются. Да, в его вагоне осталась парочка свободных мест.

* * *

Николай просыпается от толчка поезда. Он на верхней полке плацкарты. Возможно, он проснулся не от толчка, а от гула мужских голосов.

«России сделали евроремонт. Заставили внутри мебелью из ИКЕИ, понатыкали дизайнерских побрякушек, снаружи покрасили гламурной краской. Думали, на их век хватит. Но вот интерьер потрескался, мебель рассыпалась, а лаковая краска обвалилась кусками. И оказалось, что за двадцать лет брендинга и тюнинга, менеджинга-маркетинга ничего-то не изменилось. Вот сейчас все это вдруг за несколько месяцев разом истлело, и открылся все тот же знакомый ландшафт».

Николай смотрит в окно. Большие пустыри. Некоторые огорожены, будто сады. Стены домов исчерчены черными линиями плюща. На столбах, заборах коллажи из обрывков объявлений, плакатов. Николаю не хочется приходить в себя. Он пытается сохранить это состояние: когда сон упущен, но еще можно не думать, не принимать решения, не двигаться.

«И хорошо-то как, черт возьми, как хорошо, я уж успел позабыть, как это — ощущать себя дома! Спокойно-то как, уютненько! А почему? Да потому что херово — не когда вокруг бедно, невзрачно, пусть даже где-то страшно и жестко. Реально херово — когда ты вообще ничего реального вокруг разглядеть не можешь, только морок сплошной».

Казалось, проходят часы, дни, а беседа внизу все не кончается, повторяется по кругу. Они застряли в этом вагоне навечно. Обречены переживать одни и те же откровения и драмы снова и снова, бесконечно повторяющийся опыт в замкнутом времени и пространстве. С gifкой за окном вместо пейзажа.

Остановка. Абсолютная тишина. Деревья принимают форму ветра. Солнце едва начало садиться, Николай наблюдает за меняющимися красками неба. Поезд медленно, беззвучно отплывает. Будто с запозданием, нащупывая ритм, вступает постук колес. Николай растворяется в путевом забытьи, как героинщик, доставший морфий.

Спускается выпить чаю. Угощают помидорами, пирожками. Она рассказывает, что едет к дальним родственникам — всегда хотел поработать геологом. По первому образованию. Теперь накопил денег, может воплотить юношескую мечту. Горы, чистый воздух, красота природы, приятная усталость в мышцах и спокойный сон.

Находит телефон: три пропущенных от жены. С работы и от Инны — ни одного. Выключает телефон.

* * *

Дня через три, на рассвете, Николай идет в привокзальный магазин. Думает о том, как же он себе надоел. Несколько раз даже снился самому себе — только силуэт, как на кинопробах. Без всякого действия. Отвергнутый кандидат, которому все забывают сказать, что он может идти, свободен. «Куда ни глянь,

езде ты». Николай думает о том, что с каждым годом все больше внутри самого себя задыхался. «От этих своих мнений по любому поводу».

Николай мечтает, что вот сейчас он сломает это все, пробьет пробку — и тогда изнутри фонтаном вырвется наружу вся не использованная за эти годы энергия. Она может унести его в самые неожиданные места, о существовании которых он и не догадывался до сих пор. «Столько всего еще можно сделать, перепробовать».

«Прикурить не найдется?» — спрашивает его кто-то, чье лицо лепили чересчур экономно. Добавляет фразу, смысл которой Николай спросонья не может разобрать. Отдельные слова, звуки не складываются в нечто внятное — растворяются в утреннем зябком тумане.

Из окна деревянного дома на него смотрит старуха. Прячется за цветочным горшком и снова выглядывает. «Не курю», — руки Николая от холода покрываются гусиной кожей, но задранный рукав он не опускает. «Ну, ты гусь!» — отрывисто хихикает местный, заискивая перед всей окружающей его реальностью разом. Старуха, выходит во двор — и почти растворяется за ритмом деревянного забора.

«Как медуза», — вспоминает Николай. Вобрать в себя окружающую воду. А потом вытолкнуть все это. Сделать рывок. И заново вобрать, совсем другую воду, уже в новом месте.

Николай заходит в магазин. Покупает хлеб, колбасу, чай в пакетиках. Стоянка поезда еще двадцать минут, Николай идет в бесплатный туалет. У него перехватывает дыхание, он зажмуривается от аммиачной рези. Не знает, куда деть пакет, пытается расстегнуть ширинку, придерживая его под мышкой. И получает сзади удар по темечку. Наверное, кастет.

Очнулся Николай в склизкой темноте, раскроенный, обобранный. Без куртки и без продуктов. Выходит на свет. Поезд ушел, но телефон почему-то остался в нарукавном кармане. А в его чехле — немного денег. Николай наконец опускает рукав.

В отделении Николай включает сотовый. Полицейские требуют номера, чтобы позвонить родственникам. Говорят, что никто не снимает трубку. У Николая нет с собой зарядного устройства, поэтому он выключает мобильный. Полицейские еще раз спрашивают про работу, они смеются. По телевизору мелькают безмолвные кадры фильма. Мужчина с женщиной едут в машине из ниоткуда в никуда.

Рядом с Николаем на лавке сидит бородач и скверно пахнет. Спрашивает Николая, что тот здесь делает. Просит сигарету и тут же говорит: «Смотри, вон моя баба». Показывает на клетку. «Четыре раза расходились, а все равно вместе. Потому что сидим все время. То она — за травку, то я — за кражу». Хвастается девятью ходками. «И опять сядем. Опять разойдемся. Но никуда друг от друга не денемся. Любовь у нас, одолжи косарь, ну хоть сотку».

Полицейский из транспортного отдела уголовного розыска с кудрявыми, утром вымытыми волосами назвал Николая словом «бомжара». Николай обижается и уходит.

* * *

Через месяц Николай на вокзале заводского городка за стакан самогона и пару папирос рассказывает для смеха новым знакомым о всемирном заговоре, который зачем-то сам раскрылся ему. Раньше у него все было как у людей. Нормальная квартира, нормальная работа. Нормальные жена, друзья, новые девушки. А потом реальность лопнула.

Оказалось, что не бывает ничего нормального. Нет никаких «всех». Можно бегать ночью по парку и отрывать ноги собакам — и пока это длится, это будет казаться нормальным. А только закончится, перейдешь на другую улицу — и все просто забудут, и ты забудешь, будто ничего не было. Ты можешь считать себя желанным любовником, незаменимым сотрудником и опорой семьи. Но стоит тебе исчезнуть — и дыра в реальности, место, которое ты занимал, тут же затянется, как рана. Не останется даже шрама. «Никто не вспомнит, что ты вообще существовал — вот это и есть единственная н-о-р-мальность», — Николай хочет издевательски произнести «нормальность» по буквам, но утомляется и бросает на третьей, проглатывает концовку.

Одного из новых приятелей Николая зовут Серега, у другого — вязаная шапка лежит на макушке ермолкой, руки он держит в карманах. Оценив историю Николая, они предлагают ему выпить еще.

«Это пошло на травах неделю настаивали. Зверобой, женьшень, перец... В общем, сам знаешь, как травы называются». Серега смотрит на Николая большими голубыми глазами. Они неуклюже вправлены в грязное, обрюзгшее, морщинистое лицо. Николай отпивает глоток.

«Вчера видел, как ворона клевала рыжего хомяка. Мертвого», — выдает Серега. Помолчал. «И все равно мы не увидим ничто, не став отличным от ничто», — вдруг добавляет он и замолкает навсегда.

Сергей передает бутылку своему другу. Тот делает два глотка. Его кадык поднимается, застревая в кожных складках, потом толчками опускается. Он похож на согревающуюся игуану.

Друг Сергея через равномерные промежутки времени вздрагивает. Он с удивлением замечает, что Николай все еще сидит рядом. «Тя как зовут?» Николай раза три повторяет. Друг макабрически коверкает имя: «Никитос?» Потом Николаю надоедает, и он отвечает только «Дапохрен». Хорошее немецкое имя, а приставка «да» сразу настраивает на душевный разговор.

Серега вспоминает о подруге, которая работает в доме престарелых. Там можно пару раз переночевать на условии подмены ее до утра: посторожить стариков, поменять им судно или подгузник. Николай соглашается.

Он долго смотрит в лицо Тамары, но не находит ничего, что заслуживает слов. Николай решает, что у нее нет лица.

Тамара ведет мужчин в полуподвал. В пустой комнате лежит матрас, рядом с ним тумбочка. На тумбочке — лампа. «У вас здесь будет лампа», — хвастается женщина.

Пока заваривается чай, санитарка рассказывает про первую встречу с Сергеем. Он тогда сказал, что опоздал на последний автобус. «Пожалела замерзшего мужичка». Подумала, хоть от ветра его спрячет. «Даже лампы тогда у меня здесь не было, свечечки только. Сидели над свечечкой. Я аж прослезилась

тогда от своей доброты. А когда рассвело, посмотрела на него, так неловко стало — будто переспали». Только когда он ушел, Тамара испугалась, что мог ведь и изнасиловать.

* * *

Николай поднимается в общую спальню. Мимо него шаркает старик. Выбрасывает вперед одну ногу, потом медленно подтягивает вторую. В спутанной бороде лица не видно. Но глаза — синие, темные, насыщенные. Старик приближается и останавливается. Он улыбается, и все продолжает улыбаться. Николаю кажется, что тот улыбается как человек, который забыл о смерти или вовсе никогда не знал, что умрет. Для такого человека старение не кошмар и угасание, а форма преобразования тела.

«Не подходите к окнам!» — на прощание кричит Тамара. Она грубым голосом запрещает трогать шторы до рассвета. Если пациенты увидят свое отражение на стекле, они подумают, что кто-то заглядывает к ним в окно. «Тогда их уже не успокоишь».

Николай вспоминает, как ухаживал за отцом. Эти тесемки — как их ни завязывай сзади, все равно части тела вываливались из халата, непредсказуемо оголялись. В халате отец терял свою индивидуальность. Это уже был не человек, а сгусток глины. Трясущиеся складки и наросты наглой плоти, вырывающейся из халата, из полумертвого тела. Сползающие на колени бедра, склеротические сосуды, распухшие ноги в пятнах экземы. Николаю было стыдно, будто это он забросил фигуру отца недоделанной — после чего черновик скульптуры расплзся, как необожженная глина.

После развода с женой отец просил сына дома натирать ему спину едкой мазью. На всю жизнь у Николая осталось воспоминание от контакта со скелетом под слоями кожи и мышц: контраст между податливой плотью и твердой костью. Николаю очень не хватало этой податливости — в жене, в подругах. Их плоть была похожа на латекс — как ни мни, форму она не меняла. Николаю очень хотелось помять спину отца и в больнице, напоследок, перед его смертью. Но врачи запретили, а другие пациенты внимательно следили за ним.

Николай считает, что у него достаточно опыта. Он может остаться в этом доме престарелых на годы. Станет ухаживать за стариками, будет переворачивать их, помогать вставать, ходить, начнет делать им массаж. Они будут благодарны, родственники станут приплачивать ему. А ночами Николай сможет использовать накопленные за день тактильные и визуальные впечатления, чтобы лепить необычные фигуры, скульптуры. Он еще прославится.

Старики спят, свет везде выключен. Пока Николай ищет в темноте выключатель туалета, кто-то хватается за лицо. Сжимает щеки, давит на нос. Палец — кажется, мизинец — оказывается во рту Николая. Ладонь соскальзывает с его лица, стягивая за собой кожу, разрывая рот. Николай щелкает выключателем. Перед ним слепой, бельма на глазах. Николай чувствует себя глупо. Не из-за того, что старик выглядит мудрым, а потому, что все существующее вдруг кажется ему мелким, испещренным, бессвязным — таким, как лицо старика. Чувства и мысли стерлись на этом лице. Не осталось ничего, кроме плотских нужд и удовольствий.

Николай возвращается в подсобку. В отличие от своего напарника, Серега все никак не заснет. Он хочет беседовать. «Ты еврей, что ли? Зачем такое

жидовское имя придумал — Дапохрен?» Николай молчит. «Мой дедушка не любил евреев», — продолжает Серега. «В газетах всегда подчеркивал красной ручкой: жи́ды-жи́ды, жи́ды-жи́ды. Потом расстраивался, что заменили жидов на евреев». Серега замер, испуганно мигнул глазами — и вдруг закудаhtал, завыл: это он смеялся. «А потом дедушку посадили. У тебя ведь осталась мобилка?»

* * *

Утром вернулась Тамара. Николай еще не успел проснуться, а она уже рассказывает про свой телефон. Она говорит о нем как живом существе: иногда он, будто сам по себе, подмигивает ей, вспыхнет и погаснет, поет ей любимые ее песни, иногда засыпает, сколько его ни заряжай, даже по-своему двигается, аж подпрыгивает — со стола пару раз падал. Тамара нежно поглаживает телефон на ладони.

Николай натывается на «библиотеку» — скорее кладовку, чем комнату. Один стеллаж, стул, окна нет. У входа стоит милый дедушка: тихонько хихикает, глядя попеременно то вокруг, то на свои руки. Николай извлекает с верхней полки ярко-синего Тютчева. Поля исписаны множеством карандашных пометок. Строчки про рассветы, деревья, жаворонков, облака обведены. Рядом отрывистые комментарии про небо, которое засасывает одинокого человека, растворяет его — и остается таким же пустым, черным, с миллиардом ничего не замечающих глаз.

Николай просит у Тамары краску, хотя бы карандаш, и бумагу. Говорит Сергею, что умеет рисовать. В молодости хорошо рисовал, мог стать художником — но тогда их было слишком много вокруг. Здесь они смогут продать его картины. «Купим еды», — говорит Николай. «А может, и билет на поезд», — думает Николай. Во Владивосток. Он вдруг понимает, что давно мечтает устроиться моряком. Чайки, скрип снастей, чешуя блестит на солнце. И никаких разговоров.

Николай выходит во двор. Тополь, нависающее голое бледно-голубое небо, рябь мошкар, ни ветерка. Чем дольше он смотрит на пейзаж, тем острее чувствует, как тот его отторгает. Только Николай это понимает — и холмы, небо, камни, ветки деревьев стремительно теряют смысл. Они отворачиваются от него и начинают говорить друг с другом. Камни с деревьями. На непонятном человеку языке. На неязыке. Николай догадывается, что все это время видел лишь те фигуры и образы, которые сам же придумывал. Но теперь у него больше нет сил на эти ухищрения.

Невдалеке собака обнюхивает куст. Николай мучительно старается понять, что такое куст и собака. Он всматривается в нее, псина замечает это и доверчиво подползает. Николай встает, громко дышит. Бесцельно водит взглядом вокруг, что-то мелькает перед глазами, наплывает. Хочет идти, но не знает куда.

Теперь, когда у него не осталось ничего, Николай наконец получает достойное основание для своей тревоги. Настала пора бояться всерьез. Но он вдруг ощущает внутреннюю тишину. Она наполняет его изнутри легкой вибрацией, будто его тело — колокол. Это — уверенность. Все, что он называл этим словом раньше, так же далеко от реального чувства, как снеговик от человека. Николай впервые без всякого повода ощущает уверенность. Он знает — все будет хорошо.

* * *

Николаю непривычно, но не страшно. Он лежит на сухих ветках, на холодном перегное в лесополосе. Под беззвездным небом где-то на просторах России. Место ничем не хуже других. Серега с другом спят — Николай наконец может извлечь из тайного кармана телефон. Он включает его, пытается дышать тише. Ждет, когда на зажигающемся мониторе появятся часы. Пять утра, восьмое ноября.

Начинается дождь. Все встают, собирают вещи и идут вдоль грязной реки. Она пытается слиться с воздухом. Это уже не дождь, это подвешенное в воздухе море. Николай постепенно тонет в нем. Дождь резко прекращается. Тревога Николая растворилась без следа, миру больше нечем его шантажировать. Николаю нравится уходить вдоль реки, уплывать вместе с водой, без усилия, без спешки, без выбора, без любого человеческого действия.

Стебель камыша, сгнивший остов лодки, собственные ноги теперь равны стихам, любви или атомному синтезу. Николай больше не может отыскивать единый принцип между явлениями, обобщать их по одному из признаков. Он хочет отказаться от мышления, чтобы заново учиться видеть.

Подходят к заводскому району. За элеватором открывается грандиозный параллелепипед грязно-коричневого кирпича. С углов свисают оборванные в разных местах водоотводы. Бурая труба уходит в низкое свинцовое небо. Крыша с ближнего края оторвана, загнута. Забора нет, деревьев тоже, асфальтовое поле усыпано грудами кирпича. Бродяги приближаются, строение поглощает перспективу, горизонт, небо, Николая...

Николай чувствует сзади удар. Снова по темечку. Кажется, точно в то же самое место.

Друзья пытаются его. Находят телефон. Требуют, чтобы позвонил жене, попросил прислать выкуп. А еще — деньги на обратный билет. Но только деньги, а не сам билет! Называют разные суммы.

Николай замечает, что друг Сереги не различает степени боли, в его попытках нет никакой последовательности — ни нарастания, ни чередования. Их с Серегой задача — превратить Николая просто в тело, которое живет самим собой. Тело, которое забывает о мыслях, когда его прижимают к асфальту, когда ему выбивают зубы и заталкивают в рот пригоршнями жидкую грязь, пока кашель, спазмы и конвульсии не извергают ее обратно. Тело, которое хочет только одного — чтобы его оставили в покое.

Можно сказать, новые друзья Николая не издеваются над ним, они лишь решили показать ему, что в действительности означает слово «человек». «Я, кажется, хотел придумать чужой ад вместо собственного? Ну в самом деле, при чем тут они?!»

* * *

Как-то раз они ударили слишком сильно, Николай отключился. Пока он был без сознания, успело стемнеть. Наверно, прошло часа два. Может, три. Приятели ушли — не стали прятать труп. Николай подумал, что для него эти три часа не были даже минутой, секундой. Он был полностью выключен. Вот она такая, смерть. Как аквариум с рыбками внутри моря. Стенки лопнули, но он, аквариум, все равно там остался. С рыбками, но без стенок.

Николай смотрит на замусоренное поле. Склон, усыпанный венками, целлофаном, стеклянными баллонами, пластиковыми бутылками, осколками, сгнившими бумажными цветами — словно кладбище отрывало здесь полупереваренный мусор вперемешку с надгробиями. Под ногами Николай видит дорожку из потрескавшегося асфальта, по сторонам — покосившийся забор, а под деревьями, согнувшись, сидят большие черные мешки. Ждут.

Ни денег, ни телефона, ни сил. Никуда уже не дойти. Николай думает, что добрался до самых корней человека. Исконного. Как никогда, он близок к природе, он реален, он *чувствует* себя. Николай вспоминает, что Гомер не раз говорил о наслаждении скорбью. Николай удивляется — он его читал?! Ему скучно. Он говорит себе: «Без скуки я бы так и не понял, кто я такой».

Все угадает, раскрывается, чтобы исчезнуть. Николай пытается спрятаться. Он старается больше ничего не замечать. Он просто переживает, чтобы его забыли.

Понемногу постоянное желание спать, апатия и безразличие растворяют его личность. Он опьянен вязкими снами. Ему ничего не хочется, он ни о чем не думает, он не шевелится.

* * *

Николай в одной из стадий исчезновения. Он все никак не может исчезнуть полностью. Он превращается в какую-то вибрацию, инфразвук. Ускользающую мысль города.

Рядом догнивают бумаги, коробки, пакеты. Ветер листает журнал. Изображения людей, которые всю жизнь Николая мелькали на периферии зрения, по телевизору, в Интернете, кино, набухают под дождем со снегом, истлевают и наконец распадаются. Они уже готовы расползтись, как бегущие друг от друга клетки разлагающегося тела, Николай поднимает листок, картинка в последний раз мигает смыслом и рвется, чтобы слиться с накатывающими друг на друга волнами урботанических пластов.

Потом все стихает. Идет снег. Николай больше не находит в снегу ничего сказочного, никакой красоты. Он не чувствует себя внутри детской игрушки. Белый, отсутствие красок, материализованная пустота. Снег засыпает все. Николай — нелепая темная точка, досадный недочет в тотальном торжестве белизны. Она торопится засветить его, поглотить, замести. Наверное, это ад. Никакого разнообразия мук, одна лишь яркая пустота.

Андрей Русаков

Ответственность культуры и культурное многообразие

Глава I. Культура и беспомощность

1

«Вся моя Россия умещается у меня в голове и в моей домашней библиотеке. Моя Россия — это Россия Пушкина и Тургенева...» Теперь повсеместно то читаешь, то слышишь нечто подобное. Или еще так: *«Сущность нашей страны — не безмозглые возжи, окруженные холуями и палачами, а Набоков, Булгаков, Ахматова, Мандельштам, Бродский. Они останутся во времени, они и будут Россией, даже если из-за глупости правителей такое государство однажды перестанет существовать...»* И прочее в том же роде об ужасной политике, жуткой истории, отвратительном обществе и прекрасной русской культуре, в которую можно спрятаться по детскому принципу «Я в домике».

Итогом русского культурного развития словно оказывается иллюстрация к антиутопии из «Машины времени» Уэллса, где злобные подземные морлоки живут в симбиозе с милыми интеллигентными элоями, которые лишь чуть пугаются, если кого-то из них утаскивают на ужин, и торопятся о том забыть, скрываясь, чтобы щебетать в уютных куцах.

В фокусе общественного внимания не наблюдается ни рациональных проектов конструктивных действий, ни даже намека на здоровые, адекватные реальным обстоятельствам позитивные образы завтрашней России. Крах общественных ориентиров — момент профессиональной ответственности гуманитарно образованных людей; именно их знания и умения теперь наиболее востребованы. Как поступают офицеры в отставке, когда начинается война? Чего ждут от врача, которого будят среди ночи ради спасения больного? Но когда общество утрачивает здоровые ориентиры и вместе со страной сползает в пропасть, чего ожидать в России от «людей культуры»? Только того, что они произнесут ряд

Русаков Андрей Сергеевич, обозреватель издательского дома «Первое сентября», директор АНО «Агентство образовательного сотрудничества», автор книг «Эпоха великих открытий в школе девяностых годов» (СПб., 2005), «Уходящие перспективы. Школа после эпохи перемен» (М., 2000, 2-е изд. — СПб., 2014), «Школа перед эпохой перемен. Образование и образы будущего» (СПб., 2014).

гневных фраз и уедут перечитывать Тургенева в Баден-Баден или еще какую «внутреннюю Монголию». Но если за будущее сражаются только негативные сценарии, то никакая правильная Россия, «завещанная нам Пушкиным и Тургеневым», уж точно ниоткуда не возникнет.

Мы вступили в годы национального позора, за которые будет мучительно стыдно будущим поколениям русских людей. Через два десятка лет оправдания: *«А я Тургенева читал», «я — как завещали: лучше жил в глухой провинции у моря», «я же каждый год на митинг выходил»* и т.п. — прозвучат ничуть не лучше рассказов про то, что *«нам же такое по телевизору говорили! все верили, ну и я отчасти...»*

Никого лично ни в чем не упрекаю. Менее всего готов кого-либо осуждать за недостаточно активную жизненную позицию, понимаю и поддерживаю эмиграцию тех, кто разумно предпочитает уехать. Речь здесь не о гражданской позиции, а о параличе интеллектуальной работы, о внезапном исчезновении культурных ресурсов для нее.

Вдруг что-то не так именно там: «в России Тургенева»? Если национальная культура воспитывает лишь агрессивных идиотов, тихих обывателей и людей, которые в решающие для страны годы могут лишь наблюдать, рефлексировать и возмущаться, то, быть может, что-то не так с этой культурой? Или — как минимум — в наших с ней взаимоотношениях?

2

а) Но разве культуру должно мерить ее общественной «отдачей»?

Отчасти — да, должно.

б) Но разве мы можем выбирать свою культуру по своей воле?

Отчасти — да, можем.

Пусть даже культура («возделывание» по первоначальному смыслу латинского слова) обращена прежде к личному, нежели к общему, к «возделыванию» человека прежде, чем к «возделыванию» народа, но само сочетание слов «национальная культура» указывает на факт вольной или невольной ответственности культуры за историческую судьбу народа, ее создающего и ею создаваемого. Кто-то готов видеть в культуре лишь сокровищницу артефактов для эстетического удовольствия и душевного развития; их право. Но эта статья обращена к тем, кто признает конструктивную роль национальной культуры для жизнеспособности страны:

для национального взаимопонимания,

для вменяемости общественных отношений,

для выработки ориентиров общественной мысли.

Увы, перечисленные задачи в России едва ли выполняются, а предлагаемые «классической» русской культурой координаты все хуже ложатся на карту реальности. «Лучи света» и «темные царства», «народ и интеллигенция», «Европа и Россия», «Долой самодержавие!» или «За царя и отечество», «дворянство и большевизм», «Петр и Пугачев: власть и стихия», «Маленький человек и безжалостный мир», «Хорь и Калиныч», «Штольц и Обломов», «Героический бунт и теория малых дел», «Тварь я дрожащая» или «будем как Солнце» и т.д. — в вариациях на подобные литературные темы полтора столетия бился прибой

живой мысли, исторических драм, судьбоносных решений. А теперь вода ушла. Осталась словесная пена, взбиваемая инстинктами «культурного воспитания».

Русская классика и в наши дни отзеркаливает множество узнаваемых архетипов, над которыми можно потешаться или которыми ужасаться, но не позволяет даже формулировать рабочие вопросы, подразумевающие возможность толковых решений, а не только патетических реплик.

Когда же символический язык культуры оказывается недееспособным, его роль с удовольствием берет на себя alter ego русской «высокой» культуры, ее «черный человек» — незатейливая мифология имперского нарциссизма, убогого поклонения насилию и веселого презрения к человеческому достоинству и жизни.

«Вознесение» в фэнтезийные построения на мистические и/или геополитические темы вкупе с падением в пещерный примитивизм при выборе инструментов социально-политического действия — естественный результат отсутствия «общественной отдачи» от культурного наследия.

3

Теперь о выборе. Мы не можем легко поменять культуру, но можем по-другому ее увидеть, по-другому осознать.

Многовековая национальная культура всегда значительнее того, что под ней в какой-то период интуитивно подразумевается большинством. Здесь уместна аналогия со спектром видимого света: глаза фиксируют лишь узкую часть диапазона реальных электромагнитных волн — ту, на которую они настроены. Так и культурное восприятие настраивается общественными традициями на свою «длину волны», позволяя воспринимать в качестве значимого лишь избранный слой культуры.

Мы не можем по своему произволу заменить русскую культуру другой, но вольны перенастроить свой взгляд, опознать, «расцветить» прежде «невидимые» части спектра. Тогда у нас есть шанс обнаружить качественно иные стратегии культурного мышления, множество нетривиальных ориентиров, неожиданные модели социально-культурных решений, — опирающиеся притом на родную для нас почву.

На самом деле «переоткрытия» культурного прошлого — норма национального развития.

Два масштабных отечественных примера:

русская средневековая иконопись — которая для Пушкина и его друзей вовсе не представлялась искусством — была переоткрыта к началу XX века в качестве уникального достояния мировой культуры;

русская религиозная философия, к которой небрежно и полуиронично относились современники, запретная и забытая почти все советские годы, в конце 1980-х вдруг торжественно воскресла и стала одним из главных идейных ресурсов эпохи перестройки¹.

«Высокая литература» два столетия ощущалась в России не только главным «нервом» восприятия современной жизни, но и главным источником общественного самосознания. Теперь нам жизненно важно обнаружить в качестве актуаль-

ного творческого наследия гораздо более сложную картину русского культурного опыта.

Тема этой статьи требует аккуратного подбора слов и уточнения многих нюансов. Вряд ли это во всем получится — тем более, что обобщенное изложение принуждает к лаконичности. Вынужден заранее просить прощения за недостаточную корректность иных формулировок, за то, что буду опускать многие справедливые оговорки — увы, при беглом и широком обзоре этого не избежать.

Дальнейшие рассуждения я представляю в виде трех блоков тезисов с короткими комментариями-пояснениями.

Первый блок — иллюстративный и ретроспективный: о неслучайности явных трудностей с применением «культурных кодов» по-школьному понимаемой русской культуры в сегодняшних общественных отношениях.

Второй — указание на другие мощные слои культурной традиции, подсказывающие, как можно иначе «вырабатывать язык взаимопонимания», на основе чего формировать качественно иные образы будущего.

Третий (в связи со вторым) — варианты новых акцентов в поиске социально-культурных тактик и стратегий, в осмыслении общественных перспектив.

Глава II. Почему культура перестала «срабатывать»

Дальнейшие тезисы не носят полемического характера; я стремлюсь не доказать, а показать. Моя задача — попытаться поместить в центр внимания то, что обычно замечают в лучшем случае «боковым зрением», обозначить это как ресурс для осмысления возможных образов лучшего российского будущего и способов движения к нему.

Но предварительно придется хотя бы пунктиром обосновать, почему «привычная» русская культура («школьная», «интеллигентская», «высокая» — нелегко подобрать точное слово, когда пытаешься отграничить то, что принято воспринимать самодостаточным и всеобъемлющим) закономерно перестала «срабатывать».

Вот три (задолго до меня замеченных) особых качества той системы координат, в связи с которыми раскрывается нам «высокая» русская культура. Перед нами:

- а) культура имперская,
- б) культура литературоцентричная,
- в) культура, «вертикально ориентированная».

По этим разделам и пробежим глазами.

Первый сюжет: Фантомные боли империи и имперские фантомы культуры

Вот ряд характерных черт, которые накладывает имперская традиция на «высокую» русскую культуру, придавая ей сегодняшнюю общественную беспомощность.

1. Пространство культуры очерчено властью.

«Родной дом» русской культуры воспринимается не как пространство расселения народа или историко-географическое «ядро» нации, а как территория внутри имперских границ². Внутри них — все наше, уже завоеванное. Зато за границами империи — все чужое, «эмиграция и ностальгия».

2. Варианты отношений с государством: бунт, восхваление, смирение.

Доминируют три культурных архетипа гражданской позиции: или пылкая солидарность с властью — или смирение/убегание «в широкошумные дубровы» — или противостояние и бунт. Спокойный диалог с государством или же строительство общественного пространства по-своему и независимо от государства у нас — нонсенс.

Жизнь-восторг и жизнь-протест, жизнь-страдание и жизнь-умиление — естественные культурные состояния. Жизнь-работа (в том числе духовная), жизнь-сотрудничество, жизнь-домостроительство, жизнь-радость, жизнь-понимание — куда более экзотичны.

3. Отношение к политике — мистически-напряженное.

Политика глазами культуры — это действия центральной власти и действия против нее. А все доступные для практического наблюдения, понимания, диалога средние и нижние уровни политики — лишь приводные ремни централизованной государственной воли, иногда оттененные случайными человеческими качествами отдельных чиновников/командиров/наместников.

Политика если и поворачивается, то «вся вдруг» и всегда непредсказуемо.

Заоблачные высоты имперской власти не рациональны, а мистичны. В отношении культуры к политике нет места разумности и ответственности.

4. В империи важны столица и фронт. Внутренняя провинция — инертна и единообразна.

«Высокая русская культура» всецело завязана на Москву и Петербург. Для нее существует жизнь столичная, жизнь провинциальная и «военный фронт» (Кавказ, Польша, Туркестан, Дальний Восток, линии фронта на конкретных войнах и т.п.). Провинция (вся! — на одной шестой части суши!) воспринимается и обсуждается почти единообразно; легкий экзотизм Сибири или Малороссии только подчеркивают базовое единство взгляда³.

Бажов, Писахов, отчасти Платонов — насколько ярки исключения! Но они лишь намекают, сколь многоликой могла бы предстать иначе организованная русская словесность⁴.

5. Ироническое отношение к «провинциальным недокультурам».

То «пограничье», которое мыслится как фронт — Польша, Грузия, Армения, в меньшей мере Финляндия и Средняя Азия — все-таки в центре культурного внимания и уважения. А вот те, кому суждено было оказаться «в тылу» — культуры Украины и Белоруссии, практически все национальные культуры нынешней России — в качестве серьезных явлений не воспринимаются. Судьба «провинциальных недокультур» — обогащать общеимперскую культуру, «сливаться в русское море». Служить для нее этнографическим материалом.

Глухота людей русской культуры к культуре украинской (бурно, ярко и убедительно разворачивающейся последние полтора столетия) уже не просто выглядит парадоксальной дикостью, а стала первой из сдетонировавших предпосылок русской национальной катастрофы. Пренебрежительная глухота к национальным культурам российских народов — столь же изумительна и столь же чревата бедой.

6. Привычная самооценка: русская литература — великая сверхдержава мировой культуры. Она самодостаточна, а ее вклад в мировое культурное развитие соразмерен военной мощи российской/советской империи.

Пока культура молода и плодотворна, пафос собственного величия — хороший катализатор развития. С годами полезна большая адекватность. Особенно теперь, когда можно подводить итоги фактического воздействия русской литературы на мировую культуру XX века.

Что мы обнаружим? Огромно влияние Л.Н.Толстого — похоже, его значение для развития мировой художественной мысли перевесит вклад всей прочей русской изящной словесности вместе взятой⁵. Половина оставшегося влияния придется еще на два-три имени: Чехов, Достоевский, полуанглийский Набоков. Совокупное влияние на мировую культуру прочих русских писателей едва ли превзойдет влияние литератур чешской или норвежской — литератур замечательных, но нимало не мыслящих себя культурными империями и самодостаточными сокровищницами ответов на любые вопросы.

7. Империя приучает мыслить рангами и регламентами, имперская литература — социальными типами и риторическими формулами.

Национальное государство может позволить себе опереться на общественные структуры, на гибкие механизмы обратной связи, на внимание к особенностям и подробностям. Империя не будет вникать в калейдоскоп ситуаций и не способна доверять кому-либо; в ней задаются простые и прочные повсеместные модели, алгоритмы, правила субординации. У империи — регулярность, чины и формы; у русской литературы — типичные представители, всеобщие идеи, узнаваемые положения.

«Высокая» русская культура в унисон имперскому стилю воспитывает в людях стремление свести конкретную ситуацию к известным схемам и архетипам; приучает развешивать ярлыки из общей культурной логики, а не пытаться понять ситуацию «по месту и времени», взглянуть на нее как на уникальный феномен⁶.

Второй сюжет. Цена литературоцентричности

Литературоцентричная эпоха русской культуры очевидно завершилась (попробуйте, к примеру, вообразить современную русскую поэзию организующей силой культурного пространства страны). Но тип восприятия культуры вполне прочен.

«Литературоцентричность» интуитивно понимают как резкое преобладание словесности над музыкой, пластическими и изобразительными искусствами. В таком перекосе культурных акцентов есть свои проблемные стороны (припомним дисгармоничность внешнего вида большинства наших городов и поселков),

но более существенно другое. «Литературный» взгляд на мир подавляет в русском культурном воспитании многие другие, не менее необходимые практики организации мышления, самосознания и взаимопонимания людей.

1. Литература подменяет собой религию и философию.

Любая европейская литература нового времени энергично вторгается в вопросы религии и философии, но мало у каких народов она по существу вытесняет их из культурного пространства, находится не в диалоге с ними, а замещает их собой.

Работа философа предельно строга и требовательна к интеллектуальным построениям; религиозное обсуждение жизненных вопросов сдерживается церковной традицией, аккуратностью изложения и моральными ограничениями. Но правила интеллектуальной дисциплины кажутся неуместными тем, кто привык строить мысль по литературным образцам с их установкой на художественное наитие и образную убедительность.

Привитая вольность литературного мышления дарит русским образованным людям «легкость в мыслях необыкновенную» в обсуждении вопросов любой серьезности и онтологической глубины.

2. Литература подменяет собой обществознание и гуманитарную мысль в целом.

Литературу привыкли воспринимать как общественного учителя, источник рецептов того, «как нам обустроить Россию». Хотя на такой вопрос вроде бы призван отвечать большой ряд гуманитарных исследовательских дисциплин — от географии до социологии, от семиотики до психологии, от экологии до методологии научного знания.

В проектировании «обустройства страны» странно вытеснять изящной словесностью мысли и труды тех, кто учился не «чему-нибудь и как-нибудь» (что нормально и даже естественно для писателя), а несколько более основательно, кто вещает истины не по наитию, а излагает их в виде результатов серьезной работы, научного кругозора, исследовательского опыта⁷.

3. Литературное мышление подменяет собой правовое.

Привычка к бесправию в русской истории, конечно, не заслуга изящной словесности. Но в презрение к «формальному праву» она добавляет свою лепту. Традицию правового нигилизма литература усиливает своеобразным правовым утопизмом, умиляясь народной «жажде справедливости» в противовес европейскому «законничеству». Мол, милосердие и справедливость должны всецело торжествовать здесь и сейчас, иначе вся ваша жалкая юриспруденция — одно лицемерие.

Но закон никогда и нигде не торжествует безусловно; только идея закона, живущая в людях и их общественных отношениях, и порождает законосообразные практики, действия и поступки. Сначала закон оживает в людях — и только потом в государствах.

Когда же от представлений о праве отмахиваются как от иллюзии, то вскоре привыкают к тому, что искренняя эмоция — достаточное моральное основание для любого действия. Даже если последствия будут ужасны, а твое «чувство» навечно очевидными внешними манипуляциями...

С этим очень удобно работать извне: сильнее нажать на регистр «праведной эмоции» — и воспитанный соответствующим образом человек чувствует себя вправе вершить любые преступления.

4. Исторические комплексы литературы программируют общественную закомплексованность.

В «литературоцентричную эпоху» русская культура вступила со зрелостью Пушкина и разгромом декабристов⁸. Эта родовая травма «вшила» в нее роковое восприятие истории, комплекс общественно-политического поражения, болезненное расщепление взглядов на народ, государство и «образованный класс»⁹, резкие перепады от радикализма к верноподданничеству и/или громко декларируемой аполитичности¹⁰ и т.п. Опыт взаимоотношений русской словесности и русской революции только закрепил эти невротизированные черты.

Третий сюжет. Вертикальная организация культуры: ее привычная ненормальность

1. Модель вертикальной динамики: вверх — отбор гениев, вниз — «продвижение» их трудов.

Образ централизованного культурного строительства подобен имперскому: «наверх» жизнь выталкивает кандидатов в гении¹¹, вниз устремляется пропаганда их произведений.

Задача участвующих в культурной работе людей — послужить передаточными звеньями для передачи высокой культуры «в массы». А в целом русское образованное общество выглядит лишь фоном и ресурсом для деятельности «светил», оно обречено смотреть на окружение «гениев», как крепостная Россия на дворянство¹².

В реальности национальная культурная среда создается отнюдь не «передатчиками» и «пропагандистами достижений», а необычными и многогранными людьми, с уникальными судьбами и собственным значимым творчеством. Но зрение, настроенное скользить по «культурной вертикали», такую самобытность почти не замечает.

Характерна дистанция между столичной «культурной элитой» и миром трудовой интеллигенции: инженеров, учителей, врачей. Они рассматриваются не как основная часть культурного сообщества, не как соработники в создании культурной среды нации, — а лишь как «продвинутые потребители», досадное, но неизбежное «средостение» между «элитой» и мифологизированным народом.

2. Равнение на гениев.

Русская культура предстает прежде всего кругом вершинных литературных произведений и связанных с их создателями лиц и событий. Это кажется естественным: к кому присматриваться, как не к лучшим?

Да, биографии гениев — значимая часть национальной памяти; но если они начинают трактоваться как образцовые (что невольно и происходит), то с ролью учебных пособий справляются предсказуемо плохо.

Люди с гениальным призванием властно ведомы своим предназначением, множество вещей они «схватывают» не трудом понимания, а мгновенной

интуицией, жизнь свою зачастую ведут на износ, на разрыв, на пределе физическом, нравственном, интеллектуальном; они готовы двигаться по «лучу судьбы», невзирая ни на что. Попытка подражания подобному жизненному стилю с большой степенью вероятности оказывается или разрушительной, или деморализующей.

Основная же стилистика многих тысяч создателей культурного мира нации совсем иная: спокойная ответственность, вдумчивое сочетание решительности и осторожности, готовность считаться со многими и многим, заботливая внимательность не только к «провиденциальным собеседникам», но и к своим ближним.

Другие последствия равнения на гениев — в области гуманитарных исследований. Вот у нас великие поэты — а вот специалисты по ним. Вот гениальные музыканты, художники, физики и т.д. — и к ним приставлены соответствующие знатоки. Исследовательский (и соответствующий популяризаторский) аппарат настраиваются жестко специализированно. В результате те комплексные явления, которыми и держатся основные сцепления национальной культуры, или едва заметны, или сильно искажены (а то и вовсе невидимы).

3. Монолитность, закрывающая многомерность.

Русская поэзия (а во многом и вся русская художественная литература) двух прошлых столетий представляется нам практически единым произведением: она пронизана общностью сюжетов, ритмов, символов, идейных антиномий, пророчеств и их исполнений, переключкой авторов и персонажей.

В этом ее великое художественное достоинство, огромная притягательная сила. Но эта же сила выступает и как затмевающая, заслоняющая собой отнюдь не монолитный, а многомерный характер русской национальной культуры в целом.

Когда на нашей памяти исчезла видимость круговорота культурных явлений вокруг привычного «литературного центра тяжести», то наглядная децентрализация культуры многими была воспринята как культурный распад. Оторопью от этого чувства отлично воспользовалось российское телевидение — оно взяло на себя функцию последнего симулякра централизованной культурной монолитности.

Степень убожества и инфернальности этой оси культурного единства показывает, что культуре в России больше не быть централизованной.

Вот только привыкнуть к тому, что твоя культура может говорить на очень разных символических, идейных и образных языках, — это отдельное открытие, отдельная душевная работа.

Другие миры русской культуры — не фон, не сырье, не обрамление, они — огромные явления, которые совсем иначе организованы, в которых мы обнаружим другие заботы, ценности, правила, способы самоорганизации.

О чем и поговорим далее.

Глава III. Русская культура на других частотах

Нашему обществу, чтобы выжить и удержать огромную страну в качестве своей общей родины, предстоит искать противоядия от большого ряда укорененных привычек:

от культуры самоуверенного всезнайства,
от культуры агрессивной сентиментальности,
от традиции действовать «по наитию» там, где важно действовать по уму,
от высокомерия к культурам большинства народов, с которыми суждено жить рядом,
от нежелания присматриваться к той реальности, которая не соответствует нравящимся схемам,
от общественно-политической невротичности,
от привычки смиряться со сверхцентрализацией всего и вся.

Для этого потребуются разыскать то, на что мы сможем опереться. А для этого вспомнить:

такую русскую культуру, которая не путает душевность, эмоциональность с духовностью, в которой принято соразмерять умозрительные построения и конкретные дела;

русскую культуру, которая не состояла в симбиозе с имперским мышлением и не испытывает комплексов перед государством;

русскую культуру, которая «горизонтальна» и объединена взаимодополняющим многообразием.

Эта глава — не каталог, а набросок, не строгий перечень, а первые приходящие на ум примеры автономных миров русской культуры, достойные обсуждения.

...«Областничество» и культура региональной идентичности. Культура научная. Культура крестьянская. Культура в «горизонтальном» рассмотрении: где «узлы» важнее «вершин». Культура педагогическая. Культура, созданная для мира детства...

Попробуем взглянуть на все это не как на периферию, а как на равноправные «центры сил», мощные основы для полицентричного («федеративного», если угодно) понимания национальной культурной жизни.

1. Культура в «горизонтальном» измерении: когда «узлы» важнее «вершин»

Сперва взглянем на мир относительно привычных имен, но поменяем угол зрения. Наметим систему координат не по гениям, не по вершинам, а по тем личностям-явлениям, которые играли особую объединяющую и организующую роль в культурном пространстве.

В русской истории канонизирован лишь один образ человека универсальных культурных интересов — М.В.Ломоносов. Далее культурная преемственность привычно выстраивается уже «специализированно» по известному шуточному определению: «Ломоносов роди Державина, Державин роди Жуковского,

Жуковский роди Пушкина, Пушкин роди Лермонтова, Лермонтов роди Некрасова...»

Но попробуем повести «силовые линии» культуры не по литературному лидерству, а по людям с особой многогранностью творчества и особым масштабом созидательного вклада в русскую культуру.

Какого рода фигуры возникнут перед нами?

Вот ближайший друг и наставник Державина — Николай Александрович Львов. Он значительный поэт, но, конечно, меньший, чем Державин. Оригинальный и выдающийся архитектор — но все-таки не столь масштабный, как Михаил Казаков или Джакомо Кваренги. Львов — замечательный ученый-исследователь и изобретатель «инновационных» строительных и отопительных технологий, но вряд ли войдет в число первых ученых века. А еще — музыкант, гравер, драматург, переводчик, издатель летописей, собиратель народных песен и основоположник пейзажного садоводства. Еще важнее другое: объединив множество сторон культуры в своей личности, он соединял между собой ключевых творческих людей эпохи. Состоялся бы тот же Державин без литературного, художественного и музыкального кружка, собравшегося вокруг Н.А.Львова? Не факт. И нелегко решить, кто из них послужил более необходимым звеном в развитии русской культуры.

Следующий не безусловный, но вероятный «универсальный герой» — Николай Карамзин, все-таки получивший достаточное признание и в представлениях не нуждающийся.

Кто далее? Я бы наметил так.

Директор Публичной библиотеки¹³ Алексей Николаевич Оленин.

Редактор журнала «Московский телеграф» Николай Алексеевич Полевой¹⁴.

«Любомудр» Владимир Федорович Одоевский¹⁵.

Историк и правовед Константин Дмитриевич Кавелин¹⁶.

Все имена небезызвестные, но школьные учебники сообщают о них в лучшем случае парой строк.

Конечно, В.Ф.Одоевский — меньший писатель, чем Лермонтов или Гоголь; Н.А.Полевой менее тонок в качестве литературного критика, чем Пушкин, а слог Кавелина не претендует на художественность тургеневского. Но в остальном их исследовательские, теоретические и публицистические работы, взгляды на вещи, страницы их биографий, образ их жизни и круги общения — все это предстает, ей-богу, не менее ценным и мудрым, чем аналогичные сведения о Пушкине, Блоке или Достоевском, что уже полтора столетия перебираются тысячами исследователей по строчке под микроскопом и выставлялись миллионам читателей как образцы национального мышления и миропонимания.

Если равняться на перечисленные выше имена, то картина русской общественной мысли предстанет нам достаточно непривычно.

Никакой «роковой обреченности» — торжествует уверенность в личной возможности каждого образованного русского человека влиять на будущее страны.

Вместо интуитивных оценок и призывов — стремление к предварительному изучению предмета, рациональному расчету, взвешенному решению.

Вместо «слушания музыки революции» — выработка способов согласовать, договорить, уравновесить интересы разных идейных и общественных сил.

Вместо взгляда на прошлое как на историю вождей и народных масс —

внимание к человеческому измерению истории, к отпечаткам личности и творческих усилий разных людей.

Вместо умиления русским народом или испуганного презрения к нему — трезвая оценка и активное участие в его развитии¹⁷.

Вместо риторических крайностей в высказываниях — сочетание сдержанности суждений с их прямоотой и независимостью.

Вместо метаний от бунтарства к верноподданничеству — работа по «примирению начала свободы с началами власти и закона»¹⁸.

Разумеется, предложенный список — лишь вариация на тему; выбор имен должен быть расширен и может быть оспорен — важно, что перед нами иной тип культурного лидерства.

Роль этих людей — не прорывная, а согласующая, примирительная для современных им противоречий, а в то же время — запускающая «долгоиграющие» культурные механизмы на десятилетия вперед.

Известен афоризм Лао Цзы: «Самый мудрый правитель тот, о котором знают только то, что он существует». Влияние лидеров «горизонтальной культуры» растворяется в сложных процессах, их «наставничество» незаметно, но плодотворность усилий громадна. Они вырабатывали культурные практики, задавали конструктивные способы сотрудничества (в том числе общества и власти), создали инфраструктуру выживания и развития культуры¹⁹.

Но главное для нас — все-таки не личный вклад этих нескольких замечательных людей, а ярко выраженный на их примере тип культурного деятеля²⁰. Ведь в каждой губернии находились десятки людей, чьи действия и усилия были им созвучны, сонаправлены.

Лидерство такого типа людей неочевидно в масштабах всей России, но несомненно — в создании культурных традиций в масштабах местных и областных. Своих Пушкиных и своих Некрасовых во всех губерниях не заведешь; зато повсеместно обнаруживались свои Оленины, свои Полевые, свои Одоевские, свои Кавелины. Ведь главная ткань «провинциальной» культуры — не гениальные литературные произведения, а запечатленные в памяти людей усилия по обустройству осмысленной и одухотворенной жизни.

Реальная, действенная доселе русская культура XIX века — не только страницы поэтических книг. Это культурные артефакты, сохранившие свою особенную силу в каждом месте: от зданий до бытовых правил приличия, от опыта с умом организованных когда-то хозяйств и предприятий до собранных музейных экспозиций, от памяти о культурных событиях до традиций школьного обучения — все это возделывало и возделывает души и характеры множества людей. Это наследие позволяет нам доселе видеть в окружающих людях столь много доброго и осмысленного, когда, казалось бы, все должно быть глубоко безнадежно в стране с такой внешней историей, как российская.

2. Культура региональной идентичности

Здесь нам потребуется несколько «цветофильтров». В традициях сопричастности культурному ландшафту, историческому пространству, ценностям и

нормам региональной идентичности — мы обнаружим целый ряд сцепляющихся друг с другом, но существенно различных слоев.

А. Краеведческий слой. Как только в России намечалось расширение «свобод», первой волной обновления жизни прокатывался внезапный и бурный расцвет краеведения: исследований, изданий, всеобщего интереса и соучастия. Так было в начале XX века, затем — в 1920-е годы, потом — в 1960-е; наконец, на наших глазах — в 1980-е. Но следом краеведение столь же внезапно стухевывалось, вновь откатывалось на третий план, вновь оборачивалось смешным факультативным занятием (разве что снабжающим очередное местное начальство декоративной атрибутикой). Чаще спад выглядел естественным исчерпанием интереса и административных ресурсов, но иногда (как в конце двадцатых) обеспечивался и специальным силовым разгромом.

Подозреваю, что сказывалась внутренняя логика сюжета.

Первый такт очередной волны любознательности выносит в центр краеведческого внимания те ценности, что соответствуют общероссийской «культурной матрице», всем понятны и укладываются в раздел музейно-архивно-издательских забот. А вот далее высвечивались факты более странные, требующие каких-то новых способов обсуждения; следом совокупность «краеведческих» фактов увязывалась внутри себя и уже ощутимо резонировала с современностью. Проявлялась реальная Россия в своем историческом и пространственном развитии — слишком разная, слишком нестандартная.

Шутки заканчивались.

Во-первых, краеведение начинало свидетельствовать об уникальных объективных потребностях своего места, пространства и населения, никак не укладывающихся в имперское администрирование; за его политической наивностью вдруг проступали требования прав на самоорганизацию и самоуправление.

А во-вторых, при осмыслении калейдоскопа любовно перебираемых чудачками-краеоведами достопримечательностей, загадок и анекдотов, экспонатов и топонимов, цифр статистики, живописных руин и прочих «бирюлек» иной раз вспыхивали очертания громадных смысловых сдвигов, огромных претензий на признание региональной самобытности; намечались контуры особых «российских стран», взламывающих фактом своего существования привычные политические и культурные мифологии.

Б. Символический слой. Теперь предмет разговора переходит в другой регистр. Перед нами уже не достопримечательности и экспонаты, а символические машины, культурные матрицы, воспроизводящие из поколения в поколение особые типы самосознания и мироощущения.

При этом обнаруживается, что Россия — набор разных, порой противоречащих друг другу идентичностей. Что Россия — совокупность разных «стран», потенциально самодостаточных в своих не только экономических, но и культурных ресурсах. И что сам факт «русскости» и «нерусскости» населения этих стран второстепенен перед сложившимися здесь неформальными сводами правил, наборами адекватных стратегий поведения, природосообразными методами хозяйствования.

Выдающийся современный опыт раскрытия таких символических машин — исследования, книги и фильмы писателя Алексея Иванова

о «Горнозаводской цивилизации» — «Уральской матрице»²¹, о целом материке (как обнаруживается) своеобразной и многослойной культуры, который был всецело не замечен русской словесностью.

А речь-то идет едва ли не о главном регионе современной России, едва ли не ключевом для ее будущего.

«Уральская матрица» представлена А.В.Ивановым как история в пространстве, а не во времени. Такая история разворачивается, а не развивается. В ее пульсирующем времени мы не обязаны выбирать «путеводную нить» правильного изложения событий, вставать на чью-либо сторону в конфликтах эпох, людей и мировоззрений. («Где в каждом столкновении, в каждой истории — минимум две правды. А то и три, четыре или пять».) Зато мы можем и должны увидеть, что из открывшегося нам прошлого по-прежнему актуально, к каким противоречиям надо привыкать, чем нельзя пренебречь, что способно нас выручить.

Найдется и немало работ (пусть не столь художественных и не столь выразительных, как книги Алексея Иванова) об особых «культурных матрицах» Сибири, Поволжья, Русского Севера, разгромленных стран казачества, Новгородско-Петербургского Северо-Запада...

Я бы посоветовал разыскать такой двадцатилетней давности учебник — книгу для чтения по краеведению И.Х.Салимова «Среднее Поволжье»²². Ирек Салимов разворачивает «матрицу» Поволжья более мягко и осторожно, чем это делает Алексей Иванов относительно Урала, но в схожем масштабе, при той же внимательности и глубине. Позволю себе процитировать пару абзацев:

«...Удивительным фактом остается неосознанность россиянами своей Родины как пространства. При этом как бы выпадает среднее звено. Есть Россия, есть Сибирь, Кавказ, Поволжье... А дальше сразу начинаются города или более мелкие местности. Потому что Ульяновскую область вряд ли можно рассматривать как название местности. Это скорее похоже на кличку раба: раб Нерона. Местность как бы не принадлежит себе, а становится второстепенным приложением к городу...

В основе краеведения лежит идея о феномене края, страны. Край — это индивидуальная действительность, которую нельзя разрушить административными границами. Наблюдения, описания, художественные описания, памятники культуры — это события самого ландшафта. Поэтому чтение краеведческого текста предполагает осознание страны, перенос в нее своей мысли. Попытка правильно понять край — одно из самых ответственных событий в жизни самого края»²³.

В. Слой местных правил жизни. Чем сплачивает империя? Фактом неумолимой силы, с которым все поневоле вынуждены считаться. Представители «имперского народа» — агенты этой силы, они чужды местным отношениям и презрительны к ним²⁴. Свой образ жизни они носят с собой.

Но на деле не менее значимы для «имперского народа» и противоположные качества.

Как только часть русского населения перестает выступать лишь внешней силой — в виде солдат, чиновников, «бюджетников», вахтовиков, как только начинает соотносить свою жизнь с окружающим пространством и обживать его как свою родину, она оказывается и «национальной», и самобытной. Русский

человек, например, в Башкирии становится равноправным носителем неписаного свода правил местной жизни: не в смысле принадлежности к национальной культуре башкир, а в смысле сопричастности культуре башкирской земли²⁵. В ходе такой «коренизации» русского населения между людьми разных национальностей интуитивно налаживается стремление понимать друг друга, учиться друг у друга, сосуществовать рядом и сотрудничать; видеть, помнить и ценить то, что помнят и ценят твои соседи.

Эти механизмы действовали веками, действуют и сейчас. Без них Россия была бы намного меньше нынешних размеров.

«Межнациональный диалог» в очень малой степени идет через изучение творчества поэтов, национальных историй и прочие «высокие материи». Он складывается в бытовом общении людей, в общем чувстве ландшафта, в чуткости к его культурным смыслам и символам, сохранившимся от разных эпох и народов²⁶.

Что это означает в культурном измерении? Речь идет о культуре человеческих отношений, воспринимаемой через ее исходные образы: освоение правил общения, ритуалов гостевых встреч, обычаев трудиться и праздновать, народных песен, практик хозяйствования или путешествий в местных ландшафтах.

В такой среде складываются и личная культура человека, живущего у себя на родине, и общее культурное наследие представителей разных народов, живущих на одной земле.

Национальная культура любит противопоставлять себя иным; она и сознает себя во многом по контрасту с другими. Культура региональной идентичности, напротив, — учит понимать, связывать, сглаживать различия, смягчать, а не обострять отношения.

Г. Проектный слой. Вместо объяснений — два примера-легенды о людях, создавших особые российские столицы эпохи перестройки: Пензу — центр российского краеведения и Красноярск — столицу российского образования.

Георг Васильевич Мясников, второй секретарь Пензенского обкома КПСС, начинал еще в шестидесятых. Двадцатилетие он двигался к тому, чтобы Пенза стала примером в деле исследований родного края, «Меккой» для краеведческих и музееведческих встреч²⁷.

«Историко-культурный рай» был сотворен из города, казавшегося захудалым, серым, малоизвестным. Ведь Пензенская область была когда-то «белым пятном» на культурной карте на взгляд не только среднего советского человека, но и собственных обитателей.

Мясников добился открытия множества музеев: от уникального по замыслу «Музея одной картины» до музеев Ключевского, Бурденко, Мейерхольда, Куприна. Он обязал райкомы и парткомы создать музеи на всех крупных предприятиях, в организациях и учебных заведениях. Он ставил один за другим памятники — от каждого скульптора добиваясь и выразительности, и неповторимости (будь то Денис Давыдов «с хитринкой и лукавым лицом», первопоселенец с копьём и плугом или единственный в стране «Лермонтов без погон» в Тарханах).

Пример второй. Советский Красноярск был поизвестнее Пензы: Енисеем, индустриальными показателями и значением для ВПК. Но к восьмидесятым годам в Красноярске сложилось поколение людей, желающих переделать свой

край из индустриально-сырьевой колонии в страну, приспособленную к жизни людей; в мир, который не стыдно считать своим домом.

Быть может, решающим «ферментом» для успешного воплощения таких настроений стала деятельность профессора-физика из Новосибирского академгородка Вениамина Сергеевича Соколова, который в 1975 году становится ректором Красноярского университета (а позднее и вторым секретарем крайкома). По воспоминаниям современников тех событий, Соколов намечает определенный план: резкое изменение культурной ситуации в крае за счет стремительных перемен в школьном образовании; базой для этих перемен становится университет, а «ядром» университета — специально создаваемый психолого-педагогический факультет с собственной экспериментальной школой.

К середине 1980-х В.С.Соколов приглашает в Красноярск на временную или постоянную работу ведущих (и по большей части опальных) отечественных психологов, дидактов и философов; на волне начинающейся перестройки они разворачивают в крае свои образовательные практики в сотнях классов, множестве учительских аудиторий и студенческих групп. Вскоре Красноярск уже служит главной опорой для складывающихся общественно-педагогических ассоциаций, новых научных, проектных и управленческих команд в образовании. (А лидерство в осмысленном реформировании школ Красноярский край уверенно сохранял до конца 1990-х годов.)

Всплеск регионального развития и самосознания в стране был почти повсеместным; не менее значительным он был в Екатеринбурге, Казани или Томске; Красноярск и Пенза уникальны именно осязательностью усилий конкретных людей, притом движимых не политическими, а социально-культурными целями.

Проектный культурный слой региональной идентичности существенно дополняет остальные:

он обращен не к прошлому и настоящему, а преимущественно к будущему, он рационален и рефлексивен,

он опирается не только на местные силы, но «фокусирует» творческий потенциал людей со всей страны.

Со временем и в Пензенской области, и в Красноярском крае многое снисвелировалось; города эти уже не так ярко выделяются и не столько притягивают выдающихся людей, сколько отдают своих Москве.

Но фактом культуры стал в перестроечные годы удивительный для русской истории успех региональных политических проектов: без привычного насилия, без истерического пафоса запугивания и «продавливания», без переламывания кого-либо через колено. Зато реализованных решительно и последовательно, с умелым согласованием разных интересов, собственных и общероссийских возможностей, интеллектуальных усилий и моральных ценностей.

3. Научно-центрированная русская культура

Что Блок родился в «ректорском флигеле», положено знать каждому петербуржцу. Куда простительней ничего не слышать о том, что тот самый ректор, дедушка Блока — А.Н.Бекетов — крупнейший русский ботаник, основоположник географии растительности в России и фактический создатель

высшего образования для женщин в нашей стране («Бестужевских курсов»²⁸). И совсем мало кто решится подумать, что Бекетов, пожалуй, не менее значим для русской культуры, чем его замечательный внук.

Культурный человек обязан помнить, какова фамилия убийцы Лермонтова, из какого села Есенин и как звали любовницу Маяковского. Но для миллионов россиян с высшим образованием вполне прилично никогда не слышать имен А.А.Фридмана и Г.А.Гамова, создателей теории «Большого взрыва» (людей, ни много ни мало впервые представивших научно достоверную историю Вселенной!); Б.С.Якоби — изобретателя первого электродвигателя и открывателя гальванопластики; П.А. Сорокина — одного из создателей социологии XX века и т.д.

Знание о научном мире для русского гуманитарного взгляда распадается на два раздела: «история техники» и «биографии ученых». Оба они факультативны и периферийны в культурном сознании.

Что если посмотреть несколько иначе?

Многим памятен недавний фильм Леонида Парфёнова «Зворыкин-Муромец», который трудно назвать научно-популярным: судьба и деятельность В.К.Зворыкина предстают зрителю именно как явление русской культуры. История техники, приключенческая биография и прочее лишь помогают увидеть главное. Точно в той же мере, как история литературы и биографии писателей помогают постигать нечто важное в словесном искусстве. Там — понимание художественных произведений, здесь — понимание пути творческой мысли, картина преемственности и противоборства научных школ, сложная сфера ценностных явлений, пульсирующих вокруг мира науки. И там, и там — свой опыт осмысления человеческих возможностей, общественных событий, моральных ценностей.

...Вообразим: вдруг стерта культурная память русского народа со всеми ее свидетельствами; удалось восстановить лишь ту ее часть, что связана с российской наукой последних трех столетий. И вот предстоит, опираясь только на этот контекст, воссоздать нормы национальной жизни и культуры.

Могло бы получиться не так уж плохо.

Что за типы культурного мышления оказались бы нашими опорами?

Во-первых, сам образ жизни ученых. Столь не вяжущийся с литературно-утрированным образом русского человека: перед нами по преимуществу мир упорядоченных, отчетливо и ответственно действующих людей. Характерны известные книги Даниила Гранина об А.А.Любищеве («Эта странная жизнь») и о Н.В.Тимофееве-Ресовском («Зубр»): они, собственно, не о научной стороне дела, а именно о культуре самоорганизации личности, опыте самостоятельного человека и мудрости выбора своего пути.

Во-вторых, норма осознания своей культуры в пространстве культуры мировой: в тесной связи и по единым правилам.

Известен период приписывания всевозможных открытий русским изобретателям (как несколько ранее в Германии взвешивали меру арийской крови); самое забавное, что эти попытки возвеличивания радикально умаляли реальный масштаб российской науки²⁹. Патриоты всех стран любят чваниться размерами «нашего вклада» в мировую науку. Но наука — не банковский сейф, «вкладами» не измеряется. Сами ученые ценят совсем иное: укорененность мировой мысли в родном для себя пространстве.

Чем выше интенсивность международных взаимодействий национальной науки — тем она значительнее, сильнее, самобытнее.

Кого мы видим главными фигурами отечественной науки XVIII века рядом с Ломоносовым? Прежде всего тех, кого в число «русских ученых» казалось вносить как-то неловко. Первым в ряду окажется крупнейший математик столетия Леонард Эйлер — проживший полжизни в Петербурге³⁰, и только прямыми учениками которого считали себя шестеро русских академиков. На следующее по рангу место мог бы претендовать великий естествоиспытатель Петр Симон Паллас («природный пруссак, отдавший всю жизнь России»). Дальнейший список каждый может продолжить по вкусу с помощью Википедии.

И в XIX веке биографическая двух-трехмерная национальная принадлежность великих ученых оставалась для России нормой, а не исключением. Можно умиляться самородкам, чей ум возник из ниоткуда и развился к своим открытиям от сверхъестественной русской смекалки. А можно гордиться другим. Что у Лобачевского и Гаусса был общий учитель — Мартин Бартельс, уехавший в Россию от наполеоновских войн, задавший уровень математики и астрономии сначала в Казанском, потом в Дерптском университете (а косвенно — и в Пулковской обсерватории). Что Альфред Нобель вырос в Петербурге и выучился химии у Н.Н.Зимины, что Ландау и Капица были равноправными участниками европейского сообщества великих физиков, раскрывших за несколько десятилетий тайны атомного ядра, что эмигранты Мечников и Сикорский смогли во Франции и Америке стать великими национальными учеными. Что великий лингвист И.А.Бодуэн-де-Куртенэ, несомненный и патриотичный поляк, вместе с тем может считаться и стопроцентным российским филологом, определившим интеллектуальную среду развития отечественной лингвистики в начале XX века. И прочая, прочая.

Вообразить актуальную для нас русскую культуру «научоцентричной» — занятная задача. Но именно задача: ведь обзорной картины российского научного мира как культурного явления не существует даже в наброске; она разбита по отраслям знания, по персоналиям, по учреждениям, по жанрам изложения и т.д. Увидеть мир культурного наследия российской науки, объединенный одновременно и внутренней цельностью, и тесной связностью с мировой научной мыслью, еще никто толком и не пытался.

4. Культура мира детства

Отвечая на вопрос, почему в школах обязаны проходить тот или иной набор «классических» произведений, зачастую с умным видом заявляют: «Так закрепляется культурный код нации!»

Но попросите своих знакомых задуматься и, положив руку на сердце, ответить: какой именно «культурный код» чаще позволял находить с полуслова, с полуслушки взаимопонимание с соотечественниками: из «России Тургенева и Достоевского» — или же из России Чуковского и Заходера, Эдуарда Успенского и Кира Булычева, Евгения Шварца и Николая Носова? По моим наблюдениям, вторая версия стабильно выигрывает. Можем еще спросить о том, какой круг

произведений покажется нашим собеседникам более надежным и действенным источником светлых, добрых и умных чувств...

Михаил Яснов свою книгу о детской поэзии³¹ завершает так: «У нас давно уже есть национальная идея, способная объединить всех от мала до велика, — это детская литература, детская поэзия. На одних и тех же произведениях воспитывались все, кто сегодня представляет нашу страну в политике и промышленности, бизнесе и культуре. Но игра в стихи — опасное дело: в такой игре юный человек учится думать. Неспроста же именно детской литературе оказалось по силам пробуждать объединяющие всех чувства — любви, гордости, сострадания, совершенствования, то есть чувства понимания и удовольствия, которые так необходимы детям в общении друг с другом и со взрослыми».

Не раз отмечалось, что именно детская сказка, поэзия, литература, культура детства в целом выполняет ныне древнюю роль мифа, вводившего ребенка в социальные и культурные структуры общества, делавшего его человеком общественным³². А впечатления от детской литературы отличаются особой глубиной восприятия и закрепляются в сознании на всю жизнь.

Удивит ли вас такой лозунг: «Культура для детей — основа национальной русской культуры»?

А ведь его принятие смотрелось бы итогом выстраданного исторического пути. Ядро советской детской литературы было очень непростым в своем происхождении и исполнении³³, оно удивительно в своем культурном потенциале и создавалось людьми исключительных талантов³⁴. Оно выросло из «высокой» словесности подобно «плоду на дереве», но отличалось очень многим.

Пожалуй, первое среди отличий: перед нами мир культуры всецело демократической — *великого искусства, понятного всем*.

У советской детской литературы хорошо известен исток ее масштабной истории: творчество Корнея Чуковского. Вот как обсуждает его М.С. Петровский: «Длинной ×фантастической мыслью× Чуковского — или ×темой жизни×, как он сам это называл, — был синтез демократии и культуры, *демократическая культура*. Вот откуда у Чуковского многочисленные подступы к литературе для детей — быть может, самому естественному проявлению демократической литературы. Отсюда же проистекает стилистика его критических и литературоведческих работ, словно бы нарочно приспособленная к тому, чтобы говорить о самых сложных и высоких материях с самым простодушным читателем и одновременно радовать вкус читателя изощренного...

Удивительно ли, что именно Чуковский открыл и впервые описал в 1910 году то явление, которые ныне широко известно под названием «массовой культуры», «кича» и т.п. Чуковский не устал доказывать, что кичевое искусство — при некотором внешнем сходстве — противоположно демократическому. В «киче» он открыл своего главного врага. Вирус пошлости, эстетическую дешевку, расхожий заменитель красоты, всякого рода литературный ширпотреб он разоблачал и предавал публичному осмеянию — от ранней статьи о «Третьем сорте» до самых поздних, вроде статьи с выразительным названием «О духовной безграмотности»³⁵.

Культура духовной грамотности — формула, столь странно и столь точно звучащая по отношению к игровым, задорным, отнюдь не морализаторским произведениям. Ибо основы такой культуры пропитаны противоядием от пошлости, озлобленности, отчужденности³⁶. В сравнении с инерционностью

русской «взрослой» словесности — перед нами сверкает искусство быстрого переключения:

от бодрого и веселого — к сочувствию и состраданию,
от забавы к делу, от развлечения — к усилию,
от увлечения своим замыслом — к незащоренной чуткости относительно рядом происходящих событий.

Эта привычка быть чутким к незапланированному, искусство своевременной и уместной смены внимания — то, чего сильно не хватает в российской даже бытовой жизни, не говоря уже про общественную, культурную или политическую.

...Культура неустанно раскрепощающая, но приучающая к сосредоточенности, а не разболтанности. Культура игровая, но чуждая легкомыслию. Культура задорно предлагающая, но и внимательно прислушивающаяся, присматривающаяся к читателю-собеседнику.

Отметим еще пару особенностей.

Мир культуры для детей не очень-то литературоцентричен. Детские проза и поэзия даже внутренне устроены так, словно ждут своих перевоплощений в театре, в иллюстрациях, в мультфильмах³⁷, в семейных розыгрышах, в сценариях жизни подростковых клубов, в самом искусстве книги... «У Чуковского было основное требование к сказке: чтобы к каждой строчке можно было нарисовать картинку», — так вспоминал Валентин Берестов. Сам жанр детской книги сложился в 1920-е годы как равноправный труд писателя, художника и редактора. «Сочетание изысканности — и демократизма, оформительской щедрости — и вкуса, озорной раскованности — и почти математического расчета, причудливости сказочного образа — и непонятно откуда возникающего, но выпуклого и достоверного образа времени», — такова характеристика первого книжного издания «Приключения Крокодила Крокодиловича» 1919 года с рисунками Ре-Ми.

Изысканность и общепонятность, раскованность и расчет, причудливая фантазия и точность, жизненность впечатления — достойная формула слагаемых русской культуры для детей.

Занятно, что традиции нашей детской литературы (в отличие от взрослой) продолжают оставаться языком международного взаимопонимания. Когда последние годы детские писатели из разных постсоветских и восточноевропейских стран собираются на свои фестивали то в Грузии, то в Эстонии (а это и литовцы, и украинцы, и армяне, и поляки, и белорусы, и финны, и даже россияне, хоть и в небольшом числе) — то ориентиры детской культуры советской эпохи по-прежнему остаются объединяющими и всем близкими.

И еще одно. У разных поколений одной семьи, разумеется, разные увлечения и культурные интересы. Но настоящая детская литература способна «срабатывать» как удобная общая платформа для взаимопонимания между всеми поколениями — младших и старших детей, родителей, дедушек с бабушками. Ведь для взаимопонимания сегодня важно не только учитывать то, что взрослые могут поведать детям, но и угадывать другое: то, чем детство может быть значимо для взрослых.

5. Педагогическая культура

Что про нее достаточно знать русскому человеку до общей нормы? Что был такой Ушинский — чем-то там великий в свое время, а еще Макаренко, который трудных подростков строил в шеренги и перевоспитывал.

Прочие подробности — дело «шкрабовское», скучное, техническое.

Немногие догадываются о масштабе отечественной педагогической мысли — истории опытов и усилий, открытий и развернутых культурных практик, «художественно-методических» произведений и образовательных проектов. Что этот творческий мир не менее велик, своеобразен и увлекателен, чем мир литературный или научный. Что культурное пространство российской педагогики освещено двумя десятками только по-настоящему великих имен мирового значения и раскрывается в тысячах выдающихся культурных явлений. Что если выбирать стержень культурной истории страны последних двух столетий, то история педагогической мысли убедительно претендует на роль главного кандидата³⁸.

Легко вообразить, что означает отсутствие в обществе эстетической культуры или практической грамотности.

А что означает слабость культуры педагогической?

Всегда есть два альтернативных подхода к любым проблемам: один воспитывается педагогической культурой, другой — политическими инстинктами. Лаконично их можно выразить противоположностью двух формулировок:

«Надо, чтобы...»

«Чтобы — надо...».

Собственно, педагогическая культура — это разнообразная мудрость про создание условий для становления сложных явлений (таких, например, как человек).

Политическое решение: придумать цель. Затем — план ее достижения и потребовать исполнения; кто не соответствует — наказать и исправить³⁹.

Решение педагогическое: если вы чего-то хотите, то сначала нужно понять, какие для этого требуются условия. Потом — постараться эти условия создать⁴⁰. Заодно учесть вероятные побочные эффекты. (Если же условия не складываются или эффекты недопустимы — займемся исправлением целей.)

Переход от позиции «надо, чтобы...» к формулировке «чтобы — надо...» — это переход от логики насилия к логике культивирования.

Отсутствие педагогической культуры в обществе означает, что такой переход закрыт. Движение к лучшему будет вновь и вновь соскальзывать по сорванной резьбе на привычный виток насилия.

Известно наполовину шуточное, но и по-своему точное высказывание: «Педагогика — это то, как мы живем». Оставим в стороне практическое значение педагогических знаний для всякого обучения и семейного воспитания. Обратим внимание на три глобальных эффекта педагогической культуры:

- 1) она перенастраивает нашу мысль и соответствующий ей образ действия;
- 2) сколько-то существенный ее слой просто необходим для выживания в народе прочих культурных слоев;
- 3) самое удобное пространство для естественных позитивных общественных перемен — пространство взаимопонимания в связи с педагогическими задачами.

О первом эффекте мы упомянули. Теперь о втором.

Если в перегруженном культурными знаками пространстве у человека нет средств выстраивать свой «культурный космос», то изобилие может иметь худшие последствия, чем недостаток. Чуждая, навязываемая, но отторгаемая культура — огромная сила: давящая, раздражающая, невротизирующая, убивающая в человеке способность к мироустроению — и себя в мире, и мира вокруг себя. Нагромождения культуры, которые растущие поколения не способны осмыслить, принять, «переварить», превращаются в надгробные плиты над будущим.

На фоне такой ситуации именно педагогика становится главной отраслью культуры, без которой ничтожны по своему влиянию все остальные. Акт педагогически оформленной встречи с настоящей культурой все труднее чем-то заменить, и с каждым годом уменьшаются шансы на то, что такое произойдет естественным путем, без специальных умных усилий, без специально организованных культурных сред и пр.

Вот как об этом говорила Т.В.Бабушкина (выдающийся педагог-исследователь, воспитатель большого сообщества людей многих поколений, выросших за три десятилетия на базе ее легендарного клуба): «Когда стараются дать как можно больше знаний о культуре, думают, что этим мы делаем культурного человека. Но здесь ошибка. Мы просто водим ребенка мимо культуры, остающейся отчужденной. Она отчуждена объемом, отчуждена тем, что произошли резкие перемены, произошел скачок из тех культурных контекстов в какое-то вроде бы совершенно другое житейское пространство. Масса нажитого в культуре стала так велика, что оказывается неподъемной, непробиваемой для детей. Культура нависает пластами, которые детьми воспринимаются как мертвые. Мы подводим ребенка к культурным явлениям, а контакта нет; словно мы его подводим, а вот там, за какой-то перепонкой, существуют себе культуры. Поэтому мне кажется, что на современном этапе более важной вещью, чем передача объема культуры и даже ее качественных принципов, является *прецедент культуры*. <...>

Это мне напоминает *проклевание цыпленком яйца*»⁴¹.

Подобная задача не решается ни культурной, ни даже образовательной политикой — только грамотной педагогической практикой.

Такова негативная оценка ситуации: в чем не обойтись без педагогики. Но есть и обратная сторона дела — возможности педагогики как ресурса позитивных общественных перемен. А именно:

использование образовательных проблем для налаживания согласия и взаимодействия в местном сообществе между людьми различных убеждений;

использование «детского измерения» социальной действительности как приемлемой для всех основы выбора приоритетов и формулирования общих правил местной жизни.

Все это может начинаться через простую причастность людей к жизни окрестных школ и детских садов. Неслучайно во многих европейских городках именно школы и сады — центры притяжения всей местной жизни: ведь это идеальные места для встречи людей разных поколений, от трех лет до девяноста трех; здесь многое помогает не раздражаться друг на друга, а испытывать

взаимное восхищение, нежность, неожиданный опыт прозрения и взаимопонимания.

Культурно, грамотно с точки зрения педагогики организованные сады и школы — это институты защиты семьи и вместе с тем средства преодоления семейной замкнутости. Это повод для людей объединиться в каком-то общем деле и, может быть, увидеть в этом несложном деле, за детскими забавами какие-то глубинные ценности, вдруг ощутить свою к ним причастность, ответственность за них.

Забота о детях в сотрудничестве с педагогами учит договариваться и действовать сообща, соревноваться в легком и естественном бескорыстии, переключаться со своих зачастую бесчеловечных социальных матриц на что-то близкое сердцу. Школы и детские сады дают шанс вместе с детьми и по поводу детей развиваться самим взрослым (впрочем, зачастую даже не развиваться, а просто «возвращаться к самим себе»).

Ведь главное не в том, что там «воспитывают наше будущее». Куда важнее, что отношением к школе или детскому саду определяется наше настоящее.

Именно поэтому они — основа национальной культуры.

6. Культура домашней жизни

Очень коротко о большом сюжете.

Если наугад заглянуть в местный музей где-нибудь в Скандинавии, то с большой вероятностью нас встретят экспозиции, воспроизводящие уклад жизни местных людей прежних десятилетий и столетий. Быт и труд в интересах своей семьи представлены чем-то изначальным, краеугольным. Первое, что считают важным показать в национальной культуре новым поколениям — это наглядная преемственность образов жизни, направленных на упрочение домашнего хозяйства, домашнего уюта, семейного согласия.

Умение жить у себя на родине,

умение жить своим домом —

вот базовые основы культуры любого народа, которые вытравлялись у нас с петровских времен — крепостничеством, с советских — устанем перечислять сколькими способами.

Привычность общаг, казарм, бараков, временных углов, где огромная часть населения проводила домашнюю жизнь, гармонично дополнялась советским идеалом «человека труда». За внешней мишурой его картонной героики пульсировала воплощенная во множестве людей антикультура отношения к труду как к мучению и подвигу (а заодно и к оправданию, индульгенции от прочих грехов). Неважно, что ты сделал, чего добился, что принес полезного людям и своей семье — важно, что «тяжко вкалывал на трудовом фронте». Это делает тебя достойным работягой, имеющим право ни о чем после работы не думать (и о самой работе, и о семье в том числе). Наружным фоном этого «отдыхающего после труда сознания» наметился адский морок типового поселка городского типа, откуда монотонно доносятся злобные бормотания вроде: «...И так сойдет... Ишь, чего захотели... И своя-то жизнь полушка, а уж чужая... Чай не बारे...» и т.п.

Европейские народы ощутили реальность демократического уклада одно-

временно с тем, как сложились переходные формы между «крестьянским домостроительством» и «профессорским бытом». У нас же произошел разрыв прямо по «линии сшива»: метастазы бытовой антикультуры студентов-разночинцев были помножены на казарменные традиции и породили образцы взбаламученного революционно-обывательского быта.

Заращивание этой раны идет уже десятилетия и весьма далеко от завершения. Да и приобретает весьма специфические и уродливые формы⁴².

Но исторические традиции умного домашнего обустройства, взаимной семейной ответственности, гармоничных бытовых взаимоотношений с другими людьми и окружающим миром были у русских не слабее, чем у других народов. Более того, на них когда-то пытались делать «стратегическую ставку»: вспомним о своеобразном культе одухотворенного домашнего быта у русских славянофилов⁴³.

Поколение моих ровесников еще могло застать по северным селам двух-трехэтажные столетней давности избы и фрагменты умного уклада жизни свободного, не знавшего крепостничества русского крестьянства; тогда мы могли еще услышать высказывавшееся старшим поколением интимное отношение к своему хлебному полю, лесу, лугу, реке, дому, церкви, односельчанам...

Наследию крестьянской культуры пришлось тяжелее всего; ее долго примитивно мифологизировали (то с умилением, то с уничижением), потом оклеветали (в немалой мере литературные светочи типа Максима Горького) и следом большей частью уничтожили⁴⁴. В конце XX века «археология» русской крестьянской Атлантиды была осознана большим кругом людей как особая обязанность⁴⁵. Какова будет ее отдача — пока загадка. Культурная традиция русского крестьянства прервана, опереться на нее непосредственно вряд ли удастся. Но сами очаги успешной сельской жизни завтрашнего дня будут поневоле «образовательно-емкими», будут нуждаться и в какой-то переключке с ушедшей традицией, и в новом «крестьянско-профессорском» осмыслении национального дома и хозяйства.

Впрочем, культивирование семейной памяти о феноменах разумных укладов домашней жизни — дело всеобщее. Это ведь именно та часть национальной истории, что наиболее тесно переплетена с личной историей, с протянутой в прошлое и будущее семейной родословной.

7. Культура стойкости и ответственного гуманизма

Еще одно небольшое отступление; пара оговорок, чтобы несколько сгладить жесткость оценок «высокой словесности».

Ведь сама «высокая русская литература» — это культура не только Пушкина, Гоголя и Тургенева, но и Толстого, и Высоцкого.

«Великое искусство, понятное для всех» — у этой формулы демократического искусства есть и обратная сторона: культура уважения к человеку, культура личного выбора и ответственности за него. В этой связи хорошо известны, например, высказывания о творчестве А.П.Чехова⁴⁶. Но хорошо бы иначе взглянуть и на Льва Толстого — не только как на «вершину», но и как на универсальный «узел» культуры, да еще какой!

Филологам и идеологам привычно было видеть в толстовских религиозно-

этических поисках по преимуществу смешные причуды, в его педагогических работах — «барские забавы». Но время расставило иные оценки.

Прямым последователем «наивного толстовства» стал Махатма Ганди — не только философ и подвижник, но и один из величайших политиков XX века — человек, который привел к независимости целый континент, огромную Индию. «Непротивление злу насилием» выросло в огромную политическую практику. Идея ненасильственного сопротивления, революций стойкости и духовной силы (а не только озлобленности и террора) — в корне своем не индийская, не европейская, а наша, толстовская. Нам, русским, стоило бы гордиться этим не меньше, чем военными победами.

А сколько насмешек вызвала опубликованная в 1862 году статья Льва Николаевича «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» Сегодня она читается как один из важнейших поворотов мировой педагогической мысли. Толстой на полстолетия опередил замыслы общеевропейского движения «Новой школы»: внимательность к жизни детей, уважение к их возможностям, деятельный подход к учению, согласование школы с окружающими обстоятельствами и т.д. И в практике своей яснополянской школы, и в методике, и в теории он представил первообразы новых оснований педагогики на десятилетия раньше, чем это по-своему (и по его следам) осуществили на Западе Адольф Ферьер, Мария Монтессори, Джон Дьюи, Селестен Френе⁴⁷.

Теперь о поэзии.

«Русская лирика от Державина до Бродского» — примерно так принято именовать ныне разнообразные антологии. Только одно имя плохо вписывается в антологии, его или оставляют за бортом или пристраивают скромненько в общем ряду. Нет, все согласны, что речь идет о явлении исключительном, но каком-то автономном, ярком побочном эффекте: «Да, а еще у нас был и Высоцкий».

Но только творчество Высоцкого «как-то сбоку» не удержать; оно резко выступает своего рода вторым полюсом русской поэзии, на котором в той же мере сходятся все «силовые линии», темы и интонации, как и на творчестве Пушкина.

Здесь не место для литературных аргументов и дискуссий, но согласимся по крайней мере с одним: если какой поэт действительно объединяет русский народ, то уж точно скорее Высоцкий, чем кто-либо иной. Если понимать слова о «народном поэте» не как комплиментарную гиперболу, а буквально: когда личное отношение миллионов людей к определенному поэтическому миру становится фактом народного самосознания, истоком национальной солидарности, то именно В.С.Высоцкий занимает такое место в русской культуре. И подобный буквальный смысл едва ли приложим к Пушкину — великому поэту образованного общества; его-то поэзия до сих пор, несмотря на все усилия школы и государства, встречает отзыв у народного большинства разве что в детстве, разве что своими сказками.

Известно выражение Павла Флоренского: «Если есть Троица Рублева — значит есть Бог».

Несколько снижая пафос, но сохранив аналогию, я рискнул бы сказать так: в русской культуре есть Высоцкий — и значит, наше положение далеко не безнадежно.

8. А также... Несколько слов о «фильтрах внимания»

Поставим многоточие в нашем обзоре.

Очевидно, не упомянуто многое. Я не затрагивал круг церковно-православной культуры, дабы не говорить тривиальности и не вызывать неизбежные эмоции с какой-либо стороны. Не затрагиваю и огромное наследие русского христианства вне канонического православия: от старообрядцев до баптистов и лютеран, до различных исканий в духе «православного протестантизма», которые вряд ли оформятся во что-то определенное, но несомненно будут продолжаться⁴⁸. (Во всяком случае, христианская Россия явно не будет гладко-православной страной.)

Далее из неупомянутого, навскидку.

...Мир русской философии, разорванный на несколько очень разных эпох и лишь ожидающий как целостного прочтения, так и осознания в самых разных контекстах.

...То, что привыкли именовать «фольклором и этнографией», а теперь чаще называют «исследованиями русской народной культуры»: не столько поиск артефактов, сколько их осмысление и трактовка; связь символики, обрядов, методов ведения хозяйства с актуальными и сегодня правилами отношений с природой, методами самоорганизации, построения деловой жизни и т.д. Этнографический «архаико-модернизм» все чаще обнаруживает себя не в музейных, а в проектных жанрах.

...Эстетика яркой многоликости: от субкультуры ярмарки до «московского барокко» — неразрывная антитеза той русской народной культуры, где (как мало в каких других культурах) под легким налетом удалства и молодечества изобилует заунывное, печальное, отчаянное.

...Традиции русского офицерства, глубокие, уникальные, драматичные, не так уж ощутимые за пределами офицерской среды и отнюдь не служащие простым приложением к имперской машине.

...Традиция интенсивного ученичества, внезапного «вытаскивания себя за волосы из болота», многократный опыт фантастически быстрого становления из хаоса и разрухи⁴⁹.

...Историческая практика интуитивной пространственной организации — свободной живописной панорамы, пейзажных ансамблей допетровских русских городов; за этой панорамностью просвечивает феномен образования русского народа как народа рек: двигавшегося по рекам и обживавшего речные долины; народа, чей глаз настроен на речные окоемы⁵⁰.

Каждый может дополнить список тем, что было мной забыто.

Мы видим, что только поспорить за первенство способны два десятка традиций. Но речь не о конкуренции, не о выборе чего-то оптимального, а об умении быть причастным разным традициям своего народа, понимать тех, для кого смысловые акценты расставлены иначе, пользоваться несколькими культурными «фильтрами внимания», осмысленно комбинируя их.

Увы, лишь два с половиной *фильтра внимания* постоянно в ходу в России по отношению к любым событиям: литературный, военно-патриотический — да еще, пожалуй, фильтр «стеба», злобной или горькой иронии надо всем и вся, используемый как эрзац-утешение. Каждый сресся со своим.

На этих культурных инстинктах далеко не уехать.

Пора отдирать прежние фильтры от глаз, перестать ощущать себя заложниками надрывно создаваемой истории.

Разрабатывать же любую культурную или общественную стратегию оправдано с использованием хотя бы нескольких «фильтров», с опорой на сочетание нескольких традиций.

Глава IV. Другие культурные основы — другие общественные стратегии

*«А мы все ставим каверзный ответ
И не находим нужного вопроса»*

Эти две строки Высоцкого часто смотрятся подходящим эпитафием к нашей жизни. Дальнейшие тезисы сформулированы вроде бы утвердительно — но это не ответы, а скорее проблематика тех вопросов, к которым пора подбирать решения. Они не произвольны, а подсказаны тем русским культурным наследием, которое мы с вами вспоминали.

Подобных смысловых нитей должно быть достаточно много, чтобы начинать создавать ткань обнадеживающих и относительно рациональных образов российского будущего. Рациональных не только в смысле логичных и посильных, но и возможных в качестве предмета широкого согласия, предмета договоренностей между людьми, которые мыслят очень по-разному.

Попробуем взглянуть дальше событий ближайших лет, когда заведомо будет много дурного и мало осмысленного. Начнем намечать дальний горизонт, который важно удерживать взглядом уже сейчас, чтобы сохранить прямую осанку, веру в оправданность усилий, не пропускать те моменты, когда можно отталкиваться от наклонных плоскостей, не только отбиваться от обстоятельств, но и последовательно добиваться чего-то.

Сюжет первый. Домой

...У нас теперь вроде бы даже гранты выдают для финансирования исследований на тему «Пути России». Хотя почему-то никому не приходит в голову размышлять о «Путях Франции», «Лыжне Норвегии», «Трассах Бразилии» или «Хайвеях Китая», а с осмысленным развитием у этих стран получается заметно лучше.

Мне же чаще слышится другой напев, эмигрантская строчка: «...Вернуться в дом Россия ищет троп».

Едва ли не большинство населения страны ощущает себя словно в парадоксальной эмиграции, изгнанной из дома на какие-то «пути», наблюдает происходящее словно бы через стекло застрявшего в тупике вагона. Пора возвращаться. Уходить с большой дороги и сворачивать к дому.

Ориентиры образования: многоликие и поисковые.

Уже не будут срабатывать никакие «золотые списки из 100 главных

произведений, обязательных к изучению» и тому подобное (как бы государство их ни сочиняло и ни продавливало). Будет востребовано иное: множество разных входов в пространство русской культуры. Наряду с вариативностью возможных встреч с русским культурным наследием, важен и поисковый, исследовательский их характер. Такой ход дела по-настоящему сможет помочь и восстановлению связности и актуальности самой национальной культуры.

Ведь открытость культуры — мера ее жизнеспособности.

Залог взаимопонимания людей, встречавшихся с разным, научившихся разному, не в усвоении всеми одного «золотого списка», а в том, что разные стороны русской культуры переплетены между собой; тот, кто углубился в одни ее аспекты, найдет точки соприкосновения с теми, кто воспитывался на других ее сторонах.

Почему-то одни и те же люди требуют списков обязательных к изучению произведений (а то ужас как все погибнет!) и цитировать Тютчева про «умом не понять... в Россию надо просто верить».

Как раз тот самый случай, когда надо просто поверить.

Не страна дедов, а страна детей.

Про прошлое мы уже не договоримся (по крайней мере, как представители нынешних поколений). Многим из нас никогда не договориться и про общие ценности, пределы допустимого и запретного и т.д.

Но мы можем договариваться о делах наглядных, значение которых понятно всем: обсуждая Россию как страну, обращенную к детям. Как детям рядом с нами живется? На что они могут надеяться? Какой дом, город, область, страну мы им оставим?

Не «страна дедов», а страна детей и внуков. На это сложно переключаться, но самое время.

Вот — страна «от дома до работы», страна «где пьют и зарабатывают», «пашут и отрываются», где что-то истерично чтят и нечто настойчиво ниспровергают.

А вот — страна, уютная для детей, удобная для семейной жизни и воодушевляющая возможностями состояться в завтрашнем дне.

Каждый может оценить меру необходимых усилий для смены пейзажа.

Страна взрослых.

Но страна для детей — это обязательно и страна взрослых. Тех, кто ответственно укрепляет общий с детьми житейский мир и демонстрирует образ «достойной взрослости».

Пока же детей в России окружает подростковый мир старших поколений: подростковый максимализм, утопизм, страсть к фэнтэзи, жажда простых решений, пафос «своих-чужих» и пр. Минимум чьей-либо ответственности и «кроме мордобитиев, никаких чудес».

«Высокая словесность» здесь помогает плохо. Классическая русская литература — культура мятежной юности, скорее романтическая по своему настрою (как, впрочем, и большинство европейских литератур Нового времени), культура высоких рискованных ставок и малой ценности еще не сложившейся жизни (не говоря уже о жизнях чужих).

Но даже до этой юношеской культуры общество сильно не дотягивает, всячески лелея в себе инфантильность семиклассника.

Приходит пора взрослеть. Всех этих заполонивших общественное пространство пенсионеров с подростковыми комплексами, старух Шапокляк, грезящих мелкими пакостями, всяких юношей бледных со взором горящим — задвигать в подобающие им цирки и богадельни. Потребуется упорно создавать, разворачивать такое общественное пространство, в котором разговаривают взрослые люди о взрослых вещах.

Или, изображая вечный подростковый бунт, стареющее российское общество продолжит заваливаться в старческий маразм — или все-таки соберется с умом и начнет демонстрировать черты зрелости.

Человек у себя на родине.

Именно так: на родине с маленькой буквы. Не вообще в державе, а в *своей стране* — тех масштабов, которые человеку близки по складу биографии. Где он находит то, что для него лично дорого.

Вряд ли имеет хоть какую-то ценность нынешнее «патриотическое воспитание» — как надежда вселить рвение отдавать жизнь за начальство; куда нужнее воспитание людей, умеющих жить у себя на родине и намеренных сделать ее более достойной для жизни. А самих себя чувствовать в связи с этим достойными людьми.

Следом за обустройством своего дома приходит черед для восстановления общественного пространства вокруг, для взаимопонимания и самоуправления — вещей, так трудно пока приживающихся даже в головах.

Экономика согласия: домашнее измерение.

У многих на слуху сочетание слов «устойчивое развитие»; оно интуитивно воспринимается как незатейливый принцип сохранения имеющегося и добавления к нему новых достижений.

Но понятие это куда менее тривиально; оно складывалось в ходе множества международных научных диалогов и опирается на обширный опыт радикальных социально-экономических перемен.

«Устойчивым развитием» обозначили задачу перехода от общества-завода, общества, мыслящего в логике «производство — потребление», к обществу, «живущему в своем доме» и о своем доме заботящемуся. Оно запускается движением не «вперед», а «вглубь и вширь» — не консервируя, а радикально преобразуя фундаментальные основы жизненного стиля.

«Устойчивое развитие» понимается как принцип отношения к жизни, основанный на открытии возможностей развития для каждого (причем не столько «равных» возможностей, сколько вариативных, почти индивидуальных). При этом резко меняются и структуры производства, и отношения местных сообществ к экономике, образованию, пространству жизни. И — главное — резко расширяется круг лиц, чувствующих ответственность за то, что происходит рядом с ними.

Так, понятию экономики возвращается его изначальный, еще античный смысл: от науки о зарабатывании денег она «переосмысливается обратно» как культура обустройства «домашнего» пространства (и в малых, и в очень больших масштабах).

Для нас речь идет не о выборе экономической стратегии, а о возможном принципе оценивания любых стратегий; способе выбирать меру их «социальности», «консервативности», «либеральности» и т.п.

Мы ведь убедились, что доллары-то сами по себе не помогут. Прошедшие годы относительного финансового изобилия оставляют страну еще более изуродованной, чем она была до нефтеденежных дождей.

Не пора ли видеть в экономических моделях не идеологии и знамена, а инструменты? Которые больше или меньше способны помочь в обустройстве дома.

Сюжет второй. Паритеты и договоры

Демократия как практика жизни.

Россия никогда не жила при демократии, но уже успела выработать к этому слову устойчивую аллергическую реакцию.

Увы, другого слова не будет. Речь ведь не про власть большинства над меньшинством (или наоборот) — а про умение решать возникающие проблемы методом диалога, выяснения интересов друг друга и достижения согласия.

Нам доступны три способа решения проблем: договариваться между собой, подчиняться тому, кто «круче», или тихо ждать, что все разрешится как-то так, без нашего участия.

Приверженность первому способу и означает демократию.

Не будем предаваться иллюзиям. Никакой великой демократической России мы при жизни не увидим. Но добиваться паритета бюрократических сил и демократических практик, административной жестокости и человечности, безразличия к людям и уважения к ним — можно и должно.

Конечно, и без того слаборазвитые демократические традиции в стране сегодня задавлены тотальным триумфом административного аппарата. Но даже когда давление ослабнет — сможем ли мы этим воспользоваться? Чтобы потом добиваться хотя бы переменных успехов по существенным поводам, нужна заранее разработанная мускулатура.

Каркас вместо пирамиды.

Разброд и шатание — или вертикаль власти. Уход от этой дилеммы выглядит необходимым условием выживания для страны. Нужно что-то прочное, но гибкое, сильное, но внимательное, разнородное, но равноправное.

Каркасная структура вместо пирамиды.

Сверху ничего в России уже не улучшить. Страна доцентрализовалась до той степени маразма, что государственный аппарат, похоже, способен ныне только распределять и разрушать (ну, и в меру сил над кем поиздеваться).

В «низовой» порыв самоорганизации инертных масс населения (или их внезапное просвещение) тоже не чересчур верится. А про совсем жалкую нынешнюю «элиту» даже вспоминать как-то совестно.

Диктатура сверху, жажда ее повалить, инертность «электората» или его ожидаемый повсеместный бунт — все это внешняя обстановка, дополнительные условия задачи, но не те данные, которые помогут решению.

Решения смогут обнаруживаться на среднем уровне. В «узлах» возможного

горизонтального каркаса — среди широкого круга людей, привыкших брать на себя ответственность.

Понятно, что никакая полнота власти им не достанется; что все это будет не вместо, а вместе: и действующие круги ответственных людей, и ржавые иерархии, и эмоционально манипулируемые толпы, всегда готовые качаться от «ура» к «долой» и к «дайте мне»⁵¹.

Потому нагрузка на «людей каркаса» будет тройная: поиск друг друга, налаживание сотрудничества, общие усилия по решению сверхсложных проблем — только одна часть забот. Но еще и блокирование негатива, идущего с централизованных верхов, минимизация сваливающихся оттуда бед, отвоевывание фактических полномочий (часть вторая). И третья часть: культивирование практик поддержки для представителей аморфного населения, для тех, кто еще далек от самостоятельности и ответственности.

Возрождение федерации.

России это слово досталось нечаянно, по советскому наследию. После стихийной федерализации-феодализации 1990-х все свернулось обратно, в сверхцентрализованную «недоимперию».

Теперь федерацию потребуются создавать уже осмысленно — и не с нуля, а с отрицательных величин.

Из редко вспоминаемых тривиальностей: федерация — это союз самобытных стран; государство, состоящее из совокупности меньших государств, каждое из которых способно к самостоятельности.

Даже если отбросить проблемы борьбы за власть и полномочия — большая часть административно нарезанных российских областей мало напоминает хотя бы претензию на какую-то цельность и самостоятельность.

Превращение российского государства в федеративное — задача столь же непростая, сколь и необходимая к разрешению.

Но ее решение — это и наш шанс на здравый компромисс между приватизаторами централизованной «вертикали» и теми людьми, которые что-то могут менять в стране к лучшему.

Компромисс можно формулировать хоть бы и так: вам «недоимперия» без демократии⁵², а людям — их автономные внутрироссийские государства. И если верхний уровень российской державы почти неизбежно останется диким, циничным и как бы «имперским», то за адекватность, демократичность и вменяемость базового уровня государственности вполне можно побороться.

Когда-то «опричнину» отделяли от «земщины»; теперь пора бы поступить наоборот: отделить «земщину» от «опричнины» и убедить последнюю в земские дела не соваться.

Фанфарами, танками, доходами и знаменами «великой державности» при этом можно восхищаться или ужасаться ими; но надо добиться, чтобы центральная власть знала свое место и не зарилась на чужое.

Место на карте и стрелки на компасе.

Россия убедительно показала, что европейской страной не является; иначе с ней вряд ли случилось бы то, что случилось. Но столь же трудно не заметить, как бодро взятый «антизападный» курс тянет государство к вероятному краху в обозримой перспективе.

Придется отказываться от привычки путать связность и принадлежность. Канада, Аргентина, Южная Корея — отнюдь не европейские страны. Но отчего-то там никому не приходит в голову с пеной у рта доказывать свою неевропейскость и культивировать ненависть к Европе. Скорее наоборот⁵³. (Вот у Зимбабве действительно подход ближе к нашему.)

Если же разворачивать страну больше на восток, чем на запад (что, возможно, правильно), то вряд ли получится сделать это без европейцев. Быть владельцами широкого европейского выхода к Тихому океану заметно перспективней, чем служить представительством Северной Кореи на Балтике. Да и удержать безлюдный Дальний Восток с опорой на европейские проекты куда больше шансов, чем без оных.

И еще одно географическое замечание. Быть может, вместо привычных ожиданий «ветра свободы» с Запада, мистических или геополитических откровений с Востока нам стоит повернуться на девяносто градусов?

Россия лишь в какой-то мере — Запад, в какой-то — Восток, но вот Север — по полной программе.

А у людей Севера есть много актуальных для нас привычек. Север — это умение всюду успевать, никуда не торопясь. Это привычка к вдумчивости и внимательности. Это память о необходимости согласия и сотрудничества (ведь, враждуя, на Севере долго не проживешь; да и в одиночестве долго не протянешь). Это и образ мира без тесноты и границ.

Быть может, поумерив не так уж свойственный нам южный темперамент, на том и подводить географические выводы?

Сюжет третий. Страна многих обликов и возможностей

Россия — страна бесконечно разнообразная, Россия — страна возможностей. Как-то так?

Или напротив: Россия — страна однотипных городских районов, схоже вымирающих деревень, единообразных чиновных кабинетов и инстинктов, унылолицых блюстителей закона, шаблонных моделей поведения, стандартных жилплощадей и дачных участков; страна, где всех держит прописка, где ни у кого нет денег никуда доехать (да и некуда ехать, кроме как к родственникам раз в пять лет), где все проселки давно заросли, а самолеты летают только в Москву, где в «социальных лифтах» электричество отключено за недоплату, где активные люди — явно бельмо на глазу для окружающих; Россия — страна безнадёги?

Страну возможностей, страну многообразия не создать простой поддержкой разных местных «самобытностей». Страна засветится, когда в каждом обжитом месте будут пульсировать, соединяться, обновляться различные культурные традиции, а перед каждым жителем будут открыты деловые, культурные и образовательные сообщества из многих мест.

Карта «страны возможностей» выглядит не разделенной на разноцветные лоскуты, а переплетенной разноцветными нитями. Чтобы они проступили на этой карте, грамотная разведка и эффективное использование культурных ресурсов становятся значительно важнее выкачивания ресурсов нефтяных.

* * *

...В стране нарастает холодная гражданская война, как фронты пройдут — еще непредсказуемо. На границах бьется война подлая и вполне горячая. Мир еще только начинает свыкаться с мрачным образом России, и даже если российская политика притормозит в своем безумии, еще многие годы отношение к нам будет только ухудшаться.

Хотя уже сейчас мало найдется стран, где бы у людей было так плохо с доверием друг к другу и к самим себе. Как повернуть на полувоенном фоне от инстинктов взаимоуничтожения — к уважению человеческого достоинства, к непривычному налаживанию практик взаимопомощи? Достойный образ возможной завтрашней России — это ведь и более достойный образ самих себя уже сегодня.

Россия выходит из эпохи постмодерна и, соответственно, из элитарно-китчевого, высокомерно-вульгарного отношения к жизни.

Людям вновь придется отвечать на жизненные вопросы до боли всерьез.

Хорошо бы научиться отвечать на них в согласии с голосом совести, с ощущением умных усилий, с радостью от успешной помощи друг другу.

Кому-то в этой связи может пригодиться некоторое обновление культурных ориентиров — о чем мы и беседовали в данной статье.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В качестве примера локального, но выразительного можно еще вспомнить целый раздел искусства, закрепившийся на культурной авансцене по большому счету усилиями одного человека. Техника палехской и федоскинской миниатюры когда-то возникла как отрасль иконописного искусства и казалась почти обреченной на гибель; но благодаря великому искусствоведу А.В.Бакушинскому в советское время она умудрилась стать одним из символов русского художественного творчества.

² Более того, привычно, что именно государство географически и социально очерчивает биографию деятеля русской культуры, придает форму его судьбе. Произвол власти — словно неизбежный и непредсказуемый «спарринг-партнер» для судьбы человека в «культурной России».

³ Белоруссия, заметим, и легкого экзотизма не удостоилась.

⁴ Обратим внимание, что творчество Бажова и Писахова запросто могло вовсе не случиться или остаться незамеченным; да и сейчас оно воспринимается по преимуществу «экзотикой».

⁵ Заметим для себя: не в малой мере это случилось и благодаря совершенно особому положению Льва Николаевича в ряду русских писателей — имперскость и литературоцентричность ему-то как раз были чужды до отвращения, а близки многие из тех «скрытых» аспектов русской культуры, о которых пойдет речь далее.

⁶ Конечно, типизация — одно из свойств любой культуры; но в большинстве случаев оно уравнивается другим культурным вектором: любовной внимательностью к особенному, уважением к уникальности судеб и событий, культивированием ожидания «умной встречи» с непредсказуемым. В русской «высокой» культуре соотношение сил на этих полюсах весьма неравновесно.

⁷ Одним из последствий стала инфантилизация гуманитарного образования. За пределами псевдомарксистской риторики советское гуманитарное образование в огромной мере было обращено к области русской литературы и литературно воспринимаемой истории. Инерция сохранилась. Инерция количественная: в стране тысячи дипломированных исследователей поэзии Цветаевой и Ахматовой, но ничтожно мало адекватных специалистов по рациональному выбору общественных стратегий, социально-экономическому анализу и проектированию,

социокультурной экспертизе и т.д. Инерция качественная: общая привычка к тому, что гуманитарное образование — это не о готовности искать и находить умные решения для многих острейших проблем, а приятное времяпрепровождение, самоценная «игра в бисер», приправленная вольными разговорами на свободные темы.

⁸ А вышла из нее, по всей видимости, на рубеже 1980-х годов — со смертью Высоцкого и началом расцвета рок-культуры — когда сама молодая поэзия ушла в мир рок-музыки, принципиально синкретичный.

⁹ Заметим, кстати, что русская архитектура и живопись, гуманитарная и научная мысль, да и многие другие стороны национальной культуры подобной закомплексованностью и «роковой обреченностью» взглядов на исторический процесс отнюдь не страдали и не страдают.

¹⁰ Мы так привыкли к пушкинскому «Я не ропщу о том, что отказали боги / Мне в сладкой участи оспоривать налоги / Или мешать царям друг с другом воевать... Иные, лучшие мне дороги права» и пр., что вряд ли вспоминаем о том, что именно ближайшие старшие товарищи поэта сочиняли «Опыты теории налогов», жарко обсуждали темы военно-политической стратегии и как раз свое собственное общество (а не царский двор и не крепостное крестьянство) почитали и ведущей сознательной частью народа, и ядром русской политической нации.

¹¹ «Победителей и оправданье тиража», — по известному выражению Пастернака о Маяковском.

¹² Потому и образ мира русской высокой культуры — не столько содружество сильных талантов, сколько свита вокруг гениев. Для честолюбивого среднеталантливового человека перспективнее не воплощать творческое призвание у себя на родине, а, воспользовавшись своим дарованием в качестве «разового взноса», сделать скачок наверх и пробиться в «свиту».

¹³ Это не самая значительная его должность, но все-таки самая драгоценная для русской культуры. Полковник в войнах екатерининской эпохи, управляющий Монетным двором на рубеже веков, первый помощник Сперанского, а после 1814-го двенадцать лет «исполняющий должность государственного секретаря» империи. Между делом — президент Академии художеств, археолог, археограф и рисовальщик. Миротворческий объединитель «карамзинистов» и «шишковистов» в своем салоне, покровитель Крылова и Гнедича, «которых приютил и приручил в библиотеке». Создатель русской эпиграфики — «науки о надписях» и признанный лидер в своеобразном направлении — «правилах медальерного искусства». Впрочем, в сносках не место для подробных биографий, а о роли Оленина в русской культуре — долгая история.

¹⁴ Николай Полевой — пример уже скорее трагической, чем гармоничной судьбы. Его «Московский телеграф» («каждая книжка его была животрепещущей новостью») соединял проповедь литературного романтизма с новинками европейской техники, философии и политэкономии; впервые вопросы культуры, образования, техники, промышленности, экономики рассматривались рядом друг с другом и в тесной связи. Купеческий сын, вынужденный всю жизнь биться за хлеб насущный, он попытался опереться на ориентиры и интересы образованного «среднего сословия». Он взялся создавать культурные основы для сближения и согласия разных сословий, просвещения и политики, технической мысли и художественной — в стремлении сделать своих читателей современниками европейского XIX века. В едва ли не безнадежной ситуации он умудрился продержаться почти десятилетие между прессом бюрократического николаевского государства и презирающим плебеев дворянским обществом.

О Н.А.Полевом не так давно вышла книга Самуила Лурье «Изломанный аршин» (СПб, 2012) — одна из замечательных «ласточек» радикального переосмысления картины культурного прошлого. Книга, в которой не жизнь пушкинского современника оттеняет жизнь поэта, а, напротив, судьба Пушкина выступает фоном для биографии его выдающегося ровесника. И сравнение их общественных и моральных позиций неожиданно оказывается отнюдь не выигрышным для Александра Сергеевича.

¹⁵ В.Ф.Одоевский отдельно известен как писатель, отдельно — как музыковед, отдельно — как организатор литературного салона, отдельно — как философ и естествоиспытатель, отдельно — как ответственный государственный чиновник. А еще — как директор Румянцевского музея, соучредитель Географического общества и основоположник отечественной фантастики. Все это редко осмысливается вместе. Еще менее знаменита его центральная роль в истории русской педагогики на протяжении двух десятилетий: между эпохой «Педагогического журнала» в начале 1830-х и расцветом деятельности Пирогова и Ушинского в 1850-х. Хозяин главного салона литературной аристократии (наследников «пушкинской партии»), он

становится и главным народным просветителем, ведущим писателем и издателем массовых популярных книг для крестьянского и детского чтения.

¹⁶ Личность К.Д.Кавелина, одна из масштабнейших в XIX веке и ключевых в ходе «великих реформ», оказалась равно неудобной для идеологии почти всех партий. Кавелина с безразличием упоминают между делом то в одном, то в другом ряду под стандартными ярлычками; его привычно записывают то в число «западников», то в ряды «идеалистов» и «позитивистов» (причем одновременно — уникальный случай). Но вот примеры нескольких его мировоззренческих позиций, столь же актуальных сегодня, как и полтора столетия назад:

Рассмотрение в качестве ближайшей исторической задачи народа *формирование личного способа жизни*: «как Россия, вбирая необходимые условия из своего прошлого и имея перед собой опыт других стран, найдет свой — русский — путь к личности».

Убежденность, что «психическое, юридическое и нравственное ничтожество личности в России» может быть прекращено только через согласование гражданских форм жизни с семейными, общинными и государственными.

Примирительный отказ от тупикового конфликта западников и славянофилов через постановку приоритетной задачи изучения России, «реальных явлений в жизни русской земли, русского народа, прошлой и настоящей, без всякой предпосылки».

Организация массовой работы по изучению России и русского народа (среди реализованных идей — разосланные и заполненные самими жителями в разных уголках страны формы описаний местности, в которой они проживают).

Его наиболее значительные книги — «Задачи психологии», «Задачи этики» и «О задачах искусства» — предложили продуманные основания для обширной и по существу доселе не воплощенной программы гуманитарных исследований. В совокупности своих трудов Кавелин впервые развернул систему представлений о том, что позднее назовут «культурно-исторической психологией». (Подробнее об этом см., напр., *Шевцов А.А.* Введение в общую культурно-историческую психологию. — СПб., 2000).

¹⁷ Напр., из «Письма к Достоевскому» К.Д.Кавелина (Вестник Европы, 1880, №11): «Не могу я признать хранителем христианской правды простой народ, внушающий мне полное участие, сочувствие и сострадание в горькой доле, которую он несет, — потому что, как только человеку из простого народа удастся выпарапаться из нужды и нажить денегу, он тотчас же превращается в кулака... Бойкие, смысленные, оборотливые почти всегда нравственности сомнительной. Теперь взгляните пристальнее в типы простых русских людей, которые нас так подкупают и действительно прекрасны: ведь это нравственная красота младенчающего народа! Первою их добродетелью считается, совершенно по-восточному, устранившись от зла и соблазна, по возможности ни во что не мешаться, не участвовать ни в каких общественных делах... Мы бежим от жизни и ее напастей, предпочитая оставаться верными нравственному идеалу во всей его полноте и не имея потребности или не умея водворить его, хотя отчасти, в окружающей действительности, исподволь, продолжительным, выдержанным, упорным трудом... Что важнее, что должно быть поставлено на первый план: личное ли нравственное совершенствование или выработка и совершенствование тех условий, посреди которых человек живет в обществе? ...Оба решения вопроса и верны, и неверны: они верны, дополняя друг друга; они неверны, если их противопоставлять друг другу».

¹⁸ По выражению того же К.Д.Кавелина.

¹⁹ Во многом именно А.Н.Оленина можно считать основателем правильной организации библиотечного дела в России; с легкой руки Н.А.Полевого в России появилось само понятие «журналист» и само представление о том, каким должно быть дело главного редактора. В.Ф.Одоевский — организатор системы работы в детских приютах и детских больницах, создатель одной из первых выстроенных систем педагогических методик и руководств (и уж заодно — законодатель отечественного музыковедения); Кавелин — один из главных деятелей реформ Александра II и т.д.

²⁰ Если продолжать метафору, то главные «силовые линии» «горизонтальной культуры» проходят не по вершинам, а по перевалам. От таких точек отсчета открыт и путь вверх — к вершинам гениальных произведений, и спуск вниз, «в долины», но только не к литературным эпигонам, а к многосложному ходу культурной жизни в разных уголках и областях страны.

²¹ См. книги *Иванова А.В.*: Message-Чусовая. — СПб., 2007; Хребет России. — СПб., 2010; Горнозаводская цивилизация. — М., 2013; е-бург. Город храбрых. — М., 2014.

²² *Салимов И.Х.* Среднее Поволжье. Книга для чтения по краеведению. — М., 1994.

²³ Вот еще несколько строк из книги: «...Следует ли воспринимать региональное сознание как нечто, данное нам изначально? Конечно, нет. Как человек воспитывается всю жизнь, точно так же происходит становление местностей. Народы не только заселяют местность, но из поколения в поколение происходит выработка местного самосознания. И в зависимости от давности заселения, от конкретных условий этот процесс в разных местах находится на разных стадиях.

...Итак, в России очень немного местностей среднего звена — краев. Можно сказать, что в настоящее время идет их становление. В этой связи Среднее Поволжье представляется очень интересным примером выработки самосознания, где наряду с уже устоявшимися традициями, представленными в основном коренным населением, происходит становление нового регионального сознания. С ростом местного самосознания укрепляется и сам край, т.е. от осознанности края во многом зависит его будущее.

...Будущее края должно быть таким, каким он сам себе его задумывает. Поэтому речь скорее должна идти не об экологии человеческого обитания, а об экологии мысли. Это возможно только тогда, когда мысль, освободившись от чуждой среды, поселится в ландшафте и из мысли о ландшафте превратится в замысел самого ландшафта».

²⁴ За то себя и уважают, как известный волк из детского мультфильма.

²⁵ В которую могут войти и книги таких «писателей земли башкирской», как Аксаковы, и знание календаря башкирских праздников, и чуткость к особенностям татарской речи, и представление об обычаях марийских и чувашских деревень и т.д.

²⁶ Потому не менее значим и мысленный диалог с теми народами, что участвуют в нем из глубины времен; идет ли речь о древних вотяках и пермяках Урала или о тех, кто изгнан/истреблен уже в XX веке: как финны в Ленинградской области, евреи в Невеле и прочих городках вдоль черты оседлости, немцы на Саратовском левобережье и т.д.

²⁷ К чему заводи́ли такие проекты на свой страх и риск волевым начальникам, умным, обеспеченным, отлично встроенным в партийную систему, кроме надежды на добрую память потомков? В 1973 году в своем дневнике Г.В.Мясников формулировал так: «Мое устремление: 1) сделать Пензу интересным городом, пробудить у жителей настоящую любовь к нему. Но одними лозунгами сделать это сложно, нужна материальная основа. Надо иметь то, чем гордиться. 2) В ходе революции ни один народ не растерял традиций столько, сколько русский народ. Поэтому основная направленность "интересных"строек — это возрождение национального достоинства русского человека».

²⁸ «Бекетовскими» они не стали зваться лишь потому, что коллега Андрея Николаевича, профессор К.Н.Бестужев-Рюмин, вызывал большее административное доверие.

²⁹ Ведь патриотическая версия вынуждена была прицениваться: к степени «русскости» фамилий, нюансам подданства, мере зависимости от иностранных исследований и наставников (не дай бог оказаться кому должным!), «идейности» и понятности для современной власти и т.д. и т.п. — в результате от истории национальной науки оставалась лишь малая часть, загнанная в прокрустово ложе пафосных «героических» биографий.

³⁰ А трое сыновей Эйлера — генерал, врач и ученый-физик — с юности привыкли считать себя российскими подданными.

³¹ Яснов М.Д. Путешествие в чудетство. Книга о детях, детской поэзии и детских поэтах. — СПб., 2014.

³² Вот пример формулировки: «Вобравшая в себя обломки, осколки и целые конструкции мифа древности, обогатившаяся многовековым опытом развития (сначала — фольклорного, затем — литературного), сказка в чтении нынешних детей стала чем-то вроде «возрастного мифа» — передатчиком исходных норм и установлений национальной культуры. Сказка превращает дитя семьи — этого папы и этой мамы — в дитя культуры, дитя народа, дитя человечества. В «человека социального», по современной терминологии». (Петровский М.С. Книги нашего детства. — М., 1986.)

³³ Из комментариев крупнейшего исследователя детской литературы Мирона Семеновича Петровского: «...Сказки Чуковского представляют собой перевод на «детский» язык великих традиций русской поэзии от Пушкина до наших дней. Они словно бы «популяризируют» эту традицию — и в перевоплощенном виде возвращают ее народу... осуществляя экспериментальный синтез этой высокой традиции — с традицией низовой и фольклорной... Великое искусство, понятное всем, было его идеалом, от которого он никогда не отступался...»

³⁴ По замечанию М.Д.Яснова: «Детская субкультура всегда отличалась тем, что в ней

«оседали» уже отработанные во взрослой культуре обычаи и представления. В XIX веке детская поэзия шла вослед взрослой; но в XX столетии ее место резко изменилось... разного рода запреты начали вытеснять в детскую литературу таланты, лишенные возможности реализоваться во взрослом обществе, но стремящиеся сохранить свою индивидуальность и присутствие в культуре (нечто подобное происходило в советском художественном переводе).

³⁵ Петровский М.С. Книги нашего детства. — М., 1986.

³⁶ «Детская поэзия — это воспитание сострадания, сочувствия и умения эстетически воспринимать жизнь, — формулирует М.Д.Яснов, добавляя, — одно из предназначений поэзии для детей — раскрепощать читателя в отношении с языком, то есть с миром». (Яснов М.Д. Путешествие в чуждество. Книга о детях, детской поэзии и детских поэтах. — СПб., 2014.)

³⁷ Вообще мультипликационная традиция едва ли уступает здесь по масштабности литературной и сохраняет свое величие до наших дней: вплоть до «ожившей живописи» фильмов Александра Петрова, до замечательнейшего проекта «Колыбельные мира»; до тех же «Смешариков» (всем привычных и поставленных на поток, но не менее от того достойных признания).

³⁸ Только для ясности придется условно разделить два понятия. Назовем одно *историей образовательной регламентации*: нормирования правил обучения, бюджетов, физического устройства школ и вузов, селекции учащихся и учителей, формальных требований к ним, административных утопий и пр. А *историей педагогической культуры* другое: историю осмысления, изобретения, становления грамотных, человекообразных форм передачи опыта жизни от взрослых к детям, практик достойного общения между людьми разных поколений. Педагогическая культура в чем-то воспроизводит себя из века в век, в чем-то узнаваемо обновляется, в чем-то вдруг оказывается совсем новой и неожиданной. Она распространяется в отечественном социальном пространстве рывками, прорывами, всплесками; вновь и вновь подавляется очередным торжеством бюрократического насилия при относительном равнодушии населения. Возможно, отсюда и нигилизм по ее поводу: мало какая культура так искорежена, искажена в социальной жизни; чтобы увидеть нечто настоящее, требуется усилием разбираться, добираться до нее.

³⁹ Умозрительная схема — силовое внедрение — наказание неисполнительных — частичный результат, достигнутый нежданно-дорогой ценой — обживание получившегося социального уродца: в политике такой жанр работы доминирует. Но когда подобная стратегия реализуется во всех сферах по любым возможным жизненным поводам...

⁴⁰ А после того, как условия созданы, зачастую никаких дополнительных планов, распоряжений и усилий может и не потребоваться.

⁴¹ Бабушкина Т.В. Что хранится в карманах детства. — СПб., 2013. См. далее: «...В своей жизни мы каждый раз искали тот язык, ту роль ребенка, ту ситуацию, ту декорацию (в широком смысле этого слова), то произведение, через которое ребенок сможет проклюнуть скорлупу и зайти в эту бесконечность культуры. Для разных людей это может происходить в очень разных точках, иногда по поводу самых странных произведений. Когда происходит это глубокое прочувствование хотя бы чего-то одного, то человек уже как бы сам становится своим проводником, начинает душевно грамотно осматриваться и двигаться в культурном пространстве — поскольку все становится целостно».

⁴² Насколько странен даже столь привычный для нас жанр дачи-убежища — где-нибудь на огромных осушенных болотах, расчерченных квадратно-гнездовым способом на сотни одинаковых участков. Жажда хоть какого-то личного пространства и подобия семейного труда собирает летом миллионы людей в эти перенаселенные дачные города, где до ближайшего не засыпанного мусором леса иногда приходится шагать километры. Причем росли эти дачные города одновременно с вымиранием в живописнейших местах множества русских исторических деревень. Последующие дворцы российских нуворишей чаще всего выглядят воплощением все той же бездомной мечты о даче-убежище, но только раздутой до тех масштабов, на какие денег хватало.

⁴³ Напр., у И.В.Киреевского: «Не природные какие-нибудь преимущества словенского племени заставляют нас надеяться на будущее его процветание, нет!.. Русский быт и эта прежняя, в нем отзывающаяся, жизнь России драгоценны для нас, особенно по тем следам, которые оставили на них чистые христианские начала»; «...Сама философия есть не что иное, как переходное движение разума человеческого из области веры в область многообразного приложения мысли бытовой».

⁴⁴ Это наглядно заметно на фоне Украины, где культурный мир крестьянства все-таки выжил и во многом продолжает задавать тон в общенациональном диалоге. Сохранность крестьянской культуры мы обнаружим и у многих российских народов. У русских, изничтожающих сейчас последние сельские школы, дело обстоит едва ли не хуже всех; культура русского крестьянского хозяйствования едва держится в сельском пространстве обрывками, ошметками на фоне антикультуры лесорубовских поселков, индустриального типа сельхозпредприятий и затухающих деревень с последними пенсионерами.

⁴⁵ Можно вспомнить и обстоятельный «Лад» Василия Белова, и поразительные крестьяноведческие исследования Теодора Шанина, и восстановления памяти о том удивительном слое русской интеллигенции столетней давности, которая была тесно связана с крестьянством и умела мыслить одновременно и научными, и общественно-хозяйственными, и крестьянскими категориями. К примеру, наследие таких выдающихся представителей «крестьянствующих ученых», как А.В.Чаянов и А.В.Советов, Ф.И.Гиренок раскрывает в качестве одной из наиболее значимых традиций оригинальной русской философии (в книге «Патология русского ума. Картография дословности». — М., 1998).

⁴⁶ Знаменитая цитата из «Жизни и судьбы» Леонида Гроссмана: «...Чехов ввел в наше сознание всю громаду России, все ее классы, сословия, возрасты. Но мало того! Он ввел эти миллионы как демократ, понимаете ли вы, русский демократ! Он сказал, как никто до него не сказал: все мы прежде всего люди, понимаете ли вы, люди, люди, люди!.. Понимаете — люди хороши и плохи не оттого, что они архиереи или рабочие, татары или украинцы — люди равны, потому что они люди. Полвека назад ослепленные партийной узостью люди считали, что Чехов выразитель безвременья. А Чехов знаменосец самого великого знамени, что было поднято в России за тысячу лет ее истории, — истинной, русской, доброй демократии, понимаете, русского человеческого достоинства, русской свободы. Чехов сказал: пусть Бог посторонится, пусть посторонятся так называемые великие прогрессивные идеи, начнем с человека, будем добры, внимательны к человеку, кто бы он ни был; начнем с того, что будем уважать, жалеть, любить человека, без этого ничего у нас не пойдет. Вот это и называется демократия, пока несостоявшаяся демократия русского народа. Русский человек за тысячу лет всего насмотрелся — и величия, и сверхвеличия, но одного он не увидел — демократии».

⁴⁷ Да и сама «Школа Толстого» как педагогическая система вполне успешна поныне в разных странах. Если же говорить о влиянии на историю российского образования, то на рубеже XIX — XX веков «толстовское» издательство «Посредник», руководимое И.И.Горбуновым-Посадовым, четверть века выступало явным лидером в цветущем тогда и многообразнейшем педагогическом книгоиздании.

⁴⁸ Порой высказывают мнение, что и сама русская классическая литература в идейной своей направленности — несложившийся «протестантизм на православной почве».

⁴⁹ По выражению философа Г.П.Щедровицкого: «Россия — такая странная, чудовищная и чудесная страна, что в ней потом возникает то, чего нет, появляется неизвестно откуда и оказывается на самом высоком уровне».

⁵⁰ Воспоминание о «речном происхождении» русского народа звучит особенно болезненно при нынешнем небрежении и к путеводности рек, и к деградации речных долин, и к панорамам городов.

⁵¹ А также разнообразные бандиты и мародеры на всех уровнях — «вишенкой на торте».

⁵² Говоря по совести, не бог весть как много демократии найдется и в верхах американской или индийской политики. Но вот «этажом ниже» «государственные люди» уже резко перестают быть всесильны перед лицом местных сообществ, традиций, законов, интересов и т.д.

⁵³ Еще есть странное чувство, словно «воинствующее безбожие» советской эпохи решили с внутренних целей перевести на внешние; потоки клеветы на христианскую церковь в России переадресовали к остальным странам христианского мира. (Только ведь если долго убеждать своих соседей, что они враги, то они постепенно поверят и будут как минимум со все большей опаской и брезгливостью смотреть на твою страну. Разубеждать придется долго.)

Андрей Столяров

Ярче тысячи солнц

Россия, Россия, Россия, —
Мессия грядущего дня!

Андрей Белый. «Родине»

К последнему морю

Рассмотрим три исторических эпизода.

В XIII веке Европа содрогнулась от нашествия неисчислимых монгольских полчищ. Монголы разгромили государство волжских болгар, княжества Древней Руси, нанесли сокрушительное поражение польско-немецкому войску в битве при Легнице, разгромили венгерское войско и заняли столицу Венгрии — Пешт, вторглись в Болгарию, Хорватию, Сербию и уже переносили военные действия за Дунай — на территорию Священной Римской империи. Казалось, их ничто не может остановить. Содрогнулась, впрочем, не только Европа. В Средней Азии монголы разгромили громадную империю Хорезмшахов, захватили Хорезм, Багдад, вторглись в Сирию и Палестину. На востоке ими был повержен громадный Китай, покорены Корея, Бирма, значительная часть Индии. Лишь сильнейший тайфун «Камикадзе» («божественный ветер»), разметавший огромный монголо-китайский флот, не позволил им высадиться в Японии. Тем не менее всего за несколько десятилетий монголы создали самую большую в истории континентальную империю, простиравшуюся от Дуная до Японского моря и от Новгорода до Юго-Восточной Азии.

Теперь — второй эпизод. В конце осени 1941 года большинство западных политиков и военных считало, что дни Советского Союза сочтены. К этому времени немецкие войска оккупировали Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, Белоруссию, значительную часть РСФСР, Украины, продвинулись вглубь страны более чем на тысячу километров. Были убиты, ранены или попали в плен около двух миллионов советских солдат. Оставлены были Минск, Киев, Харьков, Смоленск, Одесса, Днепропетровск, кольцом блокады был окружен Ленинград. СССР потерял важнейшие сырьевые и промышленные центры,

Столяров Андрей Михайлович — прозаик, автор не только художественных произведений, но и многочисленных статей по аналитике современности, а также книги по философской аналитике «Освобожденный Эдем» (2008). Публикации в «Дружбе народов»: «Новая земля и новое небо» (№ 4, 2014); «Герой нашего времени» (№ 11, 2014); «Дайте миру шанс». Повесть по мотивам реальности (№ 1, 2015).

оказались отрезанными от основной части страны важнейшие источники продовольствия на Украине и юге России. Казалось, что Советский Союз уже ничто не спасет. И вдруг Красная армия наносит немцам сокрушительное поражение под Москвой, затем — через год — грандиозное поражение в Сталинградской битве и далее — окончательное поражение на Курской дуге. Трагический сюжет переломлен. 1 мая 1945 года на куполе рейхстага в Берлине водружен красный флаг.

И наконец эпизод третий. На исходе XVIII столетия Франция пребывает в катастрофическом состоянии. В результате революционного катаклизма, приведшего к свержению короля, экономика ее совершенно разрушена, в стране — нищета, террор, социальный хаос, то и дело вспыхивают монархические или социал-радикальные мятежи. Более того, ряд европейских держав, напуганных революционными потрясениями, создает военный союз, призванный вернуть Францию в русло «цивилизованного существования». Силы сторон заведомо неравны. Против Франции выступают Австрия, Пруссия и Испания, почти все германские государства, Неаполитанское королевство, королевство Сардинии. Позже к ним присоединяются Англия и Голландия. Поражение Франции кажется неизбежным. Тем не менее войска республики смело идут вперед, вопреки всему одерживают победы при Вальми и при Жемаппе, оккупируют Бельгию, наносят поражение Голландии, Австрии, Пруссии, занимают значительную часть Италии и Рейнские области. А когда во главе войск становится молодой генерал Наполеон Бонапарт, победы приобретают всеобщий характер. Буквально за десять лет возникает империя, охватывающая собой почти всю Европу, простирающаяся от российских границ до «последнего моря» монголов — Атлантического океана.

Что общего между этими тремя эпизодами, развернувшимися в разные исторические эпохи, у разных народов и в географически разных местах?

Чем их можно объединить?

Какая сила подвигла монголов, русских, французов бросить героический вызов судьбе?

Общим, на наш взгляд, является то, что во всех трех случаях работал фактор национальной идеи.

Создание, спасение, преобразование

Концепт национальной идеи — одна из сложнейших проблем современной культурологии. Дело тут вовсе не в том, какой может быть национальная идея России — хотя именно так обычно ставят этот вопрос. Дело в том, что представляет собой национальная идея вообще? Существует ли в онтологии нации такой мировоззренческий механизм? Если он существует, то каковы его базисные черты? При каких условиях он включается и начинает работать? И наконец — можно ли этим механизмом сознательно управлять?

К сожалению, данная тема сильно дискредитирована. Стоит вспомнить, какой шквал иронических замечаний взметнулся в 1996 году, когда президент Ельцин публично провозгласил, что Россия нуждается в собственной национальной идее, и поручил группе политических аналитиков такую идею создать. Тем более, что тогда же, следуя велению президента, эту тему в срочном порядке

обсудили и Совет Федерации, и Государственная Дума РФ, «Российская газета» объявила соответствующий конкурс среди читателей, широкие дискуссии провели «Независимая газета» и «Московские новости», а семинары и конференции, посвященные данной проблеме, состоялись в администрации президента РФ, фонде Карнеги, Институте философии РАН и в ряде других научных учреждений и вузов страны. Кульминацией всех этих усилий стал шеститомный труд группы авторов, который так и назывался «Национальная идея России», где были представлены аж двадцать высших ценностей, которыми должны руководствоваться россияне, а сама национальная идея была сформулирована так: «Моя страна должна быть, и должна быть всегда!» Причем авторы, среди которых присутствовал и В. И. Якунин, президент ОАО «Российские железные дороги», предложили закрепить данную идею в Конституции РФ, видимо, для того чтобы она стала непреложным законом для всех граждан нашей страны.

С тех пор в данной области возникло колоссальное количество самых разных «идей» — даже формальное перечисление их может занять не один десяток страниц. Это и «жить по совести», и «жить во благо Отечества», и «любить Родину», и «жить по вере отцов», и «Россия для русских», и «свобода дороже богатства», и «спастись можно только вместе», и т.д. и т.п. Было даже высказано предложение — сделать национальной российской эмблемой «ваньку-встаньку» (игрушку) как символ того, что повергнуть Россию нельзя — она выживет и поднимется в самой трудной исторической ситуации.

Нет смысла анализировать эту ментальную пену. Ясно, что ни к механике национальной идеи, ни к ее хотя бы примерным параметрам она отношения не имеет. Это все — из области благих пожеланий. В данном случае просто укажем ту основную черту, которая, на наш взгляд, выделяет концепт национальной идеи из великого множества сходных концепций, доктрин и идеологем.

Главная характеристика национальной идеи — это *пассионарность*.

Нация, охваченная национальной идеей, пребывает в состоянии исключительного эмоционального напряжения. Осуществляется героическое усилие, поднимающее массы людей от статуса спокойного быта к статусу революционного бытия. У нации появляется некая высокая цель, сияющая на горизонте истории, — нация готова на ощутимые жертвы, чтобы этой цели достичь. Все внутренние разногласия вытесняются в подсознание. Все силы, вся энергия нации сплавляются в единый экзистенциальный порыв. Возникает абсолютная идентичность: нация чувствует, думает, действует как один человек.

Именно пассионарная энергетика, подобная вспышкам сверхновых, освобождающим энергию звезд, отличает национальную идею от разного рода *национальных доктрин*, возникающих в те или иные исторические периоды. Например, от знаменитой доктрины графа Уварова «православие, самодержавие, народность», сформулированной во времена императора Николая I. Никакой пассионарностью уваровская доктрина не обладала, никакого экзистенциального горизонта озарить не могла, она представляла собой лишь официальное мировоззрение, поддерживавшее в рабочем режиме тогдашний государственно-национальный формат.

Точно так же нельзя отнести к национальной идее и пакет приоритетных *национальных проектов*, выдвинутых в 2005 году президентом России. Имеются в виду проекты «Здоровье», «Образование», «Жилье», «Развитие АПК». Представляется, что даже приснопамятная «Продовольственная программа СССР»,

провозглашенная еще в эпоху Л. И. Брежнева, вызвала в стране большой энтузиазм, чем эти проекты, для реализации которых был создан специальный Президентский Совет. Впрочем, сейчас об этих проектах стараются не вспоминать. Их вполне квалифицированно удалось списать на мировой финансовый кризис 2008 — 2010 годов.

В общем, если принять пассионарность за эксклюзивную, отличительную черту, то сразу же становится очевидным, что национальная идея работает лишь в трех случаях.

Во-первых, это *создание нации* — консолидация этнических сил, завоевание независимости, образование нацией собственного государства.

Во-вторых, это *спасение нации* — преодоление масштабной угрозы в виде войны, социально-экономической или экологической катастрофы.

И в-третьих, это *преобразование нации* — модернизация ее этнического ядра, приведение ее этносоциальной культуры в соответствие с конфигурацией нового времени.

Заметим, что во всех трех случаях наличествует *онтологический вызов*, то есть вызов, связанный с существованием/несуществованием нации. А в ответ на такой вызов осуществляется громадный общенациональный проект, требующий от нации предельного бытийного напряжения.

Исходя из этого, национальную идею можно определить как пассионарный проект по формированию нацией собственного будущего.

Энергия звезд

Термин «пассионарность» ввел в научный обиход историк Лев Гумилев, который под пассионарностью понимал способность индивида к длительному сверхусилию для достижения поставленной цели. По мнению Л. Н. Гумилева, «пассионарность может проявляться в самых различных чертах характера, с равной легкостью порождая подвиги и преступления, созидание, благо и зло, но не оставляя места бездействию и спокойному равнодушию»¹. Вслед за Гегелем он считал, что «ничто великое в мире не совершается без страсти». При этом пассионарность может проявлять не только отдельный человек (по терминологии Гумилева — пассионарий), но и в целом этническое сообщество, если количество пассионариев в нем достигает критической величины. Тогда этнос начинает пассионарное восхождение.

Правда, с научной точки зрения не выдерживают критики представления Л. Н. Гумилева о том, что порождается пассионарность вариациями космического излучения: вспышками на Солнце или вспышками в глубинах Вселенной сверхновых звезд, которые, в свою очередь, приводят к вспышкам этнического мутагенеза у народов Земли, к «пассионарным толчкам», к повышению таинственной «геобиохимической энергии живого вещества», каковую, заметим, невозможно соотнести ни с одним из видов энергий, известных науке. Однако сам феномен пассионарности выделен историком очень удачно.

Что же касается реального источника пассионарной энергии, то тут, как

¹ Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. — Ленинград, 1990. Часть шестая «Пассионарность в этногенезе». С. 262.

нам кажется, можно в качестве аналога привести известный «эффект провинциала». Человек, переехавший в крупный город из отдаленной провинции, довольно часто (однако, разумеется, не всегда) обладает повышенной деятельностной энергетикой по сравнению с коренным горожанином. Это, впрочем, понятно. Такой человек попадает в совершенно новую для себя среду и первоначально, на подсознательном уровне, воспринимает ее как отчетливую угрозу: ему неизвестны правила жизни в этой среде, для него загадкой является ее реальная картография, он, в отличие от горожанина, не может автоматически считывать ее причинно-следственные отношения. Включается стрессовый механизм, чисто биологическая, инстинктивная реакция на опасность. Стресс, в свою очередь, порождает повышенную энергетику, мобилизацию всех имеющихся у особи сил, а внешние, деятельностные ее проявления воспринимаются как пассионарность.

Фактически у провинциала происходит трансформация личности, хотя сам человек, не будучи рефлексивным, может об этом не подозревать. Происходит плавление идентичности провинциальной, и высвобождающаяся энергия идет на построение идентичности городской.

Та же самая закономерность работает и в случае громадных человеческих масс. В период европейской модернизации XVII — XX веков, когда крестьянство в массе своей разорялось и мигрировало в города, что, естественно, сопровождалось плавлением идентичности, в сельской местности вспыхивали крестьянские бунты и войны, а в городах — мятежи, нередко перераставшие в революции.

Аналогичные процессы идут и на уровне национальных сообществ. Монголы не просто так начали свои завоевательные походы. В XIII веке разрозненные монгольские племена, до этого враждовавшие между собой, волей удачливого полководца были объединены в единый народ. Внезапно на авансцене истории возникла монгольская нация. Чингисхан, сознательно или интуитивно, сделал поразительный для того времени шаг: вместо традиционного племенного деления ввел деление по туменам (десятитысячным военным отрядам) и специализированным родам войск, где были теперь перемешаны представители различных племен. А чтобы закрепить это единство в механике обыденной жизни, он создал Ясу — универсальный для всех монголов закон, вытеснивший все прежние племенные законы. То есть опять-таки произошло тотальное плавление идентичности, а освободившаяся энергия была структурирована вождем в виде единственной цели, доступной сознанию средневековой эпохи: создание великой империи. Монголы двинулись к «последнему морю».

Вот примеры того, как национальная идея, связанная с образованием этносом собственного государства, может творить настоящие чудеса. В 1581 году крохотная Голландия (точней — Нидерланды) побеждает Испанию, находящуюся в зените могущества, и обретает государственный суверенитет. Всего через пятьдесят лет она сама превращается в могущественную империю, которой принадлежат обширные колониальные владения. В 1783 году слабые и разрозненные штаты Североамериканского континента добиваются независимости от громадной Британской империи и точно так же становятся самостоятельным государством. Пассионарность незамедлительно порождает экспансию: американцы отвоевывают у Мексики громадные территории, которые образуют юго-западные штаты США. Начиная с 1948 года, крохотный, только что возникший Израиль убедительно доказывает свое право на существование среди необзри-

мого моря враждебных ему арабских стран. Силы сторон абсолютно неравнозначны. Кажется, что никаких шансов у Израиля нет. Тем не менее одна за другой следуют победоносные войны, в результате которых Израиль более чем в три раза расширяет свою территорию.

Правда, стоит отметить, что во всех этих случаях поразительному успеху национальной идеи способствовали дополнительные обстоятельства. Экспансии монголов способствовал благоприятный климат, установившийся в 1210 — 1230 годы в монгольских степях: теплая погода, обильные дожди, расширение зоны пастбищ и, соответственно, резкое увеличение конского поголовья — каждый монгольский воин мог теперь содержать до пяти лошадей. Сыграл свою роль, вероятно, и демографический фактор — возрастание численности монгольских племен, начавшееся в те годы. В свою очередь, успеху национальной борьбы Голландии и американских колоний способствовало во многом то, что как Испания, так и Великобритания, противостоящие им, были в соответствующие периоды поглощены тяжелыми войнами против других великих держав. Сил, чтобы удержать колонии, не хватало. А выживанию и фантастическим победам Израиля в значительной мере способствовала поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки.

Однако благоприятные обстоятельства наличествуют далеко не всегда. И потому не всегда национальную идею, связанную с созданием собственного государства, нации удастся реализовать. Сколько раз народы Балкан, в частности Болгария, Румыния, Сербия и Черногория, восставали против османского ига, но признания своей независимости им удалось добиться лишь после русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Сколько раз вспыхивали восстания колониальных народов против господства британцев, голландцев, французов, но реальную независимость колонии начали обретать лишь после Второй мировой войны, когда принципиальным образом изменилась ситуация в мире.

Сам процесс этнического формирования может остаться незавершенным. В конце XI столетия в Европе явно проступили черты, свидетельствующие о возникновении единой нации — европейцев. Этому способствовал, вероятно, климатический оптимум X — XIII веков, который привел и к подъему европейской сельскохозяйственной экономики, и к очевидному демографическому подъему. Начал, по крайней мере в страте элит, формироваться единый «европейский народ», у которого была единая христианская вера (в то время — католицизм), единый язык — лингва франка (и дополнительный универсальный язык — латынь), единая трансэтническая культура — рыцарство — с единым образом жизни, скрепляемая к тому же многочисленными внутрисословными браками. Сословно-этническое единство, несомненно, усиливалось и единством тогдашней европейской национальной идеи — стремлением освободить Гроб Господень от сарацин. Пассионарность средневековой Европы была очень высокой и выплеснулась в яростных крестовых походах. Европейские рыцари вторглись в Левант, разгромили войска сельджуков и образовали Иерусалимское королевство. Вместе с тем итоговой национальной целостности не возникло — Европа начала распадаться на множество противоборствующих государств.

Почему европейский сюжет сложился именно так, это отдельный вопрос. Здесь же необходимо заметить, что процесс создания нации, сопровождающийся повышением этнической температуры, обычно приводит к формированию комплекса национального превосходства, который выражается мировоззренчес-

кой идеологемой «державности». Возникает представление о «Великой Германии», «Великой Франции», «Великой России» и т.д. и т.п. Причем родовой горячкой «державности» страдают не только большие народы, как бы исторически склонные к формам имперского государственного бытия, но также и народы средней и малой величины. «Этнический нарциссизм» — болезнь, которую чрезвычайно трудно лечить. В начале XX века возникла идея «Великой Сербии», которая объединит под своей эгидой всех южных славян (что и было чуть позже реализовано в виде Югославского государства), в разное время, однако при сходных исторических обстоятельствах, возникали идеи «Великой Болгарии», «Великой Венгрии», «Великой Румынии», «Великой Польши», простирающейся от Балтики до Чёрного моря.

Более того, в рамках традиционного этнического сознания, которое господствовало тогда, а во многом господствует и сейчас, державность понимается исключительно как территориальное расширение, которое можно осуществить только военным путем. «Энергия звезд» превращается в «энергию уничтожения». Подростковая инфантильность нации в сочетании с подростковой энергией (пассионарностью) — очень опасный национальный синдром.

Франция — это я!

Примерно так же обстоит дело и в случае, когда включение национальной идеи связано со спасением нации. Правда, энергию пассионарности тут в основном порождает инстинкт самосохранения, который у нации как у носителя коллективных инстинктов развит не меньше, чем у отдельного человека. Однако и тотальное плавление идентичности здесь тоже имеет место. Военная ситуация принципиальным образом отличается от ситуации обыденной жизни, и «человек воюющий», соответственно, обладает иным набором характеристик, нежели человек мирного времени. Пребывание на грани жизни и смерти, требующее от каждого необычайного напряжения сил, точно так же, как и в случае создания нации, формирует устойчивый национальный идентификат, становящийся позже одним из базисных реперов национальной истории.

Американский исследователь Хедрик Смит, например, писал, что русские «рассуждают о войне не только как о времени жертв и страданий, но и как о времени солидарности и сопричастности. Война несет смерть и разрушение, но она одновременно демонстрирует несокрушимое единство народа и его негибкую силу. Воспоминания о совместно перенесенных лишениях и совместно добытых победах в войне, которую в СССР называют Великой Отечественной, служат главным источником современного советского патриотизма»¹. Сходным образом говорят исследователи и об американцах. Вторая мировая война «укрепила национальное единство и ощущение принадлежности к одной и той же нации». Она «стала величайшим совместным опытом, который сформировал представление американцев о национальной идентичности на поколения вперед». «Самоидентификация американцев со страной достигла в ходе этой войны исторического максимума»².

¹ Hedrick Smith. The Russians. — New York, 1976. P. 302—303.

² Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. — М., 2004. С. 216.

Для россиян подобными реперами идентификации, историческими примерами включения национальных идей служат, помимо Великой Отечественной войны, Куликовская битва и победа над Наполеоном, для французов — победа на Марне (август 1914 года, когда удалось отстоять Париж) и подвиги Жанны д'Арк, для англичан — победа над «Непобедимой армадой», Трафальгарская битва, утвердившая превосходство Англии на морях, и «Битва за Британию» (сражение с немецким люфтваффе летом — осенью 1940 года).

Ничто так не объединяет нацию, как общая борьба, имеющая ясную цель, общая трагедия и общая победа, достигнутая ценой колоссальных жертв.

Однако угроза, о которой мы говорили, должна быть именно онтологической. Войны на границах империи обычно никакого пассионарного подъема не вызывают. Национальная идея не вспыхнула в Англии после поражения британского корпуса в Афганистане в 1842 году, не загорелась в России после поражения в русско-японской войне, не всколыхнула империю Габсбургов после потери Италии, не зажгла сердца советских людей во время мучительной афганской войны. Все эти трагические коллизии могли быть для сознания каждого из народов достаточно тяжелы, они могли порождать и действительно порождали всплески сильных эмоций, но они не воспринимались национальным сознанием как опасность государственного небытия. Нации, пусть в чуть худшем формате, но продолжали существовать.

Также необходимо сказать, что даже в случае прямой и явной угрозы национальная идея появляется далеко не всегда. В 1938 — 1939 годы фашистские войска оккупировали Чехословакию, заняв сначала Судетскую область, а затем — территорию всей страны. Между тем Чехословакия в эти годы была одной из самых развитых европейских стран. Несмотря на небольшие размеры, она имела мощную индустрию, мощную военную промышленность и вполне боеспособную армию. Конечно, победить в тех условиях Чехословакия все равно не могла, но она, несомненно, была способна сражаться, нанеся Третьему рейху вполне ощутимые материальные и людские потери. Весь последующий международный сюжет мог бы тогда стать иным. Однако Чехословакия, деморализованная Мюнхенским договором, когда Европа ее просто сдала, никакого сопротивления агрессору не оказала. Гитлеровские войска без особых усилий превратили ее в протекторат. Между тем Польша, попавшая через год в аналогичную ситуацию, сражалась отчаянно, хотя победить тоже заведомо не могла.

Вероятно, включение национальной идеи зависит еще и от исторических архетипов. Польское государство рождалось в непрерывной и ожесточенной борьбе, отражая бесчисленные угрозы то с запада, то с востока. Ради него поляки принесли множество жертв, и это стало одной из констант национального подсознания. Чехия, в свою очередь, очень долго пребывала сначала в составе Священной Римской империи, а затем — в составе Австрийской (Австро-Венгерской) империи как ее вполне благополучная часть. Государственность она обрела практически без борьбы, когда Австро-Венгрия развалилась, потерпев поражение в Первой мировой войне. Вероятно, для чехов собственная государственность не стала подлинной ценностью — во всяком случае не такой, ради которой следовало сражаться не на жизнь, а на смерть.

Теперь о национальной идее, связанной с преобразованием нации. Данная ситуация имеет один чрезвычайно важный аспект. В первых двух случаях (создания и спасения) перед нацией стоит *физический вызов* — конкретная, ясно

видимая угроза, которую легко осознать. В третьем случае перед нацией встает *вызов метафизический* — вызов грядущей неопределенности, параметры которого, как правило, неясны.

В действительности метафизический вызов представляет собой вызов будущего: нарастающее несоответствие форматов текущего этногосударственного бытия параметрам нового мира, которые еще точно не определены, и потому этот вызов в отличие от конкретной угрозы долгое время может существовать в неявном, неотрефлексированном состоянии. Для его осознания необходимо интеллектуальное усилие национальных элит. А это, заметим, происходит далеко не всегда. Вызов будущего не осознали в надлежащее время ни империя Габсбургов, потерпевшая от бисмарковской Германии сокрушительное поражение при Садове, ни империя Наполеона III, также получившая от Германии — уже под Седаном — смертельный удар, ни императорская Россия, ввергнувшаяся в катаклизм революции и гражданской войны, ни многие другие страны, испытавшие в течение своей истории аналогичные катастрофы. Рефлексивный ступор, незамечание очевидного, как показывает история, связаны, вероятно, с тем, что никакая власть, ни авторитарная, ни демократическая, никогда не работает на опережение. Любая власть работает в режиме «вызов — ответ». Политики начинают осознавать необходимость реформ лишь тогда, когда стратегический кризис обретает острую форму.

А под преобразованием нации мы понимаем процесс, при котором нация сохраняет свое этнокультурное, системообразующее ядро, но его архетипические характеристики получают новую аранжировку.

Классическим примером такого процесса, на наш взгляд, является преобразование «русской нации» (периода царской России) в «советский народ» (периода СССР). Все основные этнокультурные характеристики нации были при этом действительно сохранены, но получили принципиально иное идеологическое выражение. Православие трансформировалось в коммунизм (светский адекват Царства божьего за земле), самодержавие — в партийный авторитаризм (власть партии, обладающей абсолютной «исторической истиной»), общинность — в советский коллективизм, имперскость — в мировую систему социализма. Примерно такая же этнокультурная трансформация произошла в то же время в Германии: «бисмарковский немец» (периода образования национального государства и Первой мировой войны) превратился в «арийского немца» (национальный эталон Третьего рейха). При этом базовые этнические характеристики немцев остались опять-таки прежними, однако были переакцентированы в систему «арийских идеологем».

У преобразования нации много общего с созданием нации. В обоих случаях возникает как бы «новый народ», который и осознает себя таковым, а потому закономерности обоих этих процессов гомологичны. Разным здесь является «спусковой механизм». В случае создания нации наличествует ясная и понятная цель — обретение независимости, формирование собственного государства. В случае преобразования нации такой ясно видимой цели нет. Нации (как, впрочем, и отдельному человеку) обычно с чрезвычайным трудом дается простая в общем-то мысль, что ей следует стать другой — вырасти над собой, перейти в более зрелый социальный возраст. Данная рефлексия обычно опаздывает. И потому «спусковым механизмом» преобразования нации, как правило, является

масштабная катастрофа. В обоих приведенных примерах, русских и немцев, такой катастрофой стала Первая мировая война.

И есть еще один важный момент, необходимый для реализации национальной идеи. У нации должен возникнуть лидер, способный данную идею не только провозгласить, но и — хотя бы частично — ее воплотить, собрав в фокус всепрожигающего огня. Он должен, как Людовик XIV, иметь право сказать: «Франция — это я!» Иначе энергия пассионарности, распределенная по нескольким центрам силы, прогорит внутри нации в бессмысленных и жестоких конфликтах.

Конечно, история не знает сослагательного наклонения, однако можно с достаточно большой вероятностью предположить, что если бы, например, не возник Чингисхан, то вся пассионарность монголов дотла сгорела бы в межплеменных стычках и войнах. Поход к «последнему морю» не состоялся бы. Нечто подобное, как нам кажется, произошло с Украиной, когда в XVII веке на землях Гетманщины, на фундаменте православия и западно-русского (украинского) языка начала образовываться украинская нация. Богдан Хмельницкий, несомненно, был талантливым военачальником, но, насколько можно судить, ни политическими, ни собственно государственноческими способностями не обладал. Тем более этих способностей не было у его преемников. Вспыхнули долгие войны противоборствующих сторон, зарождающаяся украинская государственность была уничтожена; снова она возникла — достаточно искусственным образом — только во времена СССР.

Еще один яркий пример — это Бельгия. В Первую мировую войну, когда германские войска вторглись на ее территорию, король Альберт I (король-интеллектуал, король-спортсмен) призвал бельгийцев к сопротивлению и сам стал во главе армии. Бельгийцы сражались мужественно — немцам пришлось выделить против них дополнительные войска в составе двух корпусов. Этим войскам (как, впрочем, и войскам, связанных боями с Россией в Восточной Пруссии) немцам и не хватило, чтобы в августе 1914 года взять Париж. Зато во Вторую мировую войну король Леопольд III (сын Альберта I) проявил, скажем так, меньше мужества и энергии. Бельгийская армия довольно быстро капитулировала. Король остался в оккупированной стране и позже был даже обвинен в коллаборационизме. Освободившиеся войска немецкий генштаб смог бросить против Франции.

Проблема национального лидера — ключевая в процессе реализации национальной идеи.

Настроение бодрое, идем ко дну...

Все сказанное имеет непосредственное отношение к современной России. Несмотря на относительное внутреннее благополучие, и ближайшие, и отдаленные перспективы нашей страны весьма и весьма туманны. Шансов на цивилизационное выживание у нее очень немного, и никакой звон официозных фанфар, вещающих о державности, не может заслонить данный факт.

Причины такого положения очевидны.

Во-первых, это экономическая слабость России. Несмотря на «золотое десятилетие», когда в страну шли колоссальные средства, вырученные от продажи энергетического сырья, технологическая база развития в России заложена не была. Удельный вес нашей страны в мировой экономике составляет

сейчас чуть менее 3 процентов, и по этому показателю она существенно отстает от лидеров технологического прогресса: США (22 процента), ЕС (22 процента), Китая (11 процентов), Японии (8 процентов)¹. Российскую экономику можно охарактеризовать как «пустую». Большую часть ее экспорта составляет сырье, прежде всего — энергоносители. Фактически Россия находится сейчас в числе стран Третьего мира, выделяясь из этого ряда лишь наличием ядерного оружия.

Причем время для реальной модернизации, вероятно, уже упущено. История показывает, что классическую индустриализацию каждая страна может провести, как правило, всего один раз: за счет массового разорения крестьянства и притока дешевой рабочей силы в промышленные города. Именно таким путем шли реформы в России начала XX века, прерванные убийством П. А. Столыпина и мировой войной 1914 — 1918 годов. И точно таким же путем, продолжая модернизационный процесс, осуществлялась сталинская индустриализация — за счет организованного и жестокого разорения значительной массы крестьян. Интересно, что в конце XX — начале XXI века этот путь перед Россией ненадолго открылся вновь. Тогда после резкого обнищания россиян, произошедшего в результате структурных реформ 1990-х годов, появились большие массы людей, готовых на низко оплачиваемый, но гарантированный труд. Однако эта возможность использована не была. Основные финансовые потоки направлены были не в производство, а в недра олигархического распила. Россия потеряла шанс стать индустриальной страной.

Собственно, это признает и нынешнее руководство России. Премьер-министр Дмитрий Медведев, еще в бытность свою президентом РФ, характеризуя состояние дел в стране, говорил о «примитивной сырьевой экономике», зависимости от импорта, «крайне невысокой конкурентоспособности» российских товаров, «позорно низкой энергоэффективности и производительности труда» на большинстве предприятий². Ему вторил один из влиятельных деятелей кремлевской администрации: «Терроризм не добит. Инфраструктура изношена. Больницы и школы бедны. Техническая отсталость и бытовая неустроенность удручающе огромны. Творческие силы скудны и распылены. Когда для выживания нации срочно требуется новая экономика, упущенное время расторопно доедает старую»³.

Ситуацию в современной России можно охарактеризовать как застой. «Сырьевое проклятие», уже давно известное экономистам, мрачной тенью лежит на стране. Ничего удивительного, что в наиболее пассионарном сегменте российского общества, среди людей деятельностных, обладающих достаточно высоким доходом, а главное молодых, половина респондентов думает о возможности уехать куда-нибудь из России, почти две трети из них (63 процента) хотели бы, чтобы их дети учились и работали за границей, а 35 процентов хотели бы, чтобы их дети жили там постоянно⁴. Другой опрос, проведенный компанией Zurich Insurance, дает еще более впечатляющие показатели. Согласно ему, более 60 процентов россиян являются потенциальными эмигрантами, а 10 процентов уже предпринимают для этого практические шаги. Правда, отечественные

¹ The World Bank. — <http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>.

² Медведев Д. Россия, вперед! — <http://news.kremlin.ru/news/5413>.

³ Сурков В. Национализация будущего // Эксперт. 2006. № 43 (537).

⁴ Левада-центр. «Российский средний класс. Его взгляд на свою страну и Европу». — <http://www.levada.ru/press/2008070101.html>.

социологи приводят более низкие цифры склонности к эмиграции: от 13 процентов (ВЦИОМ) до 31 процента (Ромир)¹, но тем не менее картина складывается не слишком радостная: россияне не хотят жить в России.

А во-вторых, это тяжелая демографическая проблема. Со времени распада СССР количество россиян, несмотря на ощутимую иммиграцию из Ближнего зарубежья, заметно уменьшилось. Сейчас оно составляет всего 143 миллиона человек². Это критически мало для страны, обладающей самой большой территорией в мире. Причем, распределено российское население крайне асимметрично: почти 80 процентов его сосредоточено в Европейской, наиболее развитой части страны, а Сибирь и Дальний Восток представляют собой антропологическую пустыню.

Причем опять-таки, несмотря на звон официозных фанфар, нельзя рассчитывать, что положение в этой области изменится к лучшему. Суммарный коэффициент рождаемости в современной России находится на уровне 1,7 (каждая женщина рождает менее двух детей), в то время как даже для простого воспроизводства нужен уровень в 2,1 ребенка на одну женщину. Вряд ли значительную роль сыграют здесь какие-либо программы по поддержке рождаемости и семьи: они способны лишь замедлить падение, но не направить вверх демографическую стрелу. Падение рождаемости — это общемировой вектор для развитых индустриальных стран, и еще никому — ни на Западе, ни на Востоке — переломить его не удалось. По прогнозам ООН к 2025 году население России может сократиться до 120 миллионов чел., а к 2050 году даже до 92 миллионов.³ В геополитическом измерении это означает, что Россия окажется не в состоянии удержать свои обширные территории. И, разумеется, никакая «вторичная индустриализация», никакой «модернизационный прорыв» в таких демографических координатах не могут быть осуществлены.

Сейчас российская власть делает ставку на Евразийский проект, рассчитывая ускорить экономическое развитие за счет китайских инвестиций, совместных программ и дешевой рабочей силы из стран Средней Азии. Однако на практике это будет означать быструю (в историческом смысле) азиатизацию России — этническую трансформацию россиян в евразийский, и, возможно, по большей части — азиатский, народ. «Погружение в Азию», конечно, перспективно для российской авторитарной власти, но, как нам представляется, вряд ли вдохновит подавляющее большинство россиян.

И, наконец, такой важный фактор, как международный авторитет страны. Данный фактор означает не просто теоретическое «уважение», которое, впрочем, приятно само по себе, но и приток инвестиций, кредитов, новейших технологических разработок, возможность осуществления долгосрочных совместных программ, активирующих реальное производство. То есть международный авторитет непосредственным образом влияет на экономическое развитие. Так вот, если даже не учитывать ситуацию с Крымом, то международный авторитет России

¹ Терехова А. Россия — мировой рекордсмен по числу эмигрантов // Независимая газета. 2013. № 269.

² Федеральная служба государственной статистики. Перепись 2010 г. — http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol1/pub-01-01_02.pdf.

³ Сафарова Г. Л. Старение населения России: современное состояние, перспективы, последствия для социальной политики // Проблемы экономической теории и политики. — СПб., 2006. С. 148.

сейчас колеблется где-то возле нуля. Это видно хотя бы из того факта, что практически все страны Центральной и Восточной Европы — практически все — неудержимо стремятся в ЕС, и ни одна, за исключением специфической Белоруссии, не хочет быть аффилированной с Россией. России остается все тот же довольно смутный «азиатский резерв». Можно поэтому без преувеличений сказать, что Россия пребывает сейчас в геополитическом одиночестве.

Так что же, ситуация безнадежная? Нам следует смириться перед грозным роком истории? Оставить всякие «державные помыслы», чрезмерно напрягающие страну, и заботиться лишь о том, чтобы угасание Российской цивилизации произошло, по возможности, мирным путем?

Сдаться, конечно, проще всего.

Это не потребует от нас никаких усилий.

Достаточно продолжать жить по-прежнему, и сумеречные предначертания осуществляться сами собой.

Вспомним, однако, первую половину данной статьи. Вспомним, что история знает впечатляющие примеры того, как нация преодолевала, казалось бы, непреодолимые кризисные рубежи, восстанавливалась буквально из пепла, из развалин, из ничего, обретала новые силы для продолжения своего национального бытия. В российской истории таких примеров более чем достаточно. Правда, во всех этих случаях, которые классифицируются то как «русское провидение», то как «русское чудо» (хотя и у многих других народов происходили аналогичные «чудеса»), помимо ресурсов физических, которые, как правило, были невелики, использовался еще и ресурс метафизический — пассионарная энергетика, извлекаемая из трансформирующегося этнического ядра.

Именно эта колоссальная метафизическая энергия, мировоззренчески структурированная и имеющая внятную цель, этот огромный ресурс непрерывного деятельностного бытия требуется России сейчас, если она хочет продолжить свое существование в будущем.

Владимир Соловьев в 1888 году писал: «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности»¹. А если перевести это высказывание на язык социального проектирования, то «Российский проект», коль мы намерены его все-таки создавать, необходимо соотносить не с тем, что зримо наличествует в текущей реальности, не с тем, что уже полностью отработано и необратимо уходит во тьму, а с тем, что только еще проступает в хаосе настоящего, с тем, что смутно брезжит на горизонте, почти невидимо, неразлично, но зато предвещает неограниченный цивилизационный потенциал.

Речь опять-таки идет о национальной идее.

Не всем быть богатыми

Какой может быть национальная идея России?

Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, укажем на одно свойство национальной идеи, которое, на наш взгляд, является принципиальным. Во всех трех случаях, когда национальная идея работает, — создание нации, спасение

¹ Соловьев В. Русская идея // Соловьев В. Смысл любви. — М. 1991. С. 42.

нации, преобразование нации — возникает как бы новый народ, обладающий новым качеством национального бытия. Нация преображается, оставаясь при этом собой. В ее сознании, а значит и в поведении, акцентируются, взаимно скрещиваются и образуют новую суть те архетипические характеристики, которые до сего момента оставались латентными. Нация словно бы переходит на более высокий онтологический уровень и за счет этого достигает значительных преимуществ в международной конкурентной борьбе.

Исторически это выражается во впечатляющих военных победах, поскольку вплоть до второй половины XX века именно война, геополитическое сравнение сил, являлась главным критерием жизнеспособности нации. Сравнительно небольшая армия Александра Македонского одерживает победу над громадным войском персидского царя Дария III: соотношение погибших в битве при Гавгамелах 1:40. «Модернизированные» англичане, испанцы, голландцы, французы за период с XVI по XX век превращают в свои колонии практически весь Третий мир, неизмеримо превосходящий их в количественном, но отнюдь не в качественном отношении. Тот же крошечный Израиль, который на карте не разглядеть, раз за разом сокрушает гораздо более многочисленные армии арабских стран: соотношение по людским потерям, например, в Шестидневной войне 1:20, по численности населения противостоящих сторон 1:50. Интересно, что в последнем случае техническое оснащение войск было примерно равным: израильтян вооружали Соединенные Штаты, арабов — Советский Союз, так что главную роль в этих победах сыграло, выражаясь бюрократическим языком, «качество человеческого капитала».

Однако превосходство дает не только энергетика пассионарности. Нация, охваченная национальной идеей, некоторое время находится как бы в состоянии «этнического озарения», в состоянии инсайта, творческого вдохновения, какой во многих случаях порождает принципиальные технологические инновации. У Александра Македонского это была фаланга, созданная его отцом в момент консолидации македонян. У монголов это была исключительная мобильность: быстрота продвижения — действия, заметно опережающие противника. Более того, монголы реализовали свою мобильность в способе дислокаций, который Мольтке-старший через шесть с половиной веков определил как «сражаться вместе — идти врозь», то есть в умении концентрировать все свои силы на направлении главного в данный момент удара. Фламандцы, сражавшиеся в начале XIV века за независимость против Франции, «изобрели» пехоту, доказав ее преимущество перед рыцарской конницей в «Битве золотых шпор» — это был грандиозный переворот в технологии ведения средневековых войн. В свою очередь, французы, трансформированные революцией 1789 года, «изобрели» всеобщую воинскую повинность («каждый француз — солдат»), рассыпной строй стрелков и массированную, согласованную атаку плотных пехотных колонн. Русские же (и независимо от них — испанцы) «изобрели» тактику партизанской войны, во многом способствовавшую крушению Наполеона. А зарождавшийся в пламени Октябрьской революции и гражданской войны новый советский народ «изобрел» мобильный генштаб (поезд Троцкого) и громадные конные армии, ставшие главной ударной силой тогдашних сражений.

Творческое состояние, в котором находится преображающийся этнос, одна из главных психологических характеристик нового качества национального бытия.

В современной России тоже забрезжило нечто вроде национальной идеи. В самой общей терминологии ее можно определить как все ту же «державность». После присоединения Крыма — действия, неожиданного для всех, социологи отметили волну патриотического подъема у россиян: их готовность идти на определенные жертвы, на международную изоляцию, на глобальное противостояние с Западом ради создания «великой страны». В данном стремлении наличествует и осязаемый архетипический резонанс: представление о себе как о «великой нации» — одна из констант русского национального подсознания. Вместе с тем очевидно, что зарождающаяся «державность» понимается современными россиянами исключительно в рамках традиционного мировосприятия — как территориальное расширение, основанное на военной силе. Вообще говоря, это культурный модификат чисто биологического инстинкта: любое животное стремится к расширению своей пищевой территории. То есть это обращение не к инновации, а к традиции. Обращение к моделям средневековых и даже античных войн. Обращение к прошлому, а не к будущему, не имеющее поэтому реальной онтологической перспективы.

Однако известны и более прогрессивные распаковки той же «державной идеи». Модернизированные революцией Мэйдзи (1868 год) японцы тоже сначала пошли по пути классической территориальной экспансии, попытавшись создать «Империю восходящего солнца», которая охватывала бы собой весь азиатский мир, но, потерпев поражение во Второй мировой войне, сумели отказаться от экстенсивной стратегии имперского расширения и обратиться к стратегии интенсивной, подразумевающей качественное преобразование отсталой страны. Национальной идеей Японии в послевоенный период стал лозунг раннего советского времени «Догнать и перегнать!» Имелось в виду — догнать и перегнать Америку по технологическому развитию. Все силы японской нации были направлены на достижение этой цели. Каждый японец знал: проиграв войну, Япония должна выиграть мир. И уже к концу 1960-х годов искомый целевой горизонт был достигнут. Япония стала одной из ведущих индустриальных держав.

Правда, простое копирование японской национальной идеи вряд ли окажется эффективным в нашей стране.

Во-первых, идеи технологического прорыва уже выдвигали и президент России, и российский премьер-министр, но никакого энтузиазма у россиян они, как известно, не вызвали. Всем было понятно, что это чистая декларация, никак не сопряженная с повседневной жизнью людей. Воспринимались данные идеи так: это нужно «им», а не «нам». Идею мало выдвинуть, ее надо еще и грамотно «подключить».

А во-вторых, при конфигурировании национальной идеи следует учитывать не только психологию нации, что, кстати, труднее всего, но также — физическую специфику самого государства. А физическая специфика нашей страны заключается в том, что в России более холодный климат, чем в большинстве развитых западных стран, и более обширная, с трудными коммуникациями, территория, во многом не освоенная до сих пор. При любой экономической деятельности Россия вынуждена будет платить дополнительные налоги, транспортный и климатический, исключить которые из накладных расходов нельзя. И если до периода интенсивной глобализации, когда национальные экономики были в определенной степени разобщены, это принципи-

ального значения не имело, то теперь, в мире всеобщей экономической взаимосвязанности, любая, самая незначительная нагрузка на производство порождает ощутимые конкурентные трудности.

В классическом варианте развития Россия всегда будет экономически напряженной страной, что наглядно продемонстрировала история.

При прочих равных мы ни в развитии, ни в богатстве никогда не сумеем сравниться с мировыми лидерами Запада и Востока.

Мы будем все время, хотя бы чуть-чуть, отставать.

И все же у идеи технологического прорыва есть определенная перспектива.

Если простыми словами, то ее можно выразить так.

В очень давние времена перестройки на одном из многочисленных круглых столов, которые были очень популярны в те дни, мне был задан знаменитый американский вопрос: «Если ты такой умный, то почему не богатый?» И, помнится, не запнувшись ни на секунду, я выдал следующий ответ: «Не всем быть богатыми, кому-то надо быть умным». Даже сорвал при этом какой-то аплодисмент.

На полноценную национальную идею такой ответ, разумеется, не потянет. Однако смысловая начинка его, как нам теперь представляется, имеет серьезный цивилизационный потенциал.

Как солить огурцы

В 1866 году, когда прусские войска разгромили армию Австрийской империи при Садове, канцлер Бисмарк сказал, что «эту войну выиграли немецкие учителя». Подразумевалось, что качественный уровень немецкого солдата был значительно выше австрийского, что являлось следствием немецкого школьного образования.

В действительности это легенда. Бисмарк данную фразу не произносил. Эту мысль сформулировал совсем иной человек¹. Однако здесь важно другое. Уже в конце XIX столетия была осознана универсальная ценность образования. Образование — это не просто сумма конкретных знаний, необходимых для овладения какой-либо обыденной специальностью. Образование — это качество нации, проявляющее себя во всех сферах жизни — от политики до повседневности, от экономической деятельности до войны. Напомним, что советская модернизация образования, то есть переход ко всеобщему начальному, всеобщему среднему и затем — к массовому высшему образованию, породила пассионарную волну инноваций, длившуюся более полувека, вплоть до 1980-х годов. Советский Союз создал легендарный танк «Т-34», систему залпового огня «катюша», атомную и водородную бомбы, первым вывел на орбиту искусственный спутник Земли, первым запустил человека в космос. Напомним также, что политические, экономические и военные успехи Соединенных Штатов не в последнюю

¹ Автор этого высказывания — профессор географии из Лейпцига Оскар Пешель (1826—1875). В июле 1866 г. он писал в редактируемой им газете «Заграница»: «Народное образование играет решающую роль в войне... когда пруссаки победили австрийцев, то это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем» // Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. Автор-составитель Вадим Серов. — <http://www.bibliotekar.ru/encSlov/15/250.htm>.

очередь были обусловлены систематическим включением в американскую нацию образованных людей — эмигрантов со всего мира.

Вот мощный ресурс, не требующий (по крайней мере на первых порах) ни глобального экономического переустройства, ни резких политических сдвигов, чреватых потрясениями и революциями.

Когнитивная трансформация нации, повышение ее качества за счет резкого повышения уровня образования — вот путь, который современной России и вполне доступен, и остро необходим. Более того, на наш взгляд, это вообще единственный путь, обеспечивающий России реальное существование в будущем.

Причем вполне понятен и механизм реализации этой идеи. На самой начальной стадии она потребует модернизации аксиологического канона. Суть здесь заключается в следующем. У любого народа есть свой «ценностный свод», свой «этнический катехизис», свои «скрижали», куда входят базисные идеологемы его национального бытия. Такой канон, непрерывно транслируемый в обычную жизнь, определяет для нации весь ее поведенческий репертуар: что представителю данной нации можно и чего нельзя, к чему он должен стремиться и что категорически отвергать, какие принципы исповедовать и какие идеалы провозглашать. Подобным каноном в свое время была уваровская триада «православие, самодержавие, народность». Подобным каноном в советское время был «Моральный кодекс строителя коммунизма»: «коммунизм, интернационализм, коллективизм» и т.д.

В современной России такой канон тоже имеется. Правда, в него входит всего одно правило, которое можно сформулировать так: «будь успешным и не попадись». Иными словами: гребь, сколько хочешь, но соблюдай при этом правила теневой социальной игры. Понятно, что такой канон не является объединяющим, напротив, он продуцирует скрытую, но ожесточенную «войну всех против всех».

Создание нового аксиологического канона — это для России задача номер один. И, как нам кажется, задача эта вполне выполнима. «Позитивная реморализация»¹ уже не раз успешно осуществлялась в истории. В качестве примеров можно привести денацификацию Германии после Второй мировой войны, аналогичную демилитаризацию национального менталитета Японии — тоже после поражения ее во Второй мировой войне или, если брать мирный период, внедрение в 1960 — 1970 годы в американское общественное сознание представлений о равенстве чернокожих американцев (иноэтнических граждан вообще) с «коренными» белыми гражданами США, обеспеченное доктриной мультикультурализма.

Для современной России когнитивная трансформация может состоять в переходе от «аксиологии успеха», единственным критерием которой является денежный эквивалент, к «аксиологии интеллекта», критерием которой будут являться инновационные творческие достижения. Иными словами, доминирующий сейчас в западном мире «давосский дискурс», который акцентирует безликую финансовую «эффективность», должен быть преобразован в «российский дискурс», где эффективность является лишь следствием высокого нацио-

¹ Позитивная реморализация — термин Аркадия и Бориса Стругацких. См.: *Стругацкий А., Стругацкий Б. Трудно быть богом: фантастические произведения.* — М., 2006. С. 159.

нального интеллектуализма. Разумеется, это потребует переформатирования всего медийного пространства страны: достижения в интеллектуальной сфере должны пропагандироваться по крайней мере не меньше, чем победы футбольных или хоккейных команд. Однако как раз это нетрудно: «суверенная демократия», структурирующая сейчас российскую прессу, чрезвычайно удобный для подобной операции инструмент.

Очень перспективна в проектном смысле и этическая компонента такой трансформации. Она может быть представлена как переход от агрессивных маскулинно-милитаристских ценностей к ценностям толерантным, феминным, более соответствующим наступающей когнитивной эпохе. Или проще: как переход от конкурентных отношений, где «победитель» подавляет «побежденного», фактически уничтожает его, к отношениям комплементарным (отношениям социального дополнения), где «выигравший» сотрудничает с «проигравшим». Это, конечно, потребует, и нового модельного ряда социально-ориентированных эталонов (вместо олигархов — творческая элита), и нового репертуара основных поведенческих стереотипов. Одновременно потребуется и новая социальная навигация, прокладка типовых траекторий в российском экзистенциальном пространстве (школа — институт — научная деятельность — инновационный успех; или школа — институт — бизнес — опять-таки инновационный успех), которые выводят к социально-престижному статусу.

Разумеется, новый канон должен быть изложен в простейших идеологемах, доступных каждому россиянину. Как в советское время всем было понятно, что представляет собой советский человек, каковы его основные черты, так новый канон должен давать представление о том, что есть россиянин.

В принципе данный канон может стать главным критерием идентичности. «Российскость» (а возможно, и «русскость») уже не будет дробиться обособленными этничностями, как это происходит сейчас, а — интегрироваться по соответствию единому аксиологическому формату. Россияне (русские в том числе) вновь смогут стать универсальной нацией, каковой они успешно являлись в большей части своей национальной истории.

Однако самым важным в когнитивной трансформации россиян, вероятно, является то, что она соответствует русским историческим архетипам, то есть константам национального подсознания, сложившимся в процессе длительного этногенеза. В частности тому, что всякое богатство греховно, что у русского народа есть особое предназначение (свой метафизический горизонт) и что духовность (которую вполне можно трактовать как образованность и интеллектуализм) — это имманентное (врожденное) качество «русскости». В результате может возникнуть архетипический резонанс, являющийся одним из главных источников пассионарности.

Задачу, на наш взгляд, облегчает и то, что когнитивная трансформация необязательно должна иметь тотальный характер. Историю никогда не делает большинство. Историю делает пассионарное меньшинство, почувствовавшее и осознавшее вызов новой эпохи. В революциях и гражданских войнах, как правило, участвует не более 10 процентов всего населения, остальные, то есть подавляющее большинство, сидят по домам и ждут, когда это все кончится. То есть национальная идея первоначально должна охватить только эти 10 процентов. А далее начинает работать «демонстрационный эффект», описанный петер-

бургским экономистом Дм. Травиным¹. Провинции подражают столице, низшие социальные страты — высшим, народ — элитам, отставшие государства — государствам успешным. Психологическая индукция — это мощный процесс, которому почти невозможно противостоять. Как любил говорить первый и единственный президент СССР, тут «главное начать». Или, как формулирует это сам народ: «если огурец положить в рассол, то он становится соленым, независимо от собственного желания».

Русское чудо

Россия стоит на пороге больших решений. Она находится в ситуации глобального вызова, угрожающего существованию нации и государства. Причем угрожает России вовсе не Запад, как это может показаться на первый взгляд. Глобальный вызов сформирован будущим, которое уже наступает, преобразуя собой весь мировой ландшафт. А будущее, к сожалению, беспощадно. Оно запускает свои холодные щупальца в настоящее, и ему «наплевать на все заслуги прошлого — истинные или мнимые...», как выразились однажды Стругацкие. Будущее — единственный противник, которого победить нельзя. Любая нация, сколь бы сильна она ни была, вступив в схватку с будущим, обречена на тотальное поражение. Сражаться с будущим вообще бессмысленно. Будущее можно только принять — со всеми его особенностями, кажущимися порой абсолютно парадоксальными. Однако в этой парадоксальности и заключается жизнеспособность будущего. Будущее — это не только угрозы и потрясения, открывающие провалы дымящихся бездн, это не только вызовы, раскалывающие громадные этносоциальные материи, будущее — это еще и спектр новых возможностей. Выдвигая чудовищные проблемы, будущее одновременно указывает и ресурсы, с помощью которых эти проблемы можно преодолеть. Эти ресурсы, как правило, неочевидны, они так же парадоксальны, как вызовы, и традиционному сознанию их так же трудно принять, тем не менее они неизменно наличествуют, и потому в будущем неизменно наличествует некая положительная перспектива.

У России сейчас есть три версии дальнейшего существования.

Можно, конечно, рассчитывать на «русское чудо». То есть на знаменитый русский «авось», который помогал нации выжить в исторически трудные времена. Можно, конечно, по-прежнему ориентироваться на прошлое и, красуясь державным величием, полагать, что бог, с которым, как известно, граничит Россия², в итоге спасет ее несмотря ни на что. Как писал Алексей Толстой: «Уезд от нас останется, — и оттуда пойдет русская земля...» Не хотелось бы, правда, чтобы от русской земли остался один уезд. И к тому же здесь следовало бы иметь в виду, что «хождение по мукам» может продолжаться очень и очень долго. Кстати, знаменитое «венское легкомыслие» (смысловой аналог того же «авось»)

¹ Травин Д. Россия на европейском фоне: причины отставания. 2. Как мир становится развитым? // Звезда. 2013. № 4. С. 186—197.

² Рильке писал, что Россия граничит не столько с другими странами, сколько с Богом. См.: Рильке Р. М. Как на Руси появилась измена // Рильке Р. М. Проза. Письма. — М., 1999. С. 174—179.

и такое же непреклонное убеждение, что бог на ее стороне, не помогло в свое время выжить Австро-Венгерской империи.

Можно, напротив, со множеством оговорок, как это уже происходило не раз, придерживаться стратегии классической европейской модернизации: принимать соответствующие законы, наращивать соответствующие социальные институты, надеясь в конце концов получить желаемый «западный» результат. Однако и тут следовало бы иметь в виду, что «догоняющая модернизация», путь, которым Россия шла в течение почти всей своей послемонгольской истории, несомненно, обеспечивал развитие и подъем экономики, но никогда не выводил страну в число экономических лидеров. Военных — да, технических — время от времени, экономических — нет. И это вполне понятно. Следование чужим прописям — ни в социальном творчестве, ни в художественном, ни в научном — никогда не приводило к подлинному успеху. Ученик при этом неизбежно оставался учеником, стоящим на ступеньку, на две ниже учителя. Превзойти учителя он мог лишь в том случае, если начинал делать что-то свое.

И наконец, Россия может избрать третий путь. На метафизический вызов будущего она может дать такой же метафизически мощный ответ. На наступление когнитивной эпохи она может ответить стремительной модернизацией человека. Мы можем создать новую нацию, новую цивилизационную сущность, совершенно новый народ, прозревающий в будущем не столько угрозы, сколько — перспективные и увлекательные возможности. Народ, который раздвинет границы унылого традиционного бытия. Народ, который утвердит себя в мире пленительной силой разума, а не устрашающей силой межконтинентальных ракет.

Это тоже будет своего рода «русское чудо», но — рукотворное чудо, созданное нами самими.

На вызов будущего мы можем ответить национальной идеей, которая просияет ярче тысячи солнц.

О красоте

Два письма на одну тему

Геннадий Прашкевич

Нечто, обращенное не ко мне

Дорогой Алексей!

Я рос в провинции и долгое время не мог понять, почему жирная топкая грязь на проселочной дороге после дождя при лунном свете поблескивает так волшебным, так необыкновенным, а такой же отблеск на случайном стеклянном сломе сладко и печально щемит сердце. Меня не трогали цветастые ленты на платьях каких-то местных фольклорных баб, но до дрожи восхищал огромный рыжий бык — живое воплощение тупой силы и поразительной животной гармонии. Кудрявый лоб, крутые рога. К быку тянуло подойти поближе, но я боялся. Безумно боялся. Возможно, именно эта боязнь и определила мое отношение к истинной, непридуманной красоте. Я восхищался и был полон тревоги. Я любил озера, камыши, темный тальник, там чудились мне странные вещи, хотя на поверку часто не оказывалось ничего, кроме обыкновенных переплетенных стеблей, а иногда солнечной ряби, играющей на илистом дне, — но эта рябь сама по себе была миром. Другим миром. Я мог часами всматриваться в темную воду, пока она совсем не тускнела. Приятели крутили пальцем у виска, когда я любовался окаменевшими ракушками, выбитыми из мощных известняковых обрывов почти незаметной местной речушки. Приятели считали мои находки никчемными, неинтересными, они не слышали за ними плеска кембрийских морей, не видели блеска сырых песчаных девонских отмелей. Впрочем, и для меня звуки, краски, некие отблески, а затем и цельные ландшафты начали явственно возникать лишь по мере знакомства с научными работами (о, это счастье прочитанных книг!) Вильяма К.Грегори, Л.С.Берга, А.Ш.Ромера, О.Абея, И.А.Ефремова и других исследователей. Долгое время перламутровые спирали аммонита казались мне чем-то вроде драгоценных поделок, просто — мастер неизвестен. Долгое время каждую окаменевшую (и живую) ракушку я воспринимал как некое чудо, мне в голову не приходило, что доисторические (и современные) моря и океаны набиты ими густо и тесно. Да и кто, думал я, мог в те безумно далекие эпохи любоваться необыкновенными перламутровыми

Прашкевич Геннадий Мартович — прозаик, работающий главным образом в жанре научной фантастики. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

созданиями? Ведь там никаких людей не было, никакого разума не было, так зачем, для кого предназначалась вся эта роскошь? К чему эта бессмысленная расточительность? Мог ли аммонит любоваться другим аммонитом или раскачивающимися в придонных течениях морскими лилиями? Могли разве тупые цефалоподы восторгаться цветными панцирями трилобитов? Разве не для человека мыслящего порождена вся эта красота, разве не человеком мыслящим она, собственно, вызвана к жизни?

В школьные годы я с волнением рылся в старых книгах, в забытых журналах с забытыми авторами. Пыль меня не пугала, запах прошлого меня томил. Очарование... нет, не вечности... чего-то другого... чего-то, обращенного *не ко мне*, пугало и восхищало. Я остро чувствовал, как мало людей готово разделить это мое ощущение.

Шло время. Я видел доисторические томские писаницы, видел не менее древние писаницы в Хакасии, там на некоторых скучающие местные пастухи выбивали простые матерные слова. Чувство близости к миру (единому, не уходящему, лежащему вокруг) преследовало меня. Из детства я входил в мир взрослых, приближался к людям, все ближе и ближе оказывался к тем самым людям, которые уже не выбивают в каменном веке на каменной стене бегущих северных оленей или таинственные спирали, а уже на всем этом выбивают слова матерные.

Я вырослел. Менялись привязки и ориентиры. Привлекало то, что вчера оставалось просто незамеченным. Активно смазывалось все то, что ранее искренно восхищало. Да и как не взрослеть? Вот тебе нравится девушка, а ей не нравится отпечаток ажурного древнего растения на куске каменного угля, которым ты хвастаешься, — он пачкает пальцы. Тебя отталкивает сладкая гламурная картинка в модном журнале, а твоя девушка расцветает, по ее глазам видно, что она хочет быть именно такой, как эта пошлая фотомоделль. И постепенно дивная красота озера, вечернего неба, плывущих по небу облаков, красота, сжимавшая сердце, начала отходить, таять, забываться, стремительно мелькнувшая ящерица заставляла только вздрагивать (твоя девушка испугана), а раскрашенная фотография вульгарной эстрадной дивы вызывать интерес. Ведь не каждый умеет ценить удлиненные фигуры Модильяни или бледных девушек, ведущих хоровод у тихого водоема, Борисова-Мусатова, ты сам в результате давления извне начинаешь поддаваться чужому влиянию.

И ты начинаешь стесняться врожденного вкуса.

Волшебный зеленый излом бутылочного стекла в лунном свете начинает казаться пошлостью и никчемностью, тыходишь в мир, создаваемой всеми нами, и очень трудно остаться в нем самим собой, очень трудно убедить себя в том, что именно вечное — вечно. Да, матерные слова на хакасских писаницах бросаются в глаза, но может так и надо? Люди — живые. Они выражают живые чувства. Все равно ведь за всю историю существования Человека мыслящего ни один Дали, ни один Малевич не сумел обесценить росписи на пещерных сводах, свести окружающий мир к черному квадрату или расплывшемуся времени.

Тем не менее, став человеком общества, я сам испытал восторг преображения.

Что мне росписи каменного века, что мне красота вымерших трилобитов! Теперь я сам могу изменять, преображать мир (хакасские пастухи ведь тоже преображали его — своими матерными росписями), сам могу создать нечто, что встанет над древностью и восхитит многих. Создать нечто в тысячу раз более

чудесное, чем медленно падающий снег или засохшая коровья лепешка на утренней пыльной дороге — вот мечта художника. Я (говорю как бы от имени всех людей) теперь сам могу написать, нарисовать, спеть нечто столь прекрасное, о чем всякий скажет: вот она наша *человеческая* красота, мы больше не нуждаемся в подачках природы!

Какое странное и чудесное открытие!

Но однажды осы построили под письменным столом в моей комнате огромное как бы по виду и цвету бумажное гнездо. Я их не трогал. Гнездо ошеломило меня неестественной *нечеловеческой* белизной и формой. И вдруг предательски мелькнуло в сознании, что создать вот такое я все-таки не могу. И никогда не смогу, как бы ни старался, потому что я не оса. Я всего только человек. Я боялся открытого мною творения, мне никому не хотелось показывать осиное гнездо. Теперь я видел в нем что-то грандиозное, какой-то знак, намек на то ли теряемое, то ли обретаемое мною. Впервые пришло в голову: это гнездо строили *не для меня*, его строили вообще *не для человека*. Это гнездо ужасно, но и прекрасно. Оно восхищает, но и пугает, как живая змея. Вот он один-единственный мир на всех, я ведь не знаю, обрадовал или испугал бы меня перламутровый блеск живого аммонита, если бы мы встретились с ним в доисторическом океане. Глядя на осиное гнездо, свитое под моим рабочим столом, я впервые явственно понял: красота живет сама по себе. Она не зависит от меня. Я писатель, я всю жизнь думал, что это именно я, писатель, определяю (даже создаю) красоту. Но опять и опять я убеждался, что истинная красота пугает. Она даже ужасает. Она настолько величественна и грандиозна, что переполняет душу, ты перестаешь ее воспринимать, иногда тебе даже хочется забыть увиденное. Потому что обыкновенное осиное гнездо страшней и величественнее всех инсталляций гугенхаймовского музея.

Да, осиное гнездо отталкивает, но в нем есть подлинность.

Вот я читаю в статье палеонтолога И. А. Ефремова: «Нам не удалось добыть каких-либо доказательств окраски тела динозавров. Все же биологический подход к этому вопросу дает возможность предположить, что в эпоху динозавров существовало огромное разнообразие окрасок, в известной степени, аналогичное таковому у современных птиц и тропических ящериц. Зрение, ведущее чувство у зауропсид, вне всякого сомнения, обусловило появление окрасок как защитных, так и очень ярких, возможно сопряженных с различными выростами, необходимых для сигналов стадным животным...»

Но я еще долго оставался в странном внутреннем убеждении, что все еще могу творить не хуже природы. Да что там — лучше, чем природа! Ведь природа природствует, а я *думаю*!

И все же любой, даже самый талантливый текст рано или поздно забывается, а вот осиное гнездо — нет. Такое хрупкое, оно навсегда — и в памяти и в бесчисленных повторениях. Как же достичь того, чтобы небо на холсте оставалось живым, как достичь того, чтобы строка стихотворения что-то меняла в душе, чтобы русалка переставала казаться просто утопленницей? Ведь я художник. Я создаю красоту. Я беру кисть, перо, карандаш, я рисую бурлаков на Волге или черные квадраты, пишу расплывшееся время или кубистических женщин на фоне пустоты, или тихий пруд под косогором, и они восхищают, но... забываются, забываются... а осиное гнездо живет, и, как всякая истинная красота, вызывает изумление и ужас.

Я путался во всем этом многие годы, потому что творчество (любое) невозможно без красоты, без ее (пусть даже поверхностного) понимания, с годами привыкаешь к этой — тобою придуманной, написанной, нарисованной красоте, но однажды природа возмущается и возвращает тебя к началам.

В октябре прошлого года я возвращался из Вьетнама.

Мы летели где-то над Лаосом, спускалась ночь, шторы иллюминаторов были опущены, в салоне многие спали. Моей жене стало плохо. Она многие годы, десятилетия была и остается моей проводницей в этом мире, и ужас остаться *одному* мгновенно заполнил мою душу. К счастью, все обошлось. Жена, наконец, забылась, уснула, а я повернулся к иллюминатору и приподнял шторку.

И испытал потрясение. Одно из самых сильных в своей жизни.

Снизу с земли на огромную высоту поднималась сплошная вертикальная стена мощных кучевых облаков. Солнце опустилось за них, и облачная стена была абсолютно черной, она была даже не графитной, даже не траурной, она были невыносимо, абсолютно черной, а поверху бежала бронзово-золотистая полоска, ужаснувшая меня не меньше, чем сама эта непробиваемая чернь. Я не знаю, кто поставил для меня этот спектакль. Не знаю, почему он был так чудовищно прекрасен и страшен. И зачем был поставлен?

И все же догадываюсь.

Алексей Буров

Ответ, полученный Иовом

Не смогу не спросить вслед за Вами, Геннадий Мартович: что это было? И кто-то ответит: «Ничего особенного, такая игра воды, воздуха и света. Можно придать этому тот смысл, что захочешь». А другой выдержит паузу и спросит: «А можно ли вообще сказать хоть что-то адекватное увиденному? Не лучше ли ограничиться молчанием?» А еще кто-то предложит подумать о знаках, что даются неспроста. А четвертый улыбнется и переведет разговор на другую тему.

Но во что превратилась бы философия, если б она следовала только одному из таких путей, если бы так или иначе не ставила она в центр своего внимания тайну красоты? Во что превратилась бы жизнь, если бы незаметно исчезла из нее, скрылась от человека эта грозная красота, о которой Вы так впечатляюще рассказали? Не потеряла ли бы она питающий корень, без которого все в жизни обесмысливается, становится ничтожным и пустым?

Буров Алексей Владимирович — кандидат физико-математических наук, философ, научный сотрудник Национальной ускорительной лаборатории им. Ферми, США. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Добродетельный, богатый, почитаемый согражданами Иов, о котором повествует одна из древнейших ветхозаветных книг, раз за разом стал терять все: имущество, детей, здоровье, положение в обществе. Почетный гражданин, если не царь, оказавшийся выброшенным на пустырь бомжом, мучился непониманием: как же так? Добрый Иов знал, что ни в малейшей степени не заслужил такой кары. Неужели Тот, в Чьих руках жизнь человеческая, неосведомлен или несправедлив? Эта последняя мысль была Иову тяжелее песка морского, страшнее всех несчастий. Иов звал Бога выслушать и ответить. И ответ был дан.

«Господь отвечал Иову из бури и сказал: кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла? Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне: где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости? Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда Я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его, и утвердил ему Мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим? Давал ли ты когда в жизни своей приказания утру и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых, чтобы изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда, и чтобы отнялся у нечестивых свет их и дерзкая рука их сокрушилась? Нисходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной? Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это. Где путь к жилищу света, и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико».

Книга Иова пришла мне на ум неспроста: она вся пронизана именно тем переживанием грозной и трепетной красоты мира, о которой Вы говорите. Господь отвечал Иову из бури — не была ли та «буря» черной стеной грозных туч с золотистой каемкой поверху? Иов требовал открыть смысл обрушившихся несчастий, а то и вовсе отменить их, сделать небывшими. Он не остался без ответа, но что за странные слова он услышал? Не найти в них ни объяснений, ни оправданий случившемуся. Вместо таковых и вроде бы совершенно без всякой связи с проблемой Иова начинает разворачиваться перед страдальцем гигантское пространственно-временное полотно Вселенной, с ее звездами, водами, зорями, снегами, зверьем, тайнами жизни и смерти, включая и таинственные слова о предвечности самого Иова. Все это очень красиво и загадочно, но ведь совершенно не идет к делу, казалось бы. Не о звездах и зверях ведь Иов возопил, а о несправедливости, о горчайшей несправедливости! А ему в ответ — путешествие по Вселенной, с картинами ее величия. Да услышал ли Бог Иова, не перепутал ли чего Ветхий днями?

Почему мир несправедлив, почему несчастья рушатся на голову праведника, а злодеи процветают? А вот попробуем представить, что мир с самого начала был устроен так, чтобы такие упреки были невозможны, чтобы подозрение в несправедливости небес не могло даже и закрасться в душу, что праведники преуспевают, а злодеяния наказываются. Украл чего — получай неудачи в делах. Соврал на суде, засудил невиновного — вот тебе потеря здоровья. И наоборот.

Ведь хорошо было бы, правильно, разумно. Вообще все были бы в таком мире успешными праведниками, даже состязающимися в праведности, никто ж себе не враг. По впечатляющей красоте дома безошибочно угадывался бы лучший человек города. А если иногда увидишь все же нищего или больного — так и знай, что перед тобой редкостный идиот, решившийся все-таки на злое дело и не раскаявшийся. Вот в таком мире несчастья Иова были бы невозможны, небесная справедливость была бы и земной, и молить о том Бога имело бы смысла не более, чем молить Его, скажем, о законе всемирного тяготения.

Знаете ли Вы, Геннадий Мартович, человека, который бы согласился жить в таком правильном мире? Я не могу такого себе представить, хотя в чем, собственно, дело, что плохого в этом царстве всего хорошего? Разве не такой мир был идеалом Иова или Ивана Карамазова, тем идеалом должного, на фоне которого жгли сердце бессмысленные страдания праведников и детей вкупе с процветанием злодеев? Но вот спроси того же Ивана — а не утопить ли этот недобрый мир начисто, не сделать ли его вовсе небывшим, не устроить ли вместо него правильное царство гарантированного разумного воздаяния? Пойдешь туда жить, в это разумное царство, Иван?

Что пропадает вместе с установлением гарантированной справедливости?

Может быть, свобода? Но ведь на самом деле пропадает лишь возможность безнаказанных злодейств, все остальные свободы остаются на месте. Свобода творить добро даже спонсирована. Свобода творчества ученых, инженеров, художников, философов — вся — вроде бы там же, где и была. Ну а неотвратимость наказаний за злодеяния вместе с избавлением от безвинных страданий разве не составляют постоянную мечту человечества? И раз человечество с такой задачей не очень справляется, то ее изначальное решение Создателем было бы очень правильным делом, не так ли? Что же тут не так? Почему отвращается душа от этого правильнейшего из миров?

Думаю, дело в том, что в таком мире человек попросту был бы невозможен: там ему нет места, нет необходимой для нас пустоты, неопределенности, вопроса. Неотвратимость наказания и поощрения означали бы лишение человека его этической субъектности, освобождение от нравственной проблематики, снабжение человека уже готовым импульсом к действию, от которого он не может, не должен, не хочет уворачиваться. Этическое, однако же, составляет исходную, важнейшую и гигантскую часть субъектности, творчества. А потому лишение этической субъектности не может не обернуться лишением субъектности вообще. Такой «человек» как был в животном царстве, так и остался бы там, то есть человеком бы не стал. Освобождение от этической свободы с ее трудными вопросами с неизбежностью обернулось бы освобождением от свободы вообще, а значит, от творчества и истории. Подобную ситуацию можно видеть в тоталитарных обществах, рожденных тем или иным культом справедливости: они погружаются в застой. Мертвая хватка принципа гарантированной справедливости совершенно наглядна уже в проекте платонова Калиполиса, города «Государства», чье имя я перевел бы как Справедливоград. Уничтожение семьи, цензура поэзии, музыки и философии, необходимость государственной лжи, выводимые Сократом как обязательные условия гарантированной справедливости, есть, прежде всего, величайшее прозрение и предупреждение античного гения, точно указавшего связь принципов и следствий. Последовательное продумывание деталей государственного устройства, максимально гарантирую-

шего справедливость, приводит к выводу о необходимости уничтожения, выхолащивания, подмены ради этой цели тех сфер жизни и духа, что наиболее тесно связаны с переживанием тайны и красоты мира: семьи, поэзии, музыки, философии. А коли так, то не яснее ли становится ответ, полученный совсем в иное время и в ином месте воззавшим к небесам Иовом? На вопрос о несправедливости мира последовал ответ, раскрывающий его таинственную красоту. В своей полноте космическая красота открыта лишь ее Автору. С кем же разделить Ему, пусть и отчасти, радость ее созерцания, как не с тем, кто сотворен по образу и подобию Небесного Отца? Таковые образ и подобие означают субъектность вообще и этическую субъектность в частности. А значит, небеса не должны разверзаться над головами грешников, сколь бы тяжки ни были их грехи, и праведники вкупе с детьми не должны быть избавлены от незаслуженных страданий.

Но ведь и справедливость есть своего рода красота, и она по-своему прекрасна.

Беда идет не от справедливости самой по себе, но от ее абсолютизации, требующей всего ради ее торжества. Несовместим с творчеством принцип гарантированной справедливости, будь он обеспечен законом природы или общественной организацией. В премудрости Своей Творец не дал этому принципу полной силы в отношении человека. Солнце равно согревает праведных и грешных; ни дождь, ни саранча не делают разницы между полями тех и других. Голос совести иногда звучит, но обычно не настолько властно и не настолько ясно, чтобы лишить человека свободы воли. Под кажушимися равнодушными небесами нередко бедствуют праведники и торжествуют злодеи. Справедливость есть вечная проблема, взывающая к умам и сердцам, требующая решения, вызывающая протест и восстание и соблазняющая идеями своего принципиального решения. Может быть, главное, что спасает человека от этого губительного соблазна, — переживание таинственной красоты мира, переполняющей небо и землю, то мироощущение, что живший много позже Иова Альберт Эйнштейн называл, указывая и на ту книгу, космическим религиозным чувством.

Скажи мне «Здравствуй!»

«Россия — страна многонациональная. Здесь люди разных национальностей веками жили рядом друг с другом и находили общий язык. Сегодня те, кого мы еще недавно называли жителями братских республик, вдруг стали непонятными мигрантами.

Мы подумали, если объяснить, кто такие в действительности мигранты, почему они были вынуждены уехать из родных мест, если рассказать детям их истории и приоткрыть дверь в их культуру, если честно признаться в том, что наши предки (за редким исключением) тоже когда-то были мигрантами, вокруг станет меньше страха и больше тепла».

Эта задумка издательства «Самокат» воплотилась в замечательную книжку — «Скажи мне "Здравствуй!"», герой которой — московский мальчик Вася за несколько дней не только повстречал новых друзей, но и узнал много интересного о тех странах, откуда они приехали.

А началась эта увлекательная история так.

За окном накрапывал дождик. Падали листья. Во дворе дворник в оранжевом жилете мел черный асфальт.

Капли на стекле ползком обгоняли друг друга.

Если на каплю смотреть, она ползет быстрее, я проверял.

Мамы с папой нет — они три дня назад в Грецию уехали... Целых шесть лет в отпуске не были. Но к моему дню рождения обещали вернуться.

Тихо. Только тетя Геля на кухне посуду моет.

Тетя Геля вообще-то мне двоюродная бабушка, просто очень молодая. Она приехала из Украины. Из Донецка. По телевизору говорят, там сейчас война.

А тетя Геля говорит — «дурдом». Вообще-то она со мной сидеть приехала, не вовремя я заболел, а тут эта война...

Дождь кончился, появилось солнце, лужи засверкали. Дворник мел их метлой и солнце выметал.

Тетя Геля заглянула в комнату.

— Вась, у нас кран сломался. А в вашем ЖЭКе трубку не берут.

— И что делать?

— Сами к ним пойдем. Температуры у тебя уже сутки как нет. Пора и на свежий воздух.

Вышли мы из дома, а куда идти — не знаем. Дворник у подъезда метлу отряхивает, черными глазами глядит. И подозрительно так улыбается. Я на всякий случай за тетю Гелю спрятался. Мама с чужими никогда не разговаривает, тем более с дворниками. И мне запрещает.

А тетя Геля — прямо к нему:

— Ас-салому-алейкум, уважаемый. А где у вас ЖЭК?

— Алейкуму-ас-салом, — отвечает он, — вон в том доме, за школой.

Надо же! Вежливый какой! И улыбчивый...

Выходит, тетя Геля слова особенные знает? Пароль для дворников? Иначе чего он развеселился?

— А что ты ему сказала? — шепчу.

— Добрый день на таджикском, — шепчет в ответ тетя Геля. — Я же бухгалтером в стройбригаде полжизни проработала. Еще при Советском Союзе. Кого только не было! Я с любым договорюсь.

— А меня научи!

Тетя Геля глянула темными глазами, солнце ее рыжие волосы подсветило — как лампочкой, да как скомандует:

— А ну стань прямо, левую руку на сердце положи. И скажи: Ас-салому-алейкум!

Я и сказал. Тут дворник отставил метлу, протянул мне ладонь и говорит, что зовут его Алишер, что он очень рад знакомству, а если помощь нужна — можем обращаться в любой момент.

Ну ничего себе! Работает!

Пришли мы в ЖЭК. Я во рту волшебные слова повторяю, ассалямничаю. Тетя Геля пошла вперед, а я у двери затормозил. Стоит там тетя, симпатичная, в клетчатой рубашке, в одной руке ведро с краской, в другой валик на ручке. Круглый, длинный, зеле-е-еный! Я даже не заметил, как тетя Геля в ЖЭК вошла, — так покрасить захотелось. Раньше я от мамы вообще не отходил, чтоб она не беспокоилась. Но ведь я тогда и волшебных слов не знал...

— Ты где пропал, Вася? — выглянула тетя Геля.

— Иду, — сказал я, а сам шепчу: ас-салому-алейкум!

А тетя знай себе красит.

— Ас-салому-алейкум!!!

Она засмеялась:

— Это ты мне кричишь? Тогда уж — «бунэзиуа»!

— Как-как?

— «Бунэзиуа» — «здравствуйте» по-молдавски.

— Ну тогда бунэзиуа!

Наша электронная очередь стояла намертво, и, чтобы в духоте не сидеть, я остался с Аурикой. Так звали тетю-маляра. Она валиком поделилась и, пока я красил дверь, мне про Молдову рассказывала — интересно!

Дверь я покрасил хорошо и совсем не испачкался! А ботинки и так были зеленые. Пошли мы тетю Гелю искать, а ее нет. И вообще никого нет. Я даже испугался. Но Аурика отвела меня в кабинет начальника ЖЭКа. Смотрю, сидит тетя Геля, а напротив нее — полдняньки в костюме. А вторая половина в джинсах под столом ногой качает.

— Как нет мастеров? — ласково спрашивает тетя Геля. — А вы поищите.

Я Аурике руку пожал — попрощался, а сам тихонько сел на стул у двери.

— Нет мастеров совсем, — повторил дяденька и руками развел. Широко,

вот как нет у него мастеров. И нога тоже — туда-сюда под столом. Нет, мол. Тут у него прямо под рукой зазвонил телефон.

Он трубку взял и говорит:

— Алло? О, исэнмесез! Да, сейчас на обед пойду.

И давай болтать непонятно и интересно. Жалко, коротко.

— Это вы на каком языке говорили?

Тетя Геля аж подпрыгнула. Она меня не заметила. Дяденька улыбнулся:

— На татарском.

— Исэнмесез, — повторил я. — А вы что-нибудь про свою страну расскажете? Про Молдову мне Аурика все рассказала! И про гладиаторов, и про черешню! Меня Вася зовут. А это моя бабушка, то есть тетя Геля.

Дяденька на часы поглядел и сказал, что его зовут Ильдар. Достал из стола баранки и колбасу и, пока мы чай пили, рассказывал про Татарстан. А потом нашел мастера — на завтра!»

А еще Вася повстречался с сантехником из Белоруссии и компьютерным мастером из Казахстана, таксистом из Азербайджана и тренером по ушу из Китая, детским доктором из Чечни и зубным врачом из Грузии, ювелиром из Якутии и учителем музыки из Армении... С тетей Гелей с Украины, которую уехавшие в отпуск родители попросили присмотреть за сыном, он и вовсе не расставался.

Каждый из новых знакомцев учит Васю здороваться на родном языке и рассказывает о своей родине. Не только о том, как найти его страну на карте, сколько в ней жителей, сколько километров от ее столицы до Москвы, не только о национальной кухне, костюмах и праздниках, но и о том, скажем,

что название столицы Таджикистана — Душанбе — в переводе на русский значит «понедельник»,

что татары всегда приходят в гости в назначенный час, опаздывать — значит не уважать хозяина,

что Беловежская пуца — самый большой лес не только в Белоруссии, но и во всей центральной Европе — это осколок первобытного леса,

что папаха в Азербайджане не просто головной убор, а символ мужской гордости, лишиться папахи значило потерять лицо,

что на китайца никогда нельзя показывать указательным пальцем — для этого служит открытая ладонь, обращенная вверх,

что Армения — первое в мире христианское государство, его символ — абрикосовое дерево, а настоящий армянский хлеб — лаваш — в длину около метра,

что по украинскому поверью кукушка владеет ключами от рая...

... и еще многое, многое другое.

Автор книги — детский писатель Алексей Олейников — гость этого номера.

Алексей Олейников:

«Мигранты — это не обуза, это на самом деле подарок»

— Как возникла идея этого проекта?

— Все произошло примерно три года назад. Придумала этот проект — его идею Ирина Балахонова, человек и «Самокат» в одном лице. Мне предложили попробовать. Я захотел. Мне всегда интересны новые жанры и форматы, это профессиональный вызов: справлюсь ли?

Тогда я подумал: как здорово, давно нужно такую книжку сделать. Сейчас думаю — нужна вторая часть, «Вася идет в школу». Тема обширная. Можно, например, писать о каком-то отдельном регионе, потому что карта миграций различна в разных областях нашей страны. Или сосредоточиться на внутренней миграции — причинах, последствиях. Рассказать обо всех национальностях, которые живут в России, — или взять только внешнюю миграцию.

— В этой книге автор, художник и редактор создают совместный мир, общую историю. У вас уже был раньше подобный опыт работы?

— Были книги, где тоже рассказывалась история, дополненная, «достроенная» — иллюстрациями, делающими ее мир более живым и объемным. Но «Скажи мне...» от них отличается. Здесь «защит» и большой познавательный пласт. История, рассказанная на нескольких уровнях. Поэтому работа художника еще более значима.

— А как вы отбирали героев для этой книги?

— Честно сказать — по принципу «кого вы можете встретить на улице». Конечно, в голове были цифры, данные о численности разнообразных московских диаспор; и, разумеется, встретить выходца из Таджикистана или Азербайджана у нас легче, чем жителя Аргентины. Это мы учитывали. Но выбирали мы (во всяком случае, я) интуитивно. Хотелось дать наиболее полный спектр причин и типов миграции, поэтому нам нужны были мигранты внутренние и внешние, из стран бывшего СССР и дальнего зарубежья. Поэтому у нас сложился такой пазл. А мог быть совсем иным — это ведь всего несколько дней из жизни мальчика. На следующей неделе он мог повстречать совсем других людей.

— Книга «Скажи мне "Здравствуй!"» рассказывает о приезжающих в Москву. А какие проблемы у тех, кто уезжает из России в другую страну? Нужна ли такая книга?

— О, я бы с большим интересом прочел про мальчика Петю, который уехал жить в Америку, например. Или во Францию. Это очень интересно, и я даже не знаю, кому больше — нам, тем, кто остался, или тем, кто уехал. Там же история выворачивается наизнанку: это ты приехал в чужую страну, ты погружен в чужую культуру, ты вынужден выживать, привыкать к другому языку, образу мыслей, манере поведения людей.

— А как было в вашем детстве? Имело значение, «своя» культура или «чужая»?

— Я родился в Москве, как и Вася. Родители мои с юга России, у папы в роду кубанские казаки, а мама из Ставропольского края, где и по сей день живет часть нашей большой семьи. В детстве — и в московском, и в ставропольском — я не помню, чтобы мы делили друг друга по национальностям и культурам. В детстве имеют значение совсем другие качества, и, если взрослые не обращают внимание детей на национальность, сами дети об этом не думают. Помню, когда я впервые понял, что есть Другие Люди: когда возле нашего ставропольского городка встал цыганский

табор. Мне казалось тогда, что он очень большой — палатки, палатки, машины... По дворам ходили цыганки в ярких платках, синих с цветами, и выпрашивали еду. Бабушка дала им пяток яиц, и мне кажется, что она даже ничего не говорила. Но отношение у нее было к ним совсем иным, не таким, как к соседке, которая заскочила «позычать» пару картошин для обеда.

Отчетливо помню, что я это уловил, это чувство Другого.

— **Много ли мигрантов в вашем окружении? У героев книги есть прототипы?**

— Хороший вопрос. Мне приходится делать усилие, чтобы сообразить... Честно говоря, я не всегда могу точно разобраться, кто мигрант, а кто коренной житель. Подозреваю, что последние в меньшинстве. Москва большой город. Мне кажется, важнее, что ты делаешь и как общаешься и обращаешься с людьми, чем то, откуда ты. Прототипов у героев нет, это собирательные образы.

— **Мальчик Вася теперь знает и как зовут дворника во дворе, и все-все-все про его культуру. А вы знаете, кто дворник у вас во дворе, откуда он, как его зовут и как сказать ему «здравствуй»?**

— У нас во дворе дворники меняются, как узоры в калейдоскопе, так что у меня даже времени с ними познакомиться нет. Но я знаю, как зовут дворника в школе, где я работаю. Его зовут Феликс, он из Казахстана.

— **Как вы думаете, сами мигранты хотят, чтобы их дети интегрировались, чувствовали себя «местными»?**

— Я вижу, что они прилагают огромные усилия, чтобы дети вошли в наше общество. Их дети часто гораздо прилежнее учатся в школе и гораздо более мотивированы, чем наши, «коренные». Тут же надо понимать, что мигранты — это не обуза, это на самом деле подарок. Самые активные, самые сильные, самые умные и находчивые — те, кто сумел приехать, привыкнуть к другой среде, найти работу, жилье, обрести контактами. Как можно их отталкивать?

— **Вы работаете в частной школе. Учатся ли в ней мигранты?**

— Школа частная и платная, поэтому детей мигрантов в том узком смысле, в каком его понимают сейчас, у нас нет. Но, как и во всякой школе, у нас учатся дети разных национальностей. Есть дети, которые жили долго за границей, например, в Новой Зеландии, или дети-билингвы, у которых кто-то из родителей иностранец. Попадая сюда, они оказываются точно в такой же ситуации, что и дети «гастарбайтеров». И так ли важно, что ты говоришь на английском, а не на таджикском, — если тебя не понимают?

Очень многих сбивает с толку слово «мигрант», особенно когда оно употребляется по отношению к жителям нашей страны. Шовинизм, московский снобизм — эти эпитеты я уже успел услышать в адрес книжки. По поводу Москвы мне крыть нечем — мальчику Васе надо было где-то жить, и он стал жить в Москве. Потому что это самый большой город страны, куда едет больше всего людей, и это мой родной город, который я знаю. А то, что термин «мигрант» понимается исключительно в узком смысле — как приезжий рабочий из стран Центральной Азии, — это уже трудности восприятия читающих. В книге мы специально прописываем, в отдельном блоке, причины миграции — культурные, политические, образовательные, трудовые и так далее. Мы, создавая эту книгу, понимали слово «мигрант» в широком смысле — это человек, переехавший из своего дома в другое место, чтобы жить и работать. Понятно, что наша позиция уязвима: жители России не ограничены в праве на перемещение, и для Конституции несть ни эллина, ни иудея. Поэтому ни мастер Тыгын из Якутии, ни дядя Ильдар из Татарстана по строгому определению мигрантами — то есть трудящимися, которые переехали для работы в другую страну, — не являются. Но, повторяюсь, для нас было важно показать, что каждый может оказаться в такой ситуации, даже не покидая своей страны.

Вопросы задавала Мария СОБОЛЕВА

Комбинации форм и смыслов в мире хаоса и неврастении

Литературные итоги 2015 года

В этом номере — ответы Николая АЛЕКСАНДРОВА, Петра АЛЕШКОВСКОГО, Евгении ВЕЖЛЯН, Анастасии ЕРМАКОВОЙ, Евгения ЕРМОЛИНА, Ольги ЛЕБЕДУШКИНОЙ, Вадима МУРАТХАНОВА, Гузели ЯХИНОЙ,

На этот раз мы предложили участникам заочного «круглого стола» три вопроса для обсуждения:

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2015 года?
2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?
3. Чем вам запомнится Год литературы?

Николай Александров, литературный критик, г. Москва

«Груз неразобранного прошлого может преобразить только новый логос»

1. Я не могу сказать, что этот год для меня был богат литературными открытиями. Причем это касается не только отечественной литературы, но и зарубежной беллетристики. Произведения, о которых говорили в этом году, не так уж многочисленны. Некоторые были ожидаемы, а потому даже несколько разочаровали (как роман «Шегол» Донны Тартт), некоторые стали неожиданно, как книги Энтони Дорра («Весь невидимый нам свет», «Собиратель ракушек»), некоторые приятно удивили (как роман Ю Несбё «И прольется кровь») — это то, что мне приходит в голову сразу, если говорить о литературе переведенной, не считая «Покорности» Мишеля Уэльбека, конечно.

Одно из главных событий российской словесности прошлого года — эпопея Валерия Залотухи «Свечка». Хотя его роман и вышел в конце 2014-го, прочитан он был в этом году, что не удивительно, если учесть его объем. А в конце 2015-го вышел роман Людмилы Улицкой «Лестница Якова», его тоже

вряд ли можно обойти вниманием. «Зулейха открывает глаза» — роман Гузели Яхиной — из числа наиболее ярких произведений 2015 года. Наконец, роман Петра Алешковского «Крепость» также заслуживает упоминания. Пожалуй, этим бы я и ограничился, если говорить о прозе. Любопытно, что у всех этих, столь разных, произведений есть типологическое сходство. Дело не только в том, что все они так или иначе ретроспективны (история Древней Руси и современность у Алешковского, история жизни девочки из татарской деревни у Яхиной, история нескольких поколений семьи в романе Улицкой), они все, по существу, относятся к одной эпической традиции. Время, хронология, последовательность событий здесь важнее сюжета, рассказанной истории. Время (ну и место, соответственно) подсказывает колорит, выразительные детали, черты достоверности, событийность как будто идет на поводу у описательности, интрига отступает на второй план. Эту стилистику, художественную манеру можно определять как угодно, но важно, что мир здесь как будто строится по законам привычной реальности, поэтому исторический документ (будь то летопись, дневник или письмо) призваны подчеркнуть достоверность происходящего. То есть автор не столько моделирует, исследует реальность, сколько описывает, инвентаризирует ее. Не потому ли столь успешно соперничают сегодня с художественной российской прозой мемуары. Любопытных книг в этом жанре было довольно много в этом году (воспоминания Андрея Синявского, Игоря Голумштока, Галины Козловской, например).

Это, кстати, любопытное явление, тенденция, если хотите. Прошлое, как бы мы ни отмахивались от него, как бы ни подменяли историческую рефлексию мифом, агиткой, плакатом, непроясненной эмоцией, собственными комплексами, абстрактной державностью — требует осмысления. И в ситуации дефицита строгих, свободных от ангажированности, истерики и крика исторических исследований эту функцию осмысления берет на себя литература. Одна из лучших книг (если не лучшая вообще), посвященных этой теме, — сборник эссе Марии Степановой «Три в одном». Кстати, упомяну и еще одну книгу эссе — сборник Александра Иличевского «Справа налево». Кажется, освободившись от необходимости вплетать мысль в условно-художественное повествование, Иличевский только выиграл. Ну а уж коли речь зашла о Марии Степановой, нельзя не назвать ее книжку *Spolia*. В ней две поэмы — *Spolia* и «Война зверей и животных». И если говорить о столь актуальных сегодня проблемах художественного языка, о грузе неразобранного прошлого, о хаосе истории, который преобразить может только новый логос — то эта книжка стоит на первом месте.

2. Нет.

3. Ничем, пожалуй. Я думаю, даже мало кто знал, что 2015 год объявлен Годом литературы. И отдельные любопытные мероприятия (вроде чтения вслух «Войны и мира» Льва Толстого) воспринимались сами по себе.

Пётр Алешковский, прозаик, г. Москва

«Литература разноэтнической страны не может говорить только голосами из столиц»

1. В русской прозе, без сомнения, — дебют Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза», изданной в АСТ в редакции Елены Шубиной. Книгу все заметили, она (пока — пишу это в начале декабря) получила премию «Ясная поляна», и, думаю, что ее успех очевиден, кроме литературных достоинств, тема недавнего прошлого страны, а точнее — татарской деревни в жуткие сталинские времена, отклик из «региона» — то, по чему мы все так истосковались. Литература не только столичноцентрична. Литература разноэтнической страны не может говорить только голосами из столиц. Книга Гузели Яхиной, надеюсь, первая ласточка из многоголосого хора, что после развала СССР словно онемел. Очень хочется верить, что немота пройдет, голосовые связки молчащих доселе оттают и мы узнаем и услышим голоса, окрашенные в неповторимые, колористические обертоны речи народов, познаем их рефлексию, чтобы она стала частью нашего понимания произошедшего и происходящего.

Филипп Майер, «Сын», Фантом Пресс. Отличная семейная сага, претендующая попасть в список Великих американских романов, — история тexasской семьи, прошедшей путь от первых поселенцев до сегодняшнего времени. Калейдоскоп разновременных фрагментов, выстроенных в линию мастерски, стилистически безупречный (особый поклон переводчице Марии Александровой). Настоящий большой роман, перехвативший эстафету из рук великого Кормака Мак Карти.

Явление первых двух томов («А-Б» и «В-Г») Активного словаря русского языка, выпущенного в свет коллективом авторов, работающих в институте русского языка РАН им. В. В. Виноградова. Словарь — детище академика Ю. Д. Апресяна, наверное сильнейшего сегодня нашего лингвиста, устоявшего и выжившего здесь после чистки лингвистической московской школы шестидесятников, в течение многих лет тщательно вынашивавшего матрицу словаря. Словник словаря не велик — 12 тысяч слов, но вокабула (слово) рассматривается со всевозможных сторон, так что говорящий или пишущий на русском языке получит более чем исчерпывающую информацию о возможностях его применения, о связях с другими словами и понятиями, о синонимах и аналогах, региональных словах и прочая, прочая, прочая. Статьи читаются как высококачественная научно-популярная проза, и активный словарь интеллигентного человека (12 тысяч слов) разрастается, увеличивается вдесятеро, открывая почти безграничные возможности языка, дарует радость приобщенного и наполняет читающего гордостью за простой подвиг коллеги составителей.

В череде книг о Великой Отечественной войне — помпезных и пустословных, честных и недалеких, исторически выверенных, трагических, бытописательных, трогательных... — нельзя было не заметить голос позабытого литерату-

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?

3. Чем вам запомнится Год литературы?

ра Исаия Кузнецова. Книга «Жили-были на войне», изданная в АСТ, редакцией Елены Шубиной, — еще одно редкое и резкое свидетельство «окопной правды» — главная для меня линия правдивой памяти, без которой эта война нема, превращена в «металла звон», а политые кровью награды и долгожданный штурм Рейхстага, как и сама победа, превращаются в радиосводки, из которых, по закону жанра, выброшен человек, безымянный воин, без которого... «бей барабан и походная флейта»... и прочая, и прочая, и прочая.

2. Увы, не случилось достать сборник грузинских современных рассказов (выпущенный редакцией журнала «Дружба народов» сборник «За хребтом Кавказа». — *Прим. ред*), а Сухбата Афлатуни не считал и не считаю писателем зарубежья, как и Лену Элтанг, Игоря Мильштейна и других, живущих в иных измерениях. То есть переводных сочинений до меня уходящий год не донес, о чем искренне сожалею.

3. Давно не участвую в жизни литературной тусовки, а значит, лишен привилегии ездить за рубеж и «представлять» страну по линии Министерства печати. Чему только радуюсь. Страна стремительно катится назад, в пространство, вбирающее худшее из того колосса, что назывался СССР. Протекционизм для писателя не нов, но сосуществует, пожалуй, только в прикладе с берлинской стеной, иное дело — меценатство, что для писателя и поэта наравне с волонтерской помощью пострадавшим от наводнения. Меценатство, кажется, было всегда и, если не подразумевало прямой зависимости и холуйства, помогало свободному творцу продолжать работу над задуманным. Попал, правда, в «Тверской переплет» — ярмарку-продажу книг в г.Твери (в рамках Года литературы), продвигал свою книгу перед читателями библиотеки. Выступление устроило мне мое издательство (АСТ), ярмарка была суконна и бедна, читатели, как всегда — замечательны, так что и я в том году литературы, считай, что и отметился.

Евгения Вежлян, литературный критик, г.Москва

«Политическое размежевание привязано к разности эстетических установок»

1. Уходящий литературный год для меня определяют две тенденции. Первая — это явная политизация литературы. Причем в обе стороны. Год литературы можно рассматривать не только как некоторую чисто формально-административную «фасадную» акцию государства, но и как своего рода эксперимент.

Когда-то, когда «консервативный поворот» (назовем его так для краткости) в российской политике только начинался, у меня был интересный разговор на одном литмероприятии. Все, в несколько приподнятом настроении (что сейчас после аналогичных событий бывает все реже и реже), начали обсуждать,

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2015 года?

иронически, разумеется, а как же еще говорить о таких вещах, перемены в стране, возможное введение цензуры и прочие радости. Я была настроена довольно мрачно и заявила, что всех нас, людей пишущих, вскоре ждет слово из шести букв, ныне запрещенное на территории Российской Федерации (и, как оказалось, была права). Друзья высмеяли меня: «Цензура? Опасность? Да кому мы нужны?». Это беспечное «Кому мы нужны?» до сих пор звучит у меня в ушах, как эссенция эталонного для художника состояния — свободы и отвязанности на грани маргинальности, но именно на грани: это свобода кошки, которая сама выбирает, уходить ей или возвращаться. И я понимаю, что эта свобода для нашей литературы — закончилась. Потому что оказалось, что мы (мы, литераторы) — да, нужны.

И так называемый Год литературы — тому подтверждение. Государство «прощупало» литературное сообщество на предмет лояльности и возможной полезности. Попыталось понять, может ли оно, государство, присвоить и использовать те «наработки», организационные и структурно-институциональные, которые свободное литературное сообщество накопило на протяжении тех лет, когда оно было «не нужно». И этот гослитературный эксперимент начал существенно менять саму структуру поля литературы. Привычная нам поляризация, при которой условно либеральная литература (разная, но рассматриваемая как целое, обладающее единым языком самоописания, внутри которого возможна дискуссия — при любой разности эстетических установок) противостоит условно консервативно-патриотической, сейчас уходит в прошлое. Разделение, наметившееся два года назад в момент Литературного собрания как разделение позиций, все более обретает институциональное закрепление.

Это разделение между теми, кто готов «сотрудничать» с властью, неважно, полностью ли поддерживая так называемую «идеологию скреп», или не разделяя ее, но надеясь, опираясь на властный ресурс, принести «пользу делу», и теми, кто ни при каких обстоятельствах к такому сотрудничеству не готов и, более того, считает миссией литературы производство независимого, свободного высказывания. Разделение это отчасти поколенческое: среди первых — больше литераторов старшего поколения, среди вторых — среднего и особенно младшего, для которого вновь становится актуальна левая идея (в диапазоне от анархизма до марксизма), причем не в советской, а в новой, западной интерпретации. Для них литература — это практика, встроенная в социальную и политическую реальность, а литературное высказывание — перформативно по своей природе. Оно неизбежно меняет действительность.

Отсюда вытекает вторая тенденция, наиболее ярко проявленная в дискуссии вокруг Алексиевич. Как ни странно (впрочем, почему же странно), это политическое размежевание, задающее новые очертания поля литературы, привязано и к разности эстетических установок. Позиция «сотрудничества» предполагает узкий взгляд на литературу как прежде всего «искусство», которому заведомая эстетическая автономия обеспечивает «внутреннюю свободу», и ради этой бесценной и самоценной свободы вполне можно пожертвовать политической независимостью. Писатель как искусный профессионал и «продолжатель великого дела литературы», «великой традиции» может рассчитывать на вознагра-

-
2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?
 3. Чем вам запомнится Год литературы?

раждение своих усилий в обмен на консервацию этой самой традиции. В том числе и от государства. Вторая линия — линия сопротивления — понимает литературу широко — как словесную миссию, социальную, политическую, историческую. Литературой становится тогда и свидетельство, и прямое высказывание — любое претворение опыта. Что не исключает и актуальности традиционных литературных жанров, которые в этом контексте существенно переосмысливаются. Нет больше существенной разницы между романом и зебальдовским «большим эссе», записью в блоге и стихотворением и т.п.

2. На вопрос о произведении «ближнего» зарубежья, которое показалось мне существенным в уходящем году, я уже отвечала как-то раз, опираясь не на читательский, а скорее, на редакторский опыт. Тогда это был Владимир Рафеенко, ныне всем хорошо известный писатель. Теперь я бы хотела отметить другой текст, с которым мне довелось работать как редактору отдела прозы «Знамени». Это роман молдавского автора Романа Кожухарова «Кана», представляющий собой, как и книги Рафеенко, тонкий замес актуальных реалий и мифологии, словесной игры — почти авангардной, и евангельских аллюзий. Думаю, у этого текста большое будущее.

Анастасия Ермакова, прозаик, г.Москва

«Проблемы остались. И писатели остались. И чиновники тоже...»

1. На мой взгляд, в этом году книг-событий было немного. По всей вероятности, Год литературы никак не повлиял на творческий процесс конкретных авторов, а только сработал на повышение активности некоторых чиновников, которым необходимо в конце года отчитаться о проделанной работе. Намеренно не хочу упоминать хорошо известные имена, о них уже многие высказались. Назову книгу «Риф» Валерия Былинского, автора нашумевшего в свое время романа «Адаптация». В «Рифе» две повести и рассказы, о книге этой я писала рецензию (опубликована в «Литературной газете»). Былинский — первоклассный прозаик со своей интонацией, тонкий, умный, с жадным до подробностей взглядом. И что особенно важно, после прочтения его книги испытываешь то, что читатель должен испытывать от соприкосновения с настоящим произведением искусства, — катарсис. Рада, что «Риф» оценили по достоинству: Былинский — лауреат «Ясной Поляны» 2015 года в номинации «Детство. Отрочество. Юность».

2. Много читаю авторов из «ближнего» зарубежья по работе. Талантливые писатели есть, правда, им нелегко пробиться к российскому читателю. Как и российскому читателю к ним.

Назову два имени: поэт Олеся Рудягина и прозаик Сергей Сулин. Оба

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2015 года?

автора русскоязычные, из Молдавии. У Рудягиной в 2015 году вышла книга лирических стихов — «Другая» — экспрессивная, яркая, атмосферно колючая и одновременно женственная; роман Сергея Сулина «S золотой рыбы», вышедший в издательстве «Художественная литература», запомнился прежде всего хорошим русским языком, чего не скажешь сегодня об иных книгах даже известных авторов, и сюжетной отточенностью — это действительно полноценный роман, где есть четко выстроенная композиция, живые герои, несколько сюжетных линий...

3. Пожалуй, только тем, что об этом много говорили. Прошло несколько помпезных мероприятий, типа книжной выставки на Красной площади, но не сделано основное: не определен статус писателя, переводящий его основное занятие — собственно писание книг — из разряда безобидного хобби в серьезную профессию, требующую и должной оплаты, и уважения; нет закона о творческих союзах; нет никаких кардинальных решений в вопросе книгораспространения и обеспечения нашей провинции хорошими книгами; по-прежнему игнорируются национальные литературы и национальные авторы; ничего не сделано для поддержания и развития переводческой деятельности.

Совсем по-разному прошел Год литературы в российских республиках. Везде состоялось официальное открытие Года литературы. Но сценарии проведения самого Года значительно разнятся. Самые печальные отзывы пришли от писателей Удмуртии, Чувашии и Калмыкии.

Валери Тургай, народный поэт Чувашии, доверенное лицо Президента Российской Федерации В.В.Путина: «Как может проходить Год литературы в республике, где чиновники откровенно презирают писателей и по своей недостаточной образованности очень далеки от литературы? Да, было официальное открытие Года литературы в театре оперы и балета, да, были проведены другие мероприятия, да, в Чувашии текущий год объявлен Годом Константина Иванова, автора гениальной поэмы «Нарспи»... Но это все — ради галочки!.. В плане полного бардака в области литературы Чувашия — впереди планеты всей».

Вячеслав Ар-Серги, народный писатель Удмуртии: «В течение всего Года Удмуртия не приняла ни единой реальной Программы соответствующих Году литературы мероприятий — ни на уровне Главы региона, ни на уровне правительства Удмуртской Республики, ни Парламента УР, ни на уровне городских и районных ветвей местной власти. Создается такое впечатление, что нынешний Год литературы в Удмуртии стал менее литературным, нежели все предыдущие, новейшего времени «нелитературные» годы».

Эрдни Эльдышев, народный поэт Калмыкии, председатель Союза писателей Калмыкии: «Российский писатель далеко не простак. Однако все же в глубине души, на самом ее доньшке, он ждал от Года литературы какого-то внимания к себе, к своему труду. Но, увы, ни федеральными, ни местными властями никакого внимания оказано не было. Не принято ни одного решения, которое хоть как-то поддержало бы человека, живущего творческим трудом. У нас в Калмыкии уже несколько лет как не существует программы национального книгоиздания. За последние годы на бюджетные средства не издано ни одной книги местного автора...»

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?

3. Чем вам запомнится Год литературы?

Более благополучная ситуация в Якутии и в кавказских республиках — в Кабардино-Балкарии, Чечне, Дагестане. Местные власти достаточно внимательно относятся к своим писателям: худо-бедно издаются книги, проводятся различные творческие встречи, осуществляются переводы, правда, в основном авторы той или иной республики переводят друг друга... Однако, повторяюсь, проблемы писательского статуса, книгораспространения, мизерных тиражей и гонораров, отсутствия издательства, занимающегося непосредственно изданием и переводом на другие языки книг национальных авторов, — общие для всех республик России, и Год литературы не только не решил их, но даже не обозначил как приоритетные.

Проблемы остались. И писатели остались. И чиновники тоже. И каждый занимается своим делом. Или не своим — это как посмотреть...

Евгений Ермолин, литературный критик, г.Москва

Четыре кризиса: вызов и ответ

Займемся литературным тойнбианством.

Минувший год отчетливо проявил генеральные тенденции литературного процесса.

Одна из них — кризис большой формы. Большеформатный текст нечасто несет оправдывающее его объем значительное содержание, большую идею, нечасто открывает большого, значительного и интересного героя.

Другая тенденция — усталость литературы вымысла. Думаю, это результат того, что в современном мире типичное как предмет литературы утрачивает важность: жизнь состоит из нетипичного, типичное отодвинуту на периферию общественных процессов. А необычность в литературе не всегда оправдана.

Третий кризис — это кризис лирического высказывания. И в прозе, и в поэзии. В этом высказывании слишком много вялости, инерционности. Скромен масштаб лирического героя/автора. Если из душевного опыта вычесть профетизм и юродство, то останется скорей всего самодовлеющая инфантильность, что мы часто и имеем как данность.

Наконец, надо сказать и о четвертом кризисе. Он связан с прогрессирующим ослаблением чувства реальности. Писатель часто не очень понимает, что в мире обладает надежной реальной основой. Где кончаются иллюзия, инсценировка, фейк. И не фейк ли он сам?..

Что может быть выходом из этой ситуации?

Первый кризис преодолевается по-разному. Во-первых, циклизацией относительно небольших повествовательных форм вокруг темы, проблемы, некоего генерального сюжета и проч. Таковы «Зона затопления» Романа Сенчина, книги рассказов Анны Матвеевой и т.д. Да и «Свечка» Валерия Залотухи — это, по сути, три романа в одном, связанные прежде всего магистральным сюжетом

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2015 года?

(путь человека к вере, к Богу). Во-вторых, отступлением в историю, где все более-менее утряслось и уложилось, а потому смыслы как-то легче складываются в связную историю (или имитируют ее): из актуального — обширные повествования Дины Рубиной «Русская канарейка» и Сухбата Афлатуни «Поклонение волхвов», удачный дебют Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза»; из недавнего — «Возвращение в Египет» Владимира Шарова. В-третьих, движением прозы в сторону дневника, эпистолярный, репортажа, путевого и портретного очерка, трактата или их комбинации. Вышедший в конце года десяти томик Вячеслава Пьецуха стал, мне кажется, очень важным событием еще и потому, что Пьецух, при всем его кажущемся консерватизме, вписан в актуальный тренд: он, по сути, пишет письма; такова природа его зрелой прозы. Вспомним, для примера, и причудливый микс Олега Ермакова «Вокруг света».

Альтернатива второму кризису — нон фикшн. С этим трендом связано главное литературное событие Года литературы: присуждение Нобелевской премии русскоязычному прозаику Светлане Алексиевич. Как говорится, не ждали. Пиар-проект Года литературы обернулся в порядке иронии истории и жестокой насмешки над примитивизмом политехнологий таким торжеством русского мира, от которого демагогическим его апологетам мало не показалось. (И, конечно, Год литературы войдет в историю именно триумфом Алексиевич. А чем еще-то? Таков мой ответ на третий вопрос. Да и на второй тоже.)

Нон фикшн Алексиевич, конечно, очень особый. В нем происходит разложение хоровой матрицы. Разбуженные люди из потемок эпохи, из бездн, из-под руин благодаря писателю-медиуму выговаривают заветное. Заветное чаще всего оказывается фиксацией неизжитой травмы, незалеченной раны. Проклевывается личность, но часто так и не проклонется в этих столах, плачах и жалобах...

Из ярких явлений я бы назвал еще новую документальную прозу Натальи Громовой. Мне понравился свежестью дыхания волонтерский самоотчет молодой Дарьи Верясовой о работе в Крымске: лирический очерк «Муляка». Ну а о расцвете публицистики я говорил в прошлый раз, подводя итоги 2014 года. И этот расцвет продолжается — на фоне, который, впрочем, делает публицистическое высказывание странным опытом дегустации усугубляющейся, сгущающейся абсурдности жизни.

Фэнтези, гротеск, бурлеск, гиньоль — еще одно, экстремальное, средство от вялости в пределах фикшна. Почему бы не «Вера» Александра Снегирева или не стилистический экстрим еще одного молодого автора, Сергея Павловского, две книги которого недавно выпустило издательство «Геликон плюс»?

Ответ на третий кризис — десубъективизация письма. Самый яркий текст в мастер-классе «Дружбы народов» на последнем форуме молодых писателей России и Зарубежья — книга о Казани казанца Булата Ханова. Город у него живет как будто сам по себе. Без участия автора, причудливой, фантазмагорической жизнью в очень узнаваемых декорациях.

Что же касается четвертого кризиса, то выход из него покупается иногда выбором предмета особого рода: страданием и болью как непосредственными очевидностями бытия (снова вспомним тексты Алексиевич; но и недавние

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?

3. Чем вам запомнится Год литературы?

«Черновик человека» Марии Рыбаковой, «Рад Разум» Евгения Кузнецова). Иногда же альтернативой становится неосимволизм — не тот плакатный символизм начала XX века, который нам довольно чужд, а постнабоковский символизм намека, веяния, игольного укола (вспомним уже давний «Конец иглы» Юрия Малецкого; а из недавнего стоит указать на последнюю прозу Александра Иличевского, «Большой дом» Надежды Муравьевой; но вообще символизм — штука редкая и к религиозно-церковной теме в литературе вовсе не сводится).

Многое из сказанного и из названного влечет нас логикой свободных ассоциаций и литературных параллелей в блогосферу инета. Там вы найдете все те комбинации форм и смыслов, посредством которых перманентно выдвигаются и разрешаются проблемы большой формы, вымысла, личностного высказывания и даже, порой, проблема обретения смыслового фокуса в мире хаоса и неврастении. Взять хоть вдохновляющий опыт Диляры Тасбулатовой, выращивающей из житейщины, из бытового анекдота поэзию и притчу, или дневник житейского странствия Андрея Ракина.

Вадим Муратханов, поэт, прозаик, г.Москва

«Остро обозначилась проблема художественного перевода»

1-2. Главное событие 2015 года связано для меня с литературой ближнего зарубежья.

В первую очередь отметил бы выход трилогии ташкентского писателя Сухбата Афлатуни «Поклонение волхвов» (М.: РИПОЛ классик, 2015). С 2010 по 2015 год она публиковалась в журнале «Октябрь» — и вот вышла под одной обложкой, еще на стадии рукописи попав в лонг-лист премии «Большая книга».

Это первое обращение Афлатуни к жанру исторического романа. В отличие от его предшествующих произведений, написанных в основном на современном среднеазиатском материале, действие трилогии разворачивается в трех различных эпохах и разных географических точках: в Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Ташкенте, вымышленном Дуркенте...

В каждом из трех романов трилогии причудливо переплетаются бытовая и детективная линии (вторая — с элементами мистики и фантастики). А в целом «Поклонение волхвов» — это смелый шаг на территорию русского классического романа и вместе с тем эксперимент со смешением жанров. Как признается сам автор, в трилогию сознательно введены элементы пародии: в первой книге — на исторический роман, во второй — на детективный, в третьей — на фантастический.

Отметил бы также мастерство, с которым автор связывает восток и запад, север и юг бывшей империи в единое историческое и художественное простран-

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2015 года?

ство. География трилогии столь же органична и неделима, сколь неразрывна связь поколений героев — от петрашевца Николеньки Трирского до композитора-авангардиста Николая Кирилловича, который приезжает работать из Ленинграда в провинциальный Дуркент.

«Гости начали расходиться. Кто-то торопился на рождественскую службу, кому-то надо было далеко добираться. Прощались, спускались на улицу, прощались на улице. Шли в метро, шли в сторону Невского, Марата, Пяти Углов. Последних гостей спустили проводить хозяева и Яблоков... Простившись со всеми, недолго шли вдвоем, о чем-то вполголоса беседуя.

Вдали затенькали колокола. Троица остановилась; возле Владимирской церкви двигалась длинная процессия. Впереди, выдыхая ключья пара, медленно ступали верблюды; на них важно сидели люди в пестрых и позолоченных одеждах. Дальше шли, вероятно, слуги. Снег ритмично скрипел под ногами, в свете мутных фонарей освещались и гасли лица. Следом шли остальные. Шли артисты дуркентского Драмтеатра в костюмах из «Короля Лира»; шли, переговариваясь, Садык и Масхара; шла постаревшая и расплывшаяся Гульнара с мужем-военным; шел, покачивая виолончелью в футляре, Ринат; шла Жанна, болтая по-французски и рисуя Збигневу что-то в воздухе перчаткой; <...> шли, и шли, и шли; осторожно пели, прикрывая горло от ветра; переговаривались, гасили в снегу окурки; исчезали, появлялись и шли...»

Этим бесконечным феллиниевским шествием, объединяющим и примиряющим героев, которые представляют разные нации, культуры, вероисповедания и политические лагеря, завершается третья книга «Поклонения волхвов».

Среди событий поэтических хочется выделить первую книгу стихов Екатерины Соколовой, попавшую мне в руки в 2015 году. «Вид» (М.: Tango Whiskyman, 2014) включает в себя 38 стихотворений, написанных, насколько можно судить, не на протяжении всего творческого пути, а именно в последнее время. Лауреат премии «Дебют» 2010 года, Соколова заявила о себе уже в конце нулевых. Первые опубликованные стихи родившегося в Коми поэта привлекали неторопливым, размеренным нарративом развернутых текстов, минимализмом скупых деталей на фоне нестоличного, малолюдного пейзажа в сочетании с шатким дольником многосложных четверостиший.

Стихи «Вида» — новая ступень в творчестве Екатерины Соколовой. Язык книги, с обилием топонимов и экзотизмов, — это местами шифр, местами недопереведенные на человеческий обрывки мыслей, воспоминаний, ассоциаций. Стихотворения стали короче, верлибр теперь преобладает над силлабо-тоникой либо причудливо с ней сочетается.

полевой человек пугливый
он смотрел по компьютеру что уехали все
с кем когда-то ходил он на птицу
и тоже уеду решил
вымылся в бане нарочно один
чисто побрился
и сидит ждет визу
брата своего перепела последнего ест

-
2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?
 3. Чем вам запомнится Год литературы?

Новый язык Соколовой — отдаленно напоминающий прозу Дениса Осокина — лучше подходит к материалу и воздуху ее поэзии. И все же жаль, что «Вид» — первая книга стихов Екатерины, а не вторая. Как если бы человек вырос, а фотографий, запечатлевших его ребенком, не сохранилось.

3. Возможно, год запомнится тем, что анонс каждого литмероприятия, которых хватало в столице и раньше, в 2015-м украшал тройной разноцветный профиль — эмблема Года литературы. Не сказал бы, что интенсивность литературной жизни в уходящем году была заметно выше.

Вместе с тем, во многом благодаря Году литературы сразу несколько «толстых» журналов смогли на грантовые средства выпустить тематические номера, посвященные литературе бывших советских республик: 8-й «грузинский» номер «Дружбы народов», 8-й «узбекский» номер «Звезды», 11-й «армянский» номер «Знамени»...

Вышедшие «интернациональные» номера оставили двойственное впечатление.

С одной стороны, они обнажили, что волокна, соединяющие бывшие братские культуры, истончались еще больше в последние годы. Выпуск этих номеров оказался возможен благодаря скорее упорству и энтузиазму отдельных литераторов по ту и эту сторону границ, нежели плановому сотрудничеству между учреждениями, институциями, государственными органами, призванными поддерживать культуру. Остро обозначилась и проблема художественного перевода, связанная с дефицитом и качеством подготовки переводчиков, их невостребованностью на уровне госзаказа.

С другой стороны, именно в нынешней ситуации трудно переоценить важность перебрасывания подобных мостов между культурами.

Настоящим открытием стал для меня роман Гурама Одишария «Очкастая бомба», опубликованный в «грузинском» номере «Дружбы народов».

Таким же открытием, возможно, станет для кого-то отрывок повести Тагая Мурада «Люди, идущие в лунном луче» (в переводе Сухбата Афлатуни) и рассказ Вячеслава Аносова «Похолодало», включенные в «узбекский» номер «Звезды». Оба этих автора пока практически неизвестны российскому читателю. Хочется думать, что более близкое знакомство с ними у российской аудитории еще впереди.

Гузель Яхина, прозаик, г. Казань

Внутренние «галочки»

1. О романе Энтони Дорра «Весь невидимый нам свет» слышала еще в прошлом году. Поставила для себя внутреннюю «галочку»: это может быть интересно — и забыла. Осенью наткнулась на опубликованный отрывок. Даже не дойдя до конца первой главы (очень короткой, к слову, — на разворот с небольшим), поняла: буду читать немедленно. Скачала в MyBook, полночи

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2015 года?

читала. И наавтра — полночи... Так, за несколько запойных ночей, проглотила весь текст.

Это книга для тех, кто любит и понимает кино. Роман составлен из коротких, на полторы-две страницы, глав, каждая из которых — законченный кадр полнометражного фильма. Повествование идет в настоящем времени, как в сценарии. Слепая французская девочка и немецкий мальчик-сирота из специализированного отряда вермахта медленно и неотвратно движутся навстречу друг другу, начиная с рождения. И встречаются — в самом конце войны, чтобы провести вместе несколько часов. Его ждет скорая и заслуженная смерть, ее — долгая жизнь до старости. Энтони Дорр не рассказывает, а показывает: выстраивает кадр, направляет свет, находит блестящие решения сцен, монтирует, слагает эпизоды, сплетает их в акты. Это мощное авторское кино в прозе; фильм, придуманный, поставленный и снятый — на бумаге, одним автором.

Боюсь, именно в силу своей выдающейся кинематографичности текст может даже не понравиться, вызвать отторжение у тех, кто предпочитает изящное слово емкому кадру. Для меня же — как для человека со сценарным образованием в анамнезе — роман стал одним из самых ярких литературных событий года. Кстати, книга отмечена Пулитцеровской премией (2015).

3. Год литературы был богат на события, но особенно важны и дороги мне два, связанные с родной Казанью.

В сентябре, в рамках ежегодного «Аксёнов-феста» (уже девятого по счету в этом году), в Казани открылся Сад Аксёнова. В центре города, за историческим кинотеатром «Мир», организовалось уютное пространство, словно переносящее посетителей в шестидесятые годы, — хитросплетения дорожек, деревянные скамейки, сквозь рябины проглядывает светлый профиль Аксёнова (автопортрет, нарисованный как-то раз на салфетке)... Через этот скверик я когда-то ходила в школу, тогда он никак не назывался. А теперь носит имя Василия Павловича. В следующем году именно здесь Аксёнову поставят памятник.

Еще одной важной точкой на литературной карте Казани стало открытие музея Льва Толстого. Долгожданное событие: проект музея разрабатывался аж с двухтысячного года. Особняк, где будущий писатель в юности прожил четыре года (дом Горталовых), уже давно находился в руинированном состоянии — нуждался в исторической реконструкции, в воссоздании по архивным документам. И вот свершилось: в конце лета открылся музейно-образовательный центр, объединяющий и экспозиционную часть, и помещения для творческого досуга школьников (гончарная мастерская, мастерская резьбы по дереву, студия звукозаписи) — здесь проходят занятия расположенной по соседству школы.

-
2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего» зарубежья?
3. Чем вам запомнится Год литературы?

Счастье нечаянно жить...

Рубрику ведет Лев Аннинский

«...Сверчком в этом космосе битв»

Амарсана Улзытуев

Декларация, которой Амарсана сопровождает свои стихи, настолько эффективна, что побуждает к немедленному комментарию.

Вот его декларация:

— Я объявляю, — пишет он, — конец потребительской суете обычной рифмы и меры. Моя форма — ритм вместо метра и анафора вместо концевой рифмы, которая в русском стихе искусственно доразвивает эмоцию или мысль, а стихотворца превращает в «наперсточника». Признал же Пушкин, что «пламень» неминуемо тащит за собою «камень», а из-за «чувства» выглядит непременно «искусство».

Отвечаю: может, и тащит, и выглядит. У средних стиходелов. Но не у Пушкина, который над этим подшучивает. И не у подлинных поэтов. Им русская просодия не мешает.

Если же поменять привычную концевую клаузулу на непривычную начальную анафору, — то где гарантия, что и в этом случае не набегут «наперсточники» нового пошиба?

Да и русская традиция не так однозначна. Когда Амарсана в противовес рифмовке демонстрирует вольный ритмический размах (а пишет при этом по-русски), — разве не опирается он — интуитивно — на русскую же традицию вольной речи, когда-то именовавшейся у нас «стихами в прозе», а теперь загадочным французским словом «эссе»?

Если уж идти вглубь, — то не жанровый поворот к анафоре побуждает вольного стихотворца обратить свой талант на Восток (на вековой, тысячелетний Восток и, конечно же, на нынешний тоже), — тут куда более глубокий поворот: к «волшебной традиции заговоров и заклинаний, былин и плачей, гимнов и призываний».

А что, на Западе этого не было?

Было. Но на Востоке — первозданнее.

Околдованный этой первозданностью, Амарсана цитирует русского классика, который обернулся туда же: «Да, скифы мы, да, азиаты мы!» Но в сущности не Блок стоит у него за этим поворотом к Востоку. А стоит отец.

Отец Амарсаны, Дондок Улзытуев, — живой классик бурятской поэзии, всесоюзно признанный поэт последнего (послевоенного, или скажу так: после-сталинского) периода Советской власти, — завещал сыну сосредоточиться не на русской системе в образовании (что было в ту пору общепринято), а углубиться

в родную национальную словесность. И в монгольскую, и вообще в восточную, но прежде всего — в бурятскую.

Сын исполнил завет.

Эффект превзошел все ожидания. Завороженные восточной первозданностью, критики приветствовали в Амарсане... варвара, чей стих, брутальный и свежий, расхристанный и нервный, — своей веселой энергией напоминает... песню шамана.

Учтя все это, я раскрываю его стихи. Его «анафоры». Его гимны и заклинания. Его клятвы верности Востоку.

Верность тут — уникальная.

Бурятию помнит — с ранних лет. И как в семнадцать лет сидит у костра в пионерском лагере. И что «самая длинная на планете улица имеет длину в 17 км в деревне Бичура в Республике Бурятия». Зафиксировано в книге рекордов Гиннеса... Такие ссылки на Гиннеса все время «сдерживают» повествование с казенной поэтичности. И с тою же озорной целью добавлена к пейзажу «горчинка», коей славится Бурятия, и вот такая неромантическая деталь: тут «коровы жуют эдельвейс, цветок альпинистов». Но даже не этот горный цветок, невесть как попавший в таежные заросли, сообщает родному пейзажу оттенок веселого карнавала, а то, что местный шаман (шаман! наконец-то...), в прошлом — кулинар-итальянец, присутствие которого придает всему описанию оттенок фантасмагории: камлая, он (шаман) «из Библии что-то бормочет», и с Землей-планетой «вертится, словно с бубном».

Привкус веселого розыгрыша неизменен. Лазурный пейзаж Туниса с пением райских птиц сперва одобрен замечанием, что «у сладких арабов глаза изюм», а затем — что уста у них рахат-лукум и «слаще их не найти».

И еще одна замечательная особенность программных восточных пейзажей Амарсаны: в них что-то «просвечивает»... что?

Впрочем, почувствуйте сами:

«Поэт, прежде всего — богатырь,

Поит с шелома, кормит с копья свои песни,

В поле он серым волком, сизым орлом под облаком,

Половцам сгинувшим вслед растекаючись мыслью по древу...»

Выпускник средней школы без подсказок определит, что именно растекается тут по древу: «Слово о полку Игореве».

А вот о телеведущей;

«Хочет о чем-то о прекрасном и вечном сказать, говоря о кокосе дочерью попутного ветра с перстами попутными Эос...»

Кокос — из обещанного восточного репертуара... а «просвечивает» что? Гомер, вживленный в русскую словесность Жуковским...

А это?

«Если бы мы знали, из какого сора, ила, рожна делается лягуха-весна.... Из какого абсурда, несбыточных снов, бредовых мечтаний образуются Маши и Тани....»

Лягуха — словечко Амарсаны: надо же ему удочерить Машу и Таню. А «из какого сора» все это растет? Из ахматовского? «Когда б вы знали...»

И вот что интересно: декларируется Восток, а из складок текста выглядит... Запад? Европа? Русь?

«Да, купили меня с потрохами — за экологически чистое небо в алмазах, за поцелуй на морозе взасос, с тобою, краса!»

Потроха и алмазы — это Амарсана... А поцелуй на морозе? Опять Русь — Хлебников...

Вот вспоминает бурятский поэт, что в детстве стояла в сенях избы омулевая бочка, — и что же? И уплывает мыслями в священный Байкал русской каторжной песни...

Так укладывается ли его Вселенная в программные кряжи Востока?

Нет, шире: в его сознании — культура всего человечества, весь шарик земной, и сердце его, как он сам пошутил: «иудео-христианнейшее, мусульмано-даосско-буддийское»...

Или такой перечень ценностей:

«Святое человечество... светы и мраки, раи и ады, рои богов, что горше Иеговы, пуще Будды, Иисуса слаще...» Трое в ряд.

А чтобы вкус таких перечней не показался случайным, собеседники Амарсаны, собрав застолье, «пьют сакэ и водку, бургундское и денатурат...»

А чтобы содружество людей не показалось официозным, какой-то бродяга отваливает, чтобы «заночевать в кустах возле Кремля».

Не в государствах счастливы люди и не в бунтах против государств, счастливы они, гуляя, как Боги, «по земле планеты Земля».

Планета Земля — вот настоящий лирический герой Амарсаны. Изначально и окончательно. «Как черновик с динозаврами эта планета». Мы — наследники.

Все мироздание вмещается «в зрачок глаза». «Сорок сороков скоплений галактик и бездн соринкой в глазу свербят».

И глаз все это вмещает.

Смысл?

«Смысл всего — это смыслы, созданные словно солнца, Смерть всего — это смерти, потерявшие смысл. Осуществляя смыслы, зиждется жизнь за жизнью, освобождая космос, побеждается смерть...»

То есть Смысл сообразит задним числом Разум. А жизнь — грешная жизнь — пусть «бурлит, толкаясь, шкворча, трепыхаясь, греясь на солнцах неисчислимых планет...»

И планету, и все мироздание автор «Анафор» баюкает на руках, как ребенка, смягчая пафос шуткой. Чувствуя себя «шмелем в цветке», «сверчком в космосе».

Что ждет нас всех? Рисуя счастливое будущее, он не забывает добавить к картине мотивы из детской страшилки, впрочем, из Тарковского тоже. И из Шекспира:

«Как сумасшедший с бритвою в руке — чтобы от пения моего у лошади слеза катилась, у женщин животы набухали, у двух Медведиц начиналась течка, Офелия не утопилась, Орда не прекратилась...»

Течку созвездий — стерпим. А то, что сцепились Орда и Брага, — это по-нашему!

Становятся ли катастрофы Истории менее горькими?

Не становятся. Но их можно вытерпеть. Как? Это и ищет Амарсана Улзытуев. Можно построить дом, можно посадить дерево. Несмотря ни на что.

Таково единственно возможное счастье. «Счастье нечаянно жить».

Попробуем?

Alexej NIKITIN. Shkil-Mozdil

Yourij Negoda, a poet-perfectionist as depicted by the author was a typical hero of his time: a Bohemian, outrageous, seeking for fame, for new ways to show himself. But time is changing, the protagonist is evolving, carried away by new interests and the audience has changed too. And nobody knows how the road-roller of History will press him. And who he really is: a hero? A victim? Material for an experiment?

POETRY

The poems by two well-known poets — Gennadij RUSAKOV and Inna KABISH — are a kind of two-voices singing, a call-over of life-stories: one — masculine, the other — feminine. Echoing to them are poetical collections by the young poets: Alexander ORLOV and Natalija POLYACOVA.

Andej RUSAKOV. Responsibility of Culture and Cultural Diversity

“Some people are ready to see culture only as a treasure of artifacts for esthetical pleasure and mental development... But this article is addressed to those who consider the constructive role of national culture for the viability of the country, mutual understanding of nations, soundness of social relations and drawing up of the directions of the social thinking”. We publish this article in hope it will cause the following discussion.

Andrej STOLYAROV. Brighter Than a Thousand of Suns

The author is meditating on the phenomenon of the national idea and comes to the conclusion: “The cognitive transformation of a nation, the improvement of its quality owing to the sharp rise of the level of education — that is the way which is not only accessible but highly necessary for modern Russia. Moreover: it’s the only way providing a real existence of future Russia”.

The November issue of our magazine — for children and about children — had such a success with our readers that we decided to open a regular rubric “Friendship For Growth”. We begin with the presentation of the book by Alexej OLEINIKOV “Say Hello to Me”. Within some days a Moscow boy Vassja meets new friends and recognizes much interesting about the countries they came from.

The traditional annual “Round-Table Discussion of DN”.

This time we were interested not only in the best books and outlining tendencies from our country and from “near abroad” but also in the writers’ and critics’ impressions of the Year of Literature.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

druzbanarodov.com

на его странице в Живом журнале

<http://druzba-narodov.livejournal.com/>

и в Журнальном зале

<http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

<https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8>

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»